

М
О
С
К
В
А

Москва

7
19

7
1960

Москва

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ
IV

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Михаил Матусовский. СОЗВЕЗДИЕ ТРУДА . . . 3

Олесь Гончар. ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ. Роман. Авторизованный перевод с украинского М. Алексева и И. Карабутенко 13

Е. Литошко. СУДЬБА ПОЛКОВНИКА КАНТУЭЛЛА 98

Эрнест Хемингуэй. ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ. Роман. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова 101

СТИХИ

Николай Анциферов. ШАХТЕРСКИЕ СТИХИ . 146

Анна Ахматова. МАРТОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ . . . 148

Анатолий Куприн. ИЗ ДЕТСТВА 149

Лев Черноморцев. РОДНЯ 151

Жак Бержье. СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ ПРОТИВ СЕКРЕТНОГО ОРУЖИЯ. Перевод с французского Евг. Загорянского. (Окончание) 152

ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ

Степан Щипачев. О ЧУВСТВЕ СОВРЕМЕННОСТИ 177

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. Мотяшов. В ПУТИ 193

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

М. Синельников. НА ПОЧВЕ ОХОТЫ 198

7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1960

Михаил Матусовский

Созвездие Труда

ИЗ ЗАПИСОК О ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ

УДАРНИКОВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

...Сколько бы раз ни приходилось вам в ранние часы подходить к Кремлю, вас никогда не покидает чувство праздничной приподнятости, сознание того, что вы переживаете необычное утро вашей жизни. Краски здесь так ярки и отчетливы, воздух так чист и прозрачен, свет и тени распределены так точно и ясно, что кажется, будто вы встречаете рассвет где-нибудь высоко в горах. Серая, отшлифованная временем брусчатка мостовой, алый кирпич древних стен, бирюзовые тона весеннего неба — вот те краски, которые главенствуют в этой картине. К ним прибавляется еще зелень кремлевских елей, затейливая роспись куполов Василия Блаженного, трепетное пламя государственного флага на здании Верховного Совета — и вы невольно оста-

навливаетесь на какое-то мгновение, снова и снова пораженные красотой и величием площади. Почти с самого неба слышатся мерные звуки курантов. Один удар не успеет еще растаять в воздухе, как вслед за ним и настигая его раскатывается новый. И так, накладываясь один на другой, плывут эти звуки над утренней Москвой. В такие минуты, кажется, можно заглянуть на многие годы вперед, сделать новое открытие, сложить хорошую песню...

Я не знаю, о чем думали люди, шедшие в то майское утро в Кремль, но настроение у всех было торжественное и взволнованное. В Спасские ворота, словно в ворота заводской проходной, неторопливо вступали люди труда. Здесь были представлены многие профессии и специальности, почти

все стороны созидательной человеческой деятельности. Шли мастера, умеющие сооружать гигантские атомные ледоколы, добывать нефть со дна моря, запускать к звездам спутники. А рядом с ними шли люди, возводящие здания, изготавливающие тончайший капрон, украшающие нашу землю садами. Здесь было много лиц, знакомых нам по газетным и журнальным портретам, по кадрам кинохроники. Шли открыватели новых путей, люди пытливого ума и беспокойного характера, взращенные и любовно выпестованные нашей партией. Многие из них были в летних пиджаках, в светлых шляпах, но по смуглым и обветренным лицам я безошибочно узнавал строителей, а по угольной поволоке под глазами — шахтеров. Да, это был настоящий марш энтузиастов, передовых людей страны!

Но вот и Большой Кремлевский дворец, где все принадлежит истории, где часы, кажется, отсчитывают не просто минуты, а отмечают наше движение к коммунизму, где Ленин и сегодня как будто вслушивается в каждое слово, звучащее с трибуны. Я не могу передать и сотой доли того воодушевления, которым были охвачены собравшиеся в этом зале. Надо было видеть эти глаза, лица, улыбки. Люди словно впервые пристально поглядели друг на друга и подумали с гордостью: вот какими мы стали, вот сколько нас выросло, друзья! Я уверен, даже самые недоброжелательные корреспонденты из числа тех, кто находился в ложе иностранной прессы, не могли не заметить того настроения, которым жил весь зал — от президиума до верхних ярусов балкона. Это было чувство тесной сплоченности и взаимопонимания, обычно свойственное людям, занятым общим делом, верным одной идее. Многие в зале были хорошо знакомы друг с другом, бывали друг у друга в гостях — в цехе и дома, обменивались письмами, опытом, встречались на совещаниях в Москве, многие связаны



Сергей НЕВСТРУЕВ,
начальник механического цеха завода
имени Владимира Ильича

договорами социалистического соревнования. Поэтому зал так живо реагировал на речи ораторов, так сердечно и дружно встречал и провожал выступающих. Люди вставали со своих мест, чтобы лучше увидеть Валентину Гаганову или Николая Мамаю. Здесь было немало знаменитых людей нашего времени, имена которых у всех на устах. Они не славилась ни знатностью рода, ни пышностью титулов и чинов: труд, только труд сделал их первыми людьми в нашей стране. Вот почему вездесущие кинооператоры и фоторепортеры, слепящие всех белыми молниями своих «блицов», подкарауливали их у входов и на лестницах Кремлевского дворца.

Когда альпинисты поднима-

ются на горную вершину, они встречают солнце раньше всех. Еще в долинах лежат неясные тени, а им уже видно сияние нового дня, осветившее самые высокие гребни и отроги. Так и для многих из участников этого исторического совещания коммунизм уже наступает сегодня. Ведь они не только трудятся по-коммунистически, они хотят по-коммунистически жить, учиться, дружить, перестраивать свой быт. Дело начинается с производственных показателей и процентов выполнения плана, а продолжается преобразованием всего города, в котором живут они, новым молодым парком, выросшим на пустыре, огнями народного университета культуры. И когда знакомишься с этими людьми ближе, хочется и самому стать лучше, проверить, правильно ли ты живешь, всего ли себя отдаешь делу, — ведь, находясь возле них, ты дышишь чистым высокогорным воздухом, воздухом коммунизма.

Широк и безграничен мир этого человека. Он давно уже отрешился от старого взгляда: «моя хата с краю» или как там еще говорилось о своей рубаше, которая ближе к телу... В круг его интересов входят судьбы всей страны, всего человечества, счастье и справедливость на всей земле. Почти каждый из выступавших считал своим долгом говорить не только о своей бригаде, о своем заводе, но и о том, что происходит сегодня на земном шаре, что волнует миллионы людей.

Послушали бы вы речь днепропетровского сталевара Петра Махоты. Спокойствием и уверенностью трудового человека веяло от его немногословной речи. Он говорил о стремлении своих товарищей, с кем он вместе плавит сталь, досрочно выполнить семилетку, не жалеть усилий для счастья Родины и дела мира. И право, было бы не плохо, если бы некоторые заокеанские деятели прислушались к тому, что говорил этот сталевар. «Американские агрессоры, — заявил он, — стремятся свергнуть на-

роды в новую войну, чтобы еще больше нажиться на крови и бедствиях народов. Не играйте с огнем, господа!» Так сказал человек, который привык управляться с огнем и знает, что это дело нешуточное.

Проблемы международной политики в наши дни перестали уже быть делом одних только дипломатов. Эти проблемы касаются всех и каждого. Тревогой за будущее мира, за завтрашний день было продиктовано выступление судостроителя с балтийского завода Василия Смирнова. Он выступал от имени ленинградцев, и по мере того, как он говорил, перед нашими глазами возникал великий город Ленина периода блокады. Неподвижная, будто навеки оледеневшая Нева, и учащенное сердцебиение метронома, и костлявые, словно страдающие дистрофией деревья в Летнем саду, и кусочек пайкового хлеба, после которого еще острее чувствуешь голод... Пусть многие из нас были в тот год на Северо-Западном, Западном или Украинском фронте, все равно мы знали в мельчайших подробностях ленинградскую эпопею. И порою нам казалось, что это было с нами, что мы сами поднимались по обмерзшим ступеням ленинградских домов и пережидали в подъезде на Невском часы обстрела и вместе с ленинградцами бережно укрывали от огня бронзовый памятник Петру Великому.

Особый смысл и значение приобретает в устах ленинградцев каждое слово о мире. «Мы, ленинградцы, — говорил Смирнов, — очень хорошо знаем, что такое война. Гитлеровцы обрушили на Ленинград уйму бомб и снарядов, пытались задушить нас голодом, сломить наши души бомбежками и артобстрелом. Не вышло! И никогда, никому не удастся согнуть ленинградских рабочих, жителей города, в котором свершилась Великая Октябрьская революция».

Как только наступали минуты короткого перерыва в работе совещания, в зале вспыхивали песни.



Валентина ПЕТРИЩЕВА,
работница прядильно-ткацкой фабрики
имени М. В. Фрунзе

Для этого не надо было приглашать затейников — песни возникали сами. Сперва не громко, в одном уголке, а потом словно пламенем охватывали они весь зал. Вот кто-то запел нестарующую песню нашей пионерской юности про милую картошку-тошку-тошку, а в другом конце зала зазвучала песня о тревожной молодости, о беспокойных комсомольских сердцах. Люди разных возрастов и поколений как бы обменивались своими песнями. Старая песня о конниках Буденного сменялась новой — о тихом вечернем Ленинграде. Пели о целинных просторах и кудрявой уральской рябинушке, о детях разных народов и о парнях всей земли. Это был своеобразный концерт по заявкам сердца, стихийно возникший под гулкими сводами мраморного дворца. Я сидел на бал-

коне и с волнением вслушивался в раскаты песен. Я думал о том, в каком неоплатном долгу находимся мы, поэты и композиторы, перед этими людьми и какая это радость написать для них песню и услышать, что они ее запели, подхватили, признали своей.

И когда в зале звучали песни, которые пело мое поколение, когда оно было еще молодым и только выходило на леса первой пятилетки, мне невольно вспомнилось начало тридцатых годов. Я вспомнил Пашу Ангелину и Марию Демченко, Никиту Изотова и Петра Кривоноса — тех, чьи имена с таким уважением произносились нами в молодости. Мы посвящали им первые свои стихи и хотели быть похожими на них. Нелегко было им тогда начинать новое дело и ломать косность старых представлений и сложившихся привычек, но они смело вступали на еще никем не изведанные дороги. Вот и сегодня вспомнил я их: не так уж много их было в те годы, но иногда ведь надо подняться на бруствер окопа только несколькими смельчакам, чтобы вслед за ними рванулась целая дивизия.

В могучую и неодолимую силу превратилось сегодня движение ударников коммунистического труда. Кажется, еще совсем недавно мы читали в «Комсомольской правде» первые заметки о почине молодых рабочих депо Москва-Сортировочная, а сегодня просторный Кремлевский дворец не смог вместить и тысячной части тех, кто встал под знамена этого движения. Как видно, зерно упало на благодатную почву. Свыше пяти миллионов человек насчитывает теперь эта авангардная армия труда. Сегодня речь идет уже не только о бригадах — движение охватывает целые пролеты, цехи и предприятия. Думали ли ребята Сортировочной, сошедшиеся в тесной комнатке общезития на первое собрание своей бригады, что их скромное начинание найдет такой отзвук в тысячах сердец!

Принципиально новой чертой социалистического соревнования наших дней является особая, еще не бывалая слитность труда и воспитания, процессов производства и формирования характера нового человека. Вместе с этажами нового дома растет и сам строитель. Вместе с новой деталью отковывается и человеческое сердце. Когда-то, еще в ранней юности, прочли мы в учебнике основ марксизма-ленинизма знаменитую фразу о стирании граней между умственным и физическим трудом. Тогда она звучала для нас как отдаленная мечта, как цель, которую отделяют от нас многие и многие годы. Сегодня мы сами являемся свидетелями того, как это «стирание граней» все явственнее ощущается в нашей жизни.

Слушая, например, выступление сталевара Петра Махоты, я ловил себя на том, что не смог бы с полной уверенностью сказать, если бы не знал, кто сейчас выступает — рядовой рабочий, техник или инженер. Он видит значительно дальше своего рабочего места. Его интересы простираются на весь завод. С большим знанием дела говорил он обо всем, чем живет его родной завод имени Петровского, — о выплавке стали с помощью кислородного дутья, о применении природного газа в доменном производстве. Говорил человек с инженерным мышлением, рачительный хозяин, для которого все, что происходит на заводе, — его кровное и глубоко личное дело.

А разве похож на свинаря — в старом представлении об этой профессии — ейский свиновод Иван Штефаненко? Он в совершенстве освоил это дело, требующее немалых знаний, и одновременно выполняет функции еще четырех специалистов. Он и в самом деле на все руки мастер. Если надо, он может вести по колхозным дорогам полуторку, а если придется, то сядет и за трактор. Он владеет штурвалом комбайна и может работать регулировщиком топливных аппа-

ратов. Вот вам и свинарь из ейского совхоза!

Когда ткачиха Мария Рожнева говорит: «Я из Купавны», вам ясно рисуется веселый городок, где кроны деревьев над улицей образуют зеленый тенистый свод, где по утрам перекликаются звонкие голоса птиц и ткачих, идущих с утренней сменой на фабрику.

«Купавна» — слово-то какое! И звучит оно как-то особенно по-русски, вызывая в нашем воображении зеленые купавы березовых рощ, где от белых стволов светло и радостно даже в сумрачный денек. Может быть, здесь где-нибудь и жила кра-



Василий РЯБОВ,
сменный мастер первого мартеновского
цеха завода «Серп и молот»

савица Купава из старой русской сказки о Леле? С любовью говорила Рожнева о родной Купавне, одевающей в свои ткани миллионы советских людей. Купавинские девчата уже не довольствуются тем, что успешно идут дела на их собственной фабрике, — им надо еще помочь и коллективу Троицкой фабрики, с которым они вступили в трудовое соревнование. Помогают они своим друзьям опытом, добрым советом и даже песней, посылая в гости к троицким ткачам своих самодеятельных певцов и плясунов. С благодарностью говорят об этом на Троицкой фабрике: «Творческое содружество изменило жизнь на нашем предприятии, сделало ее еще интереснее и ярче... Ваша товарищеская помощь — яркое проявление коммунистического отношения к труду».

Как подлинно государственный человек держала речь купавинская ткачиха на слете в Кремле. Она говорила не только о достигнутом и завоеванном, она тревожилась о неправильном распределении сырья, еще существующем в практике наших ткацких фабрик, о том, как такое неупорядоченное снабжение нарушает ритм работы предприятия. Где, скажите мне, в какой капиталистической стране увидели бы вы рабочего, которого беспокоит, завез ли вовремя капиталист сырье на все свои фабрики и заводы?

В дни работы совещания наши газеты называли ударников коммунистического труда разведчиками коммунизма, запевалами нового. Глава нашего правительства назвал их пионерами будущего. Эти гордые имена подчеркивают новаторский характер движения, устремленность его в завтрашний день. И это действительно так. Почти все ударники коммунистического труда учатся, совершенствуют свое умение, стремятся к знаниям. В вечернем ли техникуме, на заочном ли отделении института — они склоняются над чертежной доской, над конспектом лекций, над раскрытым учебником. Этой жаждой познания одержимы все — и моло-

дые, и пожилые люди. Это становится нормой нашей советской жизни. Я видел, как раскупали новые книги в киосках участники совещания. У некоторых прилавков образовывались очереди. Очереди за книгами — самые удивительные очереди, какие могут быть на свете.

Ленин трижды повторил слово «учиться», обращаясь к комсомольцам двадцатых годов. Обязательство не успокаиваться на достигнутом и всегда учиться — одна из заповедей тех, кто соревнуется за звание ударника коммунистического труда. Вот взяла слово бригадир овощеводческой бригады из совхоза «Серпуховский» В. Макарова. Все ее подружки хотят учиться, помогать друг другу, у каждой есть своя заветная мечта. Вот говорит магнитогорский мастер Иванов: «В нашей бригаде все учатся. В течение семилетки пятеро из нас получают высшее техническое образование». Это значит, что наряду с большим семилетним планом страны существует у каждого из них своя, личная семилетка. Я бы назвал ее семилеткой переустройства собственной жизни.

Вот на трибуне бывший москвич, строитель сибирских дорог Владимир Наседкин. Сурово встретила его сибирская зима. Часто приходилось работать на таком ветру, что вода замерзала на брезентовых куртках и люди оказывались одетыми в жесткие ледяные панцири. Губы, лицо так заледеневали, что трудно было вымолвить слово. За два года Наседкин полюбил Сибирь, но любовь эта далась ему нелегко. «Не скрою, — признался он, — хотелось бросить все и уйти. Но мы не ушли». Теперь Владимир Наседкин приехал в Москву как настоящий сибиряк, как посланец Красноярского края. Право называться так он заработал в сибирской тайге, на сибирском перехватывающем дыхании морозе. И вот что рассказал он о своей бригаде: «Многие из членов нашей бригады занимаются самостоятельно. В этом году двое будут поступать в заочный институт, а четверо — в техни-

кум». После семи часов напряженной работы в безлюдной тайге, где одолевает гнус, от которого не спасают даже костры, где болотная вода перехлестывает через голенища резиновых сапог, не очень-то захочется раскрыть учебник алгебры или, скажем, физики. Но если бы вы зашли в вагон строительномонтажного поезда, где по-походному живут ребята из бригады Наседкина, вам бы показалось, что вы попали в маленький филиал библиотеки имени Ленина: такая в нем стоит сосредоточенная тишина. Вся бригада занимается. Это строители железной дороги Абакан-Тайшет выполняют одну из своих главных заповедей: учиться!

Есть еще одна заповедь, по которой хотят жить строители нового общества: это — дух коллективизма, товарищества и взаимопомощи. Человек здесь никогда не чувствует себя одиноким, обойденным вниманием. Не оставлять товарища в беде, не дать ему оступиться, поддержать его в трудную минуту — такому правилу следуют люди будущего. Они чувствуют себя членами одной семьи, где радости и горести делятся поровну между всеми. И, поднимаясь на трибуну, они говорят не о себе, а прежде всего о своих товарищах, не о своих заслугах, а об успехах всей бригады. С гагановским бескорыстием отдают они друзьям по бригаде свое время и силы, внимание и терпение. Нечего поэтому удивляться тому, что ленинградец Смирнов, принимая Золотую Звезду Героя Социалистического Труда, говорил о своем Балтийском заводе, с которым связана вся его жизнь. Так он и понимает свою высокую награду: как награду родному заводу, который его воспитал, обучил, вывел в люди.

С какой гордостью, да, именно с гордостью, называл знаменитый луганский шахтер Николай Мамай имена членов своей бригады! С ними он по утрам спускается в забой, огоньки их лампочек светят ему глубоко под землей. Любовно, мягко, по-украински произносил он



Серафима КОТОВА,
помощник мастера первого прядильного цеха камвольно-прядильной фабрики имени М. И. Калинина

каждое имя. И я уверен, что в эту самую минуту у себя на Луганщине, в белых домиках, где под окнами цветут мальвы, любимые шахтерские цветы, хлопцы с не меньшей гордостью слушали по радио своего прославленного бригадира. Хорошо передал это ощущение неразделимой дружбы металлург с Закавказского металлургического завода Арчил Дзамашвили. Он сказал: «Бригада всегда со мною. Мне кажется, что все девять ребят нашей бригады сейчас тоже здесь, во дворце. И если я запнусь, то они подскажут».

А во время очередного перерыва у кремлевских киосков, где продается всякая всячина — крохотные макеты царь-колокола и блокноты из пластмассы, шариковые ручки и духи «Красная Москва», —

я услышал такой разговор: «Девушка, будьте добры, заверните мне десять пар очков от солнца. Почему так много? А что я могу сделать, если у нас в бригаде десять человек! Разве могу я приехать из Москвы без подарка?» Говоривший был увлечен покупкой подарков для всей бригады и, вероятно, даже не заметил, что он продолжает разговор о дружбе, который начали в своих выступлениях донецкий шахтер Мамай, металлург Дзамашвили и многие другие.

Неоднократно в ходе прений заходила речь о нашей литературе. Нет-нет, а кто-нибудь из выступающих и вспомнит о том, что вот сколько времени существует движение ударников коммунистического труда, а до сих пор еще нет ни одной стоящей книги о людях, которые осмелились заглянуть в будущее. И тут, как говорится, податься некуда, это, к сожалению, действительно так. Но даже тогда, когда ораторы не касались непосредственно литературных тем, все совещание в целом имело прямое отношение к нашей писательской жизни. На нашей памяти еще совсем недавние дискуссии о положительном герое в литературе, так похожие на знаменитый спор тупоконечников и остроконечников, о котором писал еще Свифт. Умозрительно, в комнатной обстановке решался вопрос, каким должен быть герой наших книг, и чуть ли не подсчитывалось, сколько процентов положительных и отрицательных черт может быть в нем заложено. А тут, буквально рядом, шумят и спорят, поют и смеются две тысячи положительных героев, и с каждого из них хоть сейчас пиши образ главного героя нашего времени! Действительно, жизнь любого из них — уже готовая книга с острым конфликтом и увлекательным сюжетом, ибо что может быть интереснее, чем рассказ о такой человеческой жизни!

Вот по соседству со мной сидит черноволосый Акиф Джафаров. Он приехал из города Нефтяные Кам-

ни, где с утра до ночи бьет о сваи его дома покрытая разводами маслянистых пятен каспийская волна. Вы, вероятно, помните замечательный фильм о нефтяниках Каспия? В такой обстановке живет и добывает тысячи тонн сверхплановой нефти Акиф Джафаров, не думая при этом, что он совершает что-то особое, героическое. Плечом к плечу работают на Каспии азербайджанцы, русские, осетины, украинцы, армяне, и для всех них стал родным город, построенный на воде, эта своеобразная нефтяная Венеция. Маяковский чувствовал себя в долгу перед багдадскими небесами и вишнями Японии, о которых он не успел написать. Советские поэты в долгу перед городом Нефтяные Камни, где живет и работает со своими друзьями Акиф Джафаров.

А разве не интересно живет бригадир Минского тракторного Эдуард Кулик? Начав трудиться по-новому, он захотел, чтобы и вокруг него все преобразилось. Человек словно острее стал чувствовать красоту. Послушайте, как он говорит об этом: «Мы хотим жить в хорошем, благоустроенном городе, где улицы утопают в зелени, где на тротуарах нет ни одного окурка, ни единой бумажки, где жизнь людей не омрачают скандалы, где столовые, ателье и другие бытовые предприятия полностью отвечают потребностям населения». Новая спортивная площадка, зеленый театр, вмещающий тысячи зрителей, молодой лесопарк, шумящий тоненькими деревцами, — вот далеко не все дела комсомольцев Минского тракторного. Неповторимо красивой должна стать земля, на которой живут такие люди, как бригадир Кулик. Чехов когда-то сказал, что каждый человек за свою жизнь должен посадить хотя бы одно дерево. Минские тракторостроители посадили не одно, а тысячи деревьев. И они добьются своего — они будут жить в городе, похожем на большой весенний сад.

А разве не интересно было бы

заглянуть в один из цехов Куйбышевского подшипникового завода! Благородная сила соревнования заставила там каждого рабочего стать искусным мастером своего дела. И тогда, разумеется, отпала необходимость содержать целый штат браковщиков и учетчиков. Вот уже скоро два года, как рабочие сами обеспечивают контроль над качеством выпускаемой продукции. Здесь каждый сам себе ОТК. Более ста освободившихся браковщиков смогли перейти в цехи, стать за станки. И за эти два года работы по-новому не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь положил на полку годной продукции бракованную деталь или же записал на свой счет больше деталей, чем изготовил. Разве это уже не коммунистические отношения, где контролем в работе служит только забота о доброй славе цеха, только одна рабочая совесть!

Стоило бы нашим литераторам, особенно тем, кто интересуется вопросами педагогики, познакомиться и с тем, как занимаются в бригадах коммунистического труда воспитанием рабочей молодежи. Сплошь и рядом люди в этих бригадах встречаются с задачами, решению которых мог бы активно помочь писатель макаренковского типа. Все мы дружно смеялись в кинотеатре над тем, как перевоспитывала боевая комсомолка двух отчаянных заводских пареньков — Грачкина и Громобоева. Именно о такой трудной работе с «неподдающимися» и говорил на совещании мастер рудообогатительной фабрики на Магнитке Николай Иванов. Он рассказал о том, как по просьбе райкома комсомола бригада приняла шестнадцатилетнего Анатолия Гребенщикова. Его даже звали, как Грачкина, Толей. Это был развязный и расхлябанный паренек, который поплевывал на все и вся — на мастера, на завод, на работу. Вот тут-то и начинаются страницы новой «Педагогической поэмы», повествующей о том, как попавшему в такую бригаду Анатолию Гребенщикову просто стало

стыдно болтаться без дела, как он взялся за ум, постепенно приохотился к учебе, начал осваивать вторую профессию.

...Но вот совещание подходит к концу. Накануне участникам его были вручены ордена и медали, и зал преобразился, засиял благородным металлом трудовых наград. Здесь было много Золотых Звезд, и казалось, в Кремлевском дворце появилось новое, еще не нанесенное на карту созвездие. Астрономы могли бы с полным правом назвать его Созвездием Труда. Шли последние минуты совещания, его участники единогласно принимали Обращение ко всем трудящимся нашей Родины, а я представлял себе делегатов, уже вернувшихся домой. Вот они сняли свои праздничные костюмы, и Николай Мамай снова шагает по донецкой дороге в своей



Владимир СТАНИЛЕВИЧ,
мастер тепловозремонтного цеха депо
Москва-Сортировочная

пропитавшейся угольной пылью брезентовой куртке; и Мария Рожнева надела скромный рабочий халатик; и Акиф Джафаров снова жадно дышит знакомым запахом нефти и моря; и кораблестроитель Василий Смирнов не спеша поднимается на стапеля, спрашивая: «Ну как тут, ребята, управлялись без меня, что у вас новенького?»

С какой новой мечтой начнут они новый рабочий день? «Как рядовой строитель огромной стройки

в какой-то миг среди грохота металла, огней сварки начинает видеть контуры создаваемого здания, так и мы, труженики, сегодня из этого зала видим то, о чем мечтал Владимир Ильич Ленин, о чем мечтали миллионы борцов,— мы видим коммунизм!»

Так мог сказать лишь поэт. Но так сказал с трибуны совещания ударник коммунистического труда ленинградский кораблестроитель Василий Смирнов.



Олесь Гончар

ЧЕЛОВЕК

и дружка

РОМАН

1

*Е*ще никто ничего не знает.

Еще бестревожно рассказывают по городу те, кому суждено биться на боевых рубежах, вырваться из окружения, гореть в кремационных печах концлагерей, наносить гитлеровцам смертельные удары под Москвой и Сталинградом, освободить Орел и Курск, Киев и Львов, Прагу и Белград, штурмовать Будапешт и Берлин; еще стоит на возвышении посреди города серый массивный ДКА, Дом Красной Армии, где — пройдет немного лет — на месте, расчищенном от руин, будет разбит сквер и зажжен будет вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

Еще все, как было.

Еще, разбредясь с самого раннего утра по паркам и библиотекам, забравшись в опустевшие аудитории факультетов, склонились над конспектами студенты — готовятся к последним экзаменам.

Двое из них сидят в пустой аудитории истфака.

Утром, когда пришли сюда, Таня сама взялась закладывать дверь стулом. Богдан стоял в стороне и улыбался. Энергии, горячности и упорства было у нее куда больше, чем силы в руках. Все же Таня справилась со стулом, забаррикадировалась, заперлась как хотела: прочно, словно бы от всего мира. Порывистая, с растрепанными волосами, обернулась к Богдану:

— Теперь тебя никто у меня не отберет!

Они посмотрели на заложенную стулом дверь и рассмеялись: действительно, теперь они тут одни со своей любовью.

Только вчера помирились после тяжелой размолвки. Это была одна из тех размолвок, которые возникают между влюбленными из пустяков, почти из ничего, но значат для них больше, чем наисерьезнейшие мировые проблемы. Теперь оба видят, что не стоило ссориться; не хотелось и вспоминать об этой ранающей беспричинной ревности, которая отняла у них столько счастливых дней. Сейчас, примирившись, они как бы заново упивались своим чувством, возрожденным, переболевшим и оттого еще более нежным и жарким. Если бы это зависело только от Тани, она в знак примирения весь день тут целовалась бы, забыв про конспекты, про экзамены, про все на свете. Встав на цыпочки, она потянулась к Богдану, к милому своему Богданчику: целуй!

Он легко подхватил ее на руки и, на ходу осыпая горячими поцелуями, понес в самый дальний угол, посадил, как школьницу, на стул:

— Сиди!

Положил перед нею ее небрежно свернутые, покрапленные парковыми дождями конспекты:

— Учи!

Теперь она сидит и зубрит Крестовые походы. Не столько, правда, зубрит, сколько наслаждается своими мечтами, своими светлыми девичьими видениями. Время от времени украдкой, счастливо и воровато поглядывает на него.

Углубленный в конспекты, Богдан сидит в другом конце аудитории, перед самой кафедрой. Вот он поправил шевелюру, Таня видит его руку, сильную руку спортсмена. Нахмурившись, он снова окунулся в Средние века. Такой вот, задумчивый, в клетчатой поношенной рубашке, с аккуратно засученными выше локтей рукавами, Богдан ей особенно нравится. Сколько мужественного достоинства во всей его фигуре, в густом непокорном чубе, откинутаго назад. Даже вот так, когда Богдан сидит, по его горделивой высокой шее видно, какой он стройный. По-цыгански смуглый, — девчата говорят, что он красавец, но для нее он больше, для нее он — само счастье.

Несколько дней назад, когда между ними произошел разрыв, думала — не переживет. Жизнь без него сразу же погасла, поблекла, утратила смысл. Несчастливая, измученная ревностью, убитая горем, бродила Таня вечерами по городу, по каменным катакомбам кварталов, живя одной надеждой: хоть случайно встретить его где-нибудь, хоть издали глянуть, когда он будет возвращаться из библиотеки в общежитие. Больше всего боялась увидеть его в такое время с другой, с незнакомой какой-нибудь девушкой редких, исключительных достоинств, к которой заранее ревновала — ревновала до потемнения в глазах. А он всякий раз возвращался из библиотеки с хлопцами, шагал, мрачный и недоступный, с конспектами и буханкой под мышкой. Притаившись где-нибудь в тени, Таня жадно следила за ним, пока ребята не исчезали в глубине вечерней улицы.

В те ночи одиночества и неприкаянности как лунатик бродила она по местам своей любви, по улице Вольной академии, где встретила с ним впервые, по студенческому «Острову любви» над Журавлевской кручей, где впервые узнала сухой, жаркий вкус его поцелуя. Освещенная электрическими огнями Журавлевка и далекая перекличка ночных поездов только усиливали боль утраты. Возвращаясь в общежитие, слушая поздний гомон своей буйной студенческой республики — Толкачевки и Гиганта, — все надеялась, все ждала: рано или поздно вернется, и с ним возвратится то, без чего она не могла жить.

Теперь он опять с нею. Цветет душа! — так могла бы назвать свое чувство. Вот он здесь, рядом. Можно неслышно подкрасться к нему сзади и обнять, ущипнуть за ухо, дернуть за жесткий непокорный чуб... Однако нет, этого делать нельзя, ведь он штурмует Средние века. Но можно скатать бумажный шарик и кинуть в его сторону, как она часто проказничала на лекциях, и шарик упадет перед ним на столе, и он, развернув его, хмурия брови, прочтет: «Je vous aime»¹.

Штурмует, штурмует. Короли да папы, рыцарские походы, обычаи, а того не знает, что сам он для нее сейчас лучше всех рыцарей на свете. Как любит она его за этот нахмуренный лоб! Спартанская натура! Нелегко даются ему науки, намного труднее, чем ей, но из гор-

¹ Я вас люблю (франц.).

дости он и знать не хочет шпаргалок, не хочет полагаться на случай, хочет прийти на экзамен с твердой уверенностью в себе, в своей силе, в том, что никто и ничем его не собьет.

Сама жизнь выработала в нем этот характер. Рос без отца. Чтобы хватило до стипендии, ночами ходил на товарную станцию разгружать вагоны. Во время каникул тоже работает. Прошлым летом в рыболовецкой артели, где-то в днепровских плавнях, тяжелые неводы таскал. Вернулся, и Днепром от него пахло, шалашами, дымом костров вечерних. Смуглость никогда не сходит с него. Даже зимой возвращался со своих запорожских каникул, будто под лучами тропического солнца побывал.

— С Сечи Богдан вернулся! — шутили друзья.

Весь факультет знает, что они — еще с первого курса — влюбленная пара, что Таня Криворучко — его, Богдана Колосовского, невеста.

Сдадут последние экзамены, и откроется перед ними лето, вольное, загорелое. Как бы хотелось ей сейчас бросить конспекты и податься вдвоем за город, в поле за лесопарком, где трамвай влетает прямо в рожь.

Весна промелькнула для них совсем незаметно, только и видели из этого окна, как бродили по горизонтам высокие седые дожди, только и слышались, как шелестели они за окном по деревьям, с тихим звоном барабанили по крыше, по разогретым камням домов. Потом опять было солнце — и дымились асфальты, и палили деревья своею мокрой блестящей зеленью, и из окон студенческих аудиторий видно было, как где-то сразу же за Южным вокзалом, за сверкающими после дождя крышами домов радуга воду берет. Туда — к радугам, на просторы загородные манило студенческую душу...

Зато лето нынче будет у них необычайное: впервые проведут его вместе, поедут на археологические раскопки. Многие студенты разъедутся этим летом на раскопки — кто в Крым, кто к Каменной могиле на реке Молочной, где, по слухам, обнаружены доисторические рисунки в пещерах первобытного человека, а им, Тане и Богдану, старый профессор предложил Ольвию — предложил именно то, чего им самим больше всего хотелось. Древняя Ольвия, по-нашему «Счастливая», давно влечет обоих, давно им хочется раскопать ее, засыпанную песками, чтоб дознаться, почему она погибла, почему люди покинули ее. Полторы тысячи лет назад город бурлил жизнью, к нему прибывали корабли, шумел рынок многолюдный, на аренах проходили спортивные битвы, и в честь победителей на мраморных плитах город выбивал декреты. *«Пурфей, сын Пурфея, будучи архонтом, победил копьем и диском...»* Архонт — это вроде председателя горсовета, и Таня даже улыбнулась, представив, как бежит по арене председатель горсовета в трусах, завоевывая своему городу первенство.

— «Пурфей, сын Пурфея...» — имитируя голос профессора, начинает она торжественно декламировать из своего угла, но Богдан не поддается на уловку, не оборачивается, и она только и слышит от него:

— Не мешай!

Ей даже нравится, когда он вот так покрикивает на нее, этот ее атлет факультетский, который тоже мог бы «побеждать копьем и диском». Не читается Тане. Все видится ей степное лето, ольвийское небо высокое, под которым они будут с Богданом вместе, вдвоем. Сказочная Ольвия, лунные ночи, тихие лиманы — все это для них, для них...

Дверь вздрогнула от неожиданного грохота. Богдан удивленно поднялся:

— Кто?

И, еще не услышав ответа, бросился к двери.

Запомните этот миг! Навсегда запомните эту последнюю свою студенческую аудиторию на третьем этаже истфака, где, ворвавшись сквозь забаррикадированную дверь, настигло вас страшное, ошеломляющее слово:

— Война!

2

Новый Хасан?

Халхин-Гол?

Нет, видать, это было нечто посерьезнее.

В дверях аудитории стоит неуклюжий, широкоплечий Степура, их друг и однокурсник. Никогда Таня не видела его таким. Губы бледные, прерывисто дышит, хочет заговорить и не может — будто что-то застряло в горле.

Богдана это бесит.

— Рассказывай же!

Степура тяжело двигает толстыми губами:

— Бомбили ночью Киев, Севастополь и еще какие-то города... Кажется, Одессу, Минск...

— Ты откуда знаешь?

— Весь город знает... Только вы тут, как на острове... Я тоже сидел, читал, потом вышел за папиросами, а там уже все кипит. Громкоговорители разрываются, людей тысячи на площадях... Так-то, брат Таня, — Степура с горечью посмотрел на девушку. — Бомбы летят, вот такая история. А мы пели: «Если завтра война...»

Достав из пачки папиросу, он пытается прикурить, но спички ломаются одна за другой. Наконец, одна зажглась, он подносит ее к папиросе, и Таня замечает, как грубая рука его еле заметно дрожит, и сам он, неуклюжий, кряжистый, кажется ей сейчас удивительно беззащитным.

— Как бандиты напали, — говорит он. — Без предупреждения, вероломно, бесчестно...

Богдан, нахмурившись, стоит у стола над раскрытым конспектом, словно вспоминает что-то. Потом медленно закрывает конспект, складывает тетрадь к тетради аккуратной стопкой. Таня невольно фиксирует каждое его движение. На какой срок складывает он эти свои конспекты? Когда их снова откроет?..

Они выходят.

Таня все не выпускает его руку. Как ухватилась в аудитории, так и не выпускает, держится инстинктивно, будто предчувствуя разлуку.

В коридорах — вече новгородское. Студенты разных курсов, толпясь тут и там, возбужденно гомонят.

— Этого надо было ждать!

— Но ведь договор о ненападении на десять лет?

— Фашизм есть фашизм!

Двери аудиторий распахнуты настежь, разбаррикадированы — теперь не до наук. Скорее на улицу. Сердцу хочется услышать, что это всего-навсего какое-то ужасное недоразумение, что это еще разъяснится и опять все будет, как было.

На первом этаже, проходя мимо военной кафедры, увидели через приоткрытую дверь Духновича. Худой, сутулый, он стоял посреди комнаты над миниатюр-полигоном, и по едва заметной улыбке его было видно: он еще ничего не знает и думает, вероятно, не о муляжном этом рельефе, не о войне, которая уже врывается в тишину аудиторий, а о чем-то другом, далеком.

— Мирон, война!

Лицо его скривила недоверчивая ухмылка.

— Я еще не подготовился,— ответил он шуткой.

Но когда они зашли в аудиторию, вид у них был слишком необычен, чтобы подозревать розыгрыш.

— Собирайся, брат...

Военная кафедра. Это та самая комната, где им так надоедал придиричивый и педантичный майор, руководитель кафедры, где так осточертели им потрепанные военные плакаты на стенах, носатый противогаз в разрезе, учебный пулемет с дырочкой, просверленной в патроннике... Остановившись перед огромным столом с бутафорским полем, словно другими глазами рассматривают «пересеченную местность» с крохотными холмами и речками. Гипс, раскрашенные опилки, изображающие траву, метелочки деревьев... Как убого! Нестественная желтизна хлебов и ядовито-зеленый простор лугов, и речка, и лесок — все было мертвое, неправдоподобное, будто сама война вставала в образе этого неживого пейзажа. Мертвый ландшафт лежал перед ними вполкомнаты, а им виделась живая степь с ее запахами, с созревающими хлебами, и ветер полевой, и небо, полное жаворонков, и радуги, что над полями светятся сочно! Бомбы упали сегодня на хлеба. Где-то их уже топчут танки, рвут снаряды...

На муляжных пригорках распластался портфель Духновича, туго набитый книгами, а сверху, на портфеле, лежат замусоленные военные уставы,— Духнович никак не мог постигнуть всю их премудрость и сейчас, похоже, снова зубрил, готовясь к пересдаче зачета. Как-то получалось, что Духнович, этот факультетский философ, охотно и легко штудировавший даже внепрограммные науки, до сих пор так и не смог одолеть устав караульной службы, до сих пор не научился как следует «kozyрять», ходить с компасом по азимуту на занятиях в лесопарке, где он всякий раз сбивался с заданного направления, вызывая насмешки товарищей и недовольство преподавателя.

— Ну как, друже? — кивнув на уставы, обратился Богдан к Духновичу.— Уразумел?

Духнович скривился, что должно было означать улыбку.

— Эти уставы нагоняют на меня какой-то ну просто мистический ужас. Они будто на санскрите написаны: сколько ни расшифровываю, никак не доберусь до смысла.

— То уже вчерашнее,— печально заметил Степура.— Теперь, видно, не такие зачеты будем сдавать.

Они вместе вышли на улицу. Все как раньше: спокойная зелень деревьев и день тихий, ни солнечный, ни облачный, в теплой дымке мгlistой; но тревога как бы разлита в воздухе, она уже проникла в город, в души людей.

Сумская клокочет. У репродукторов — толпы. В парке, возле памятника Тарасу, полно людей. Все ждут чего-то, не расходятся...

В толпе Степура заметил Марьяну и Лагутина. Они стояли, обнявшись, чего раньше не позволили бы себе на людях. Он бледный, сосредоточенный и будто бы равнодушный к ней, а она прижалась, притулилась к нему плечом, будто говорит: ты мой, мой, я никому тебя не отдам...

Степура не может взять в толк, как он, этот Лагутин, этот художавый, белобрысый его соперник, может сейчас быть безразличным к ней. Если бы к Степуре так льнула она, любовь его давняя, безнадежная! Сколько мечтал о ней ночами, сколько стихов ей написал, а она, ласковая, горячая, с румянцем калиновым,— для другого, который уже привык и, кажется, не дорожит ею!

Вверху между деревьями блестит на солнце бронзовый Тарас, склонившись над людьми и думая свою думу, а ниже, вокруг пьеде-

стала, — бронзовая покрывка¹ с ребенком на руках, и повстанец с ко-
сой, и тот, который цепи рвет, и тот, который лежит раненный у пере-
ломленного древка знамени, и все вы, кто сейчас смотрит на них, — не
ваша ли это судьба, вчерашняя и завтрашняя, темнеет суровой брон-
зой высоко меж деревьев?

Заглядевшись на памятник, Степура не заметил, как потерял в
толпе Марьяну и Лагутина. На глаза ему попала стоящая поблизости
незнакомая женщина с ребенком на руках; лицо женщины запла-
кано, а в широко открытых глазах — жажда поддержки, немой во-
прос: неужели правда? Она смотрела на Степуру так, словно бы он
мог еще опровергнуть это ужасное известие...

— Ты идешь? — услышал Степура позади голос Богдана. — Мы с
Таней пошли.

Выбравшись из толпы, они двинулись вверх по Сумской, к своему
студенческому городку. Духнович поплелся с ними, хотя жил в центре
с родителями. Молча перешли на Бассейную, заглянули в знакомый
магазин, где обычно брали хлеб, но магазин оказался пустым: полки
голые, хоть шаром покати. Возле другого магазина — шум, толкотня:
расхватывают все, что есть, — мыло, спички, соль...

— С ума, что ли, походили? — пожал плечами Духнович. — За-
чем вам, гражданка, столько соли? — придержал он женщину, ко-
торая со свертками в обеих руках бежала навстречу.

С виду интеллигентная горожанка люто набросилась на Духно-
вича:

— Что ты в этом понимаешь, чистоплюй?

И побежала, одарив студентов таким взглядом, что Тане стало не
по себе: и в словах женщины, и в этих ее с бою взятых кульках Тане
почувствовалось что-то страшное, пока еще далекое, но приближаю-
щееся; покамест лишь сердцем почувствовалось горе тех многостра-
дальных матерей, обездоленных солдаток, которые, впрягшись в
санки, отправятся по оккупированной земле сквозь вьюги-метели
менять и будут замерзать с детьми, заметенные снегом на дорогах.
Этого еще не было, такого Таня и в мыслях не допускала, и все же
слова этой женщины глубоко ранили девушку, легли на душу тяжким
предвестием.

Шли и как бы не узнавали знакомых скверов, улиц, домов. В ок-
нах квартир чьи-то руки уже обклеивают изнутри стекла полосками
бумаги, крест-накрест, а во дворах роют щели, укрытия от бомб, —
такой, оказывается, есть уже приказ штаба ПВХО. Эти серые много-
этажные дома — неужели и на них будут падать бомбы? Эти трам-
ваи звонкоголосые — неужели они перестанут ходить?

Возле корпусов Гиганта увидели маленького красноармейца с ки-
сточкой в руке, он наклеивал что-то на стену.

Подошли, стали читать только что отпечатанное, крупно набранное
объявление — приказ о мобилизации. Обращение к людям, которых
страна первыми зовет на бой. Годы, годы, годы...

— Все мои братья подпадают, — глухо молвил Степура. — И батько
тоже.

— А мой давно уже там, — сказал Духнович, отец которого был
военным врачом. — Видно, теперь и мать призвут, она будет нужна...
Один только я вот ни к селу, ни к городу...

— Думаешь, нас чаша сия минет? — сказал Богдан, и Тане послы-
шалась злость в его голосе. — Разве мы не годны к бою?

Духнович растерянно захлопал глазами.

¹ Незамужняя мать, которая «покрывается», то есть повязывается платком, как
замужняя женщина. Один из образов шевченковской поэзии.

— А отсрочки? — худое, веснушчатое, с рыжими бровями лицо его выражало удивление. — У нас же отсрочки до окончания университета?..

Богдан нахмурился и глянул на Таню.

— Какие теперь отсрочки...

3

В темноту окунулся город.

Кажется, никогда не было такой густой темноты, как в эти первые ночи светомаскировки. Слепли призрачно вырисовывающиеся громады домов, таинственностью наполнились парки, скверы. Черное небо нависло над городом, необычной звездностью удивляя горожан, из которых мало кто спит в эту ночь.

На крышах домов — посты. Посты и на земле. На каждую полосу света в окне — свисток милицейский.

Из глубины улиц ползут трамваи с синими фарами во лбу. Станным становится лицо человека, попавшего в полосу этого мертвенно-синего, низко ползущего света. Прогромыкает трамвай, и снова тишина.

Не почтальоны — рассыльные военкоматов разносят в этот поздний час пачки повесток — от дома к дому, от подъезда к подъезду. В самых глухих переулках звучат их четкие шаги, слышно, как один, остановившись перед домом, громко спрашивает у дворника:

— Какой номер?

А через улицу другой рассыльный допытывается — так же требовательно, нетерпеливо:

— Номер, номер какой?!

Во всех районах города в тысячи квартир стучит война, вручает повестки.

Только к студенческим общежитиям не сворачивают рассыльные. Покамест студенты могут спать спокойно — у них брѳня до окончания университета. Однако и студентам теперь не спится.

В комендантской у телефона бессменно дежурят вооруженные комсомольцы, при входе в общежитие маячит часовой с винтовкой и противогазом. Не учебная малокалиберка — настоящая боевая винтовка в эту ночь у студента на плече. Комендантская отныне именуется штабом — окна в ней плотно завешены студенческими одеялами. Старшим здесь Спартак Павлуценко, член университетского комитета комсомола, ответственный за осовахиимовскую работу. Во время финской он попал в лыжный батальон, и, хотя до фронта их так и не довели, возвратился Спартак вроде бы фронтовиком, с той поры во всех президиумах он восседал с видом утомленного боями ветерана. С тех же времен на правах человека военного Спартак носит эту гимнастерку, португепю и ремень с медной командирской пряжкой, которая сверкает на нем и сейчас. Правда, для полноты впечатления Павлуценке немного не хватает роста — он едва ли не самый низкорослый на факультете, — зато солидности у него хоть отбавляй; она у него во всем: в походке, в повороте головы, в неестественно приподнятых плечах, в локтях, оттопыренных на какой-то особый манер.

Когда в комендантской звонит телефон, Спартак опрометью бросается к нему:

— Историки? Штаб МПВО слушает!

И, припав ухом к трубке, слушает с таким видом, будто с ним разговаривает не дежурный с истфака, а кто-то стоящий сейчас в самом центре событий. Полное, розовощекое лицо Павлуценки в эти минуты

сосредоточенно, серые расширившиеся глаза полны высокой решимости.

Время от времени он выходит из комендантской и, громко постукивая каблуками в вестибюле, направляется проверять пост, выставленный у входа в корпус. На посту сейчас — Слава Лагутин, надежный парень, которому Спартак не имеет оснований не доверять, но Павлушценку раздражает, что возле Лагутина все время вертится Марьяна Кравец, эта чернявая их красавица, которая не могла придумать ничего лучшего, как прибежать из девичьего общежития на свидание в такое время и в такое место.

— Я тебе уже говорил, — раздраженным тоном обращается к девушке Спартак, — пост — не место для свиданий.

— Иду, иду, — отвечает Марьяна, отступая шаг назад и делая вид, что собирается уйти.

— Это я уже слышал. А уйду — ты опять тут как тут!

— Ну, что случится с тобою, Спартак, если я немножко, самую малость, тут постою?

— Со мною — ничего. Но должен же быть порядок! И вообще — что за разговор? Сказано уходи — значит, уходи, ежели не хочешь неприятностей себе и ему.

Спартак при этом покосился на Лагутина, к которому Марьяна опять прижалась.

— Почему ты ей ничего не скажешь? — обрушился Спартак уже на Лагутина. — Ты ж знаешь порядок?

— Правда, Марьяна, иди, — говорит Лагутин и неохотно отстраняет ее. — До завтра!

Перед тем как уйти, Марьяна еще раз приблизилась к Славику, торопливо не то поцеловала, не то шепнула ему что-то, а уходя с независимым видом, так тряхнула туго заплетенной косой перед Павлушценкой, что даже хлестнула его по плечу.

Некоторое время Спартак молча смотрел Марьяне вслед. Убедившись, что девушка исчезла в темноте, повернулся к Лагутину.

— Ты смотри тут. Прислушивайся!

— Весь — внимание! — в голосе Лагутина прозвучали насмешливые нотки.

Спартак подошел к нему вплотную, снизил голос до шепота:

— Есть данные, что они диверсантов к нам забрасывают. Говорят, в милицейскую форму переодеты. Ясно?

— Ясно, — Лагутин перестал улыбаться.

— Особенно туда вон поглядывай, — Спартак настораживающе кивнул в сторону кладбища и затих, словно оттуда, из темных зарослей, уже в самом деле выползали, подкрадывались к общежитию диверсанты.

Оставшись один, Славик не мог глаз оторвать от той темноты, от чащи кладбищенской зелени за забором, где они еще вчера с Марьяной загорали, вместе готовились к экзаменам.

Это кладбище, его густые, дикие заросли — излюбленное место студентов. Каждую весну и лето они там загорают, зубрят по кустам конспекты да целуются, либо целыми компаниями фотографируются под крылатыми ангелами и у могил своих прославленных предков. Там похоронено много профессоров и ректоров университета, в том числе баснописец Гулак-Артемовский, академик Баглий, художник Васильковский — «небесный» Васильковский, которого так любит Лагутин... Прошлой весной на кладбищенском просторе среди студентов всюду мелькали еще и госпитальные халаты: неподалеку был военный лазарет, и раненые да обмороженные проводили тут целые дни, поправляясь после финской. Со многими из них студенты подружились, один

из командиров попытался было даже отбить у Лагутина его Марьяну, но, несмотря на это, они расстались друзьями.

И вот теперь в сторону этого кладбища, которое было таким укромным местом для студенческих свиданий, ты должен смотреть с зоркостью часового, должен прислушиваться к малейшему шороху в его сиреневых зарослях; а когда оттуда появится вдруг, махнув через забор, чья-то подозрительная фигура,— останови ее суровым окриком:

— Кто идет?

Окажется, что это идет Дробаха Павло, беспечный гуляка, парень донбассовский, из тех, что не боятся ни черта, ни декана,— когда-то из таких вот выходили повесы, дуэлянты лихие. Там, за кладбищенской оградой, ночами напролет пропадал Дробаха, там, среди сиреневых зарослей и крапивы, буйно расцветала его неприхотливая любовь. И война, кажется, ничего не изменила. Привычно перескочив ограду, подошел к Лагутину, веселый, взлохмаченный, попросил закурить.

— Тут не курят,— сказал Лагутин.— No smoking!¹ — И добавил: — Чуть не бахнул по тебе.

— Не попал бы. А ежели и попал, не пробил бы: кожа на мне чертова.

— Да знаем... Все бродишь... Ну, где был?

— А где ж бедному студенту быть? Бродил. Промышлял. Пил радости мира, как сказал бы поэт. А я говорю по-своему: дурак тот, кто не умеет жить в свое удовольствие. Ведь мир чудесен! Наслаждайтесь им!

— Ты считаешь, для этого сейчас подходящее время?

— А что?

— На этот мир покушаются...

— Черта пухлого!

— Что — черта пухлого?

— Руки им поотбиваем, не горюй!

И пошел в вестибюль, насвистывая.

Вскоре из темноты появилась перед Лагутиным еще одна фигура — высокая, стройная, подвижная — Богдан Колосовский. Похоже, провожал Таню до общежития на Толкачевке. Богдан подошел к Лагутину, неловко улыбаясь, видно, ему было малость неудобно, что в такое время, когда другие стоят на посту, делают дело, он идет себе со свидания, обцелованный девушкой.

— Тебе, наверное, пора сменяться? Хочешь, я встану?

— Нужно Спартака спросить.

— Зачем спрашивать?

— Без этого нельзя. Там списки.

— Ну так я пойду к нему.

В комендантской Спартак тем временем разговаривал с кем-то по телефону, то и дело приговаривая: «есть!», «есть!», а хлопцы — среди них и Дробаха,— рассевшись на столах и на подоконниках, молча смотрели на него — кто хмуро, кто с веселым любопытством наблюдая его в этой новой и, вidać, очень приятной для него роли.

Когда Богдан вошел, Павлущенко, уже кончив разговор, исподлобья посмотрел на Колосовского, и круглая голова его в светлых волнистых кудрях наклонилась над каким-то списком, который лежал перед ним на столе.

— Разреши мне сменить Лагутина,— обратился Богдан к Спартаку.

— Лагутина сменяет Ситник,— холодно ответил тот и крикнул в угол, где столпились ребята: — Ситник, заступай на пост!

¹ Не курить! (англ.).

Первокурсник Ситник, шустрый, остриженный под ежик парнишка, юркнул в дверь. Через минуту в комнате появился Лагутин.

— Ну, что ж ты? — обратился он к Богдану.

Колосовский шагнул ближе к Спартаковым спискам:

— Когда там моя очередь?

Спартак, начальнически хмурясь и не подозревая, как не идет это к его полным, по-детски розовым щечкам, долго ищет Богдана в списке и, наконец, раздраженно объявляет:

— Тебя нет.

— Как нет?

— А так вот — нет.

— Кто составлял список?

— Известно кто. Бюро. Я.

Те, что следили за Колосовским, увидели, как он побледнел.

— Почему же меня не внес в список?

Скрипнул стул. Круглая голова Спартака снова склонилась, рассыпалась кудрями над списком.

— А мы не вносим всех подряд. Тут отобрали кого следует.

Эти слова окончательно возмутили ребят.

— А его, по-твоему, не следует? Отличник учебы! Ворошиловский стрелок! — закричали отовсюду.

— Допиши! — соскочил с подоконника Дробаха. — Скажи, что пропустил случайно! По темноте своей.

Спартак сразу же осадил его:

— Ты лучше помаду вытри на щеке! Кому война, а кому...

Проведя кулаком по щеке, Дробаха продолжал, однако, свое:

— Такому товарищу — и ты не доверяешь? Стреляешь хуже него, а тут заупрямился, не можешь доверить Богдану отстоять один час на твоём дурацком посту?

Это совершенно взбесило Спартака. Он поднялся из-за стола — приземистый, плотно затянутый ремнем толстячок.

— Вижу, о тебе тоже следовало бы подумать, если ты считаешь наш пост... бессмысленным, — надувшись, глянул он на Дробаху, и в голосе его вдруг зазвучали угрожающие нотки: — Тебе известно, что такое пост? Известно, что объявлено военное положение?

Дробаха спокойно шагнул к столу.

— Ну и что?

— А то, что нам нужна сейчас утроенная бдительность!

— К кому?

— Ко всем! К тебе! Ко мне! Ко всем!

Лагутин, подойдя к Спартаку сзади, положил руку ему на плечо:

— Ты, товарищ Цицерон, речей нам не закатывай. Объясни толком: почему в списке нет Колосовского? Кто тебе дал право унижать, оскорблять — да еще в такое время — нашего товарища?

— Ты меня не учи! — Спартак сердито стряхнул руку Лагутина. — И вы тут не митингуйте! Демократия кончилась! Позвольте уж мне судить, кого надо включать в список, кого — нет! Прежде чем защищать, вы у него спросите! — крикнул он, не глядя на Богдана. — Спросите, где его отец?

Богдан почувствовал, как жаркая кровь огнем заливает ему лицо. Отец... Ничем иным нельзя было ударить его так тяжело сейчас, как именно напоминанием об отце... Ты сын человека, которого называли врагом народа, который выключен из этой жизни. На курсе знают об этом, некоторые хлопцы тайком даже сочувствуют тебе, и все же сейчас ты перед ними как бы и действительно в чем-то виноватый. Будто бы утаил. Будто бы украл. Не находилось слов для возражений Спартаку и вообще не оставалось ничего другого, как только молча

выйти из комендантской. Повернулся и вышел, избегая взглядов товарищей.

Поднимаясь в темноте по ступенькам, чувствовал, как горит лицо, как бьет в висках кровь.

У себя в комнате Богдан, не раздеваясь, упал на постель, зарылся головой в подушку. Недоброе, мстительное чувство душило его, сердце жгла боль незаслуженной обиды.

Этот Спартак, этот ультрабдительный факультетский деятель, может быть, и сам не подозревает, какой глубокой кровоточащей раны в сердце Богдана коснулся. Недоверие, недоверие, с такой грубой откровенностью высказанное!

В углу закрипела кровать Степуры. Оказывается, тот еще не спит. Вздохнул, обратился к Богдану:

— Будешь ужинать? Там хлеб, повидло в тумбочке.

Богдан не отозвался.

— Лежу вот и думаю, — заговорил погодя Степура, — наверно, повестки уже получили...

Глуховатым баском он говорит то, что Богдан слышал от него не раз, — о старших братьях своих, Степурах, один из которых — тракторист, другой — комбайнер, третий — конюх, все с женами, с кучей детей. Еще говорит что-то о батьке, который тоже подлежит мобилизации, и о своей отсрочке, которая дает ему льготу, дает почему-то преимущество перед братьями...

— И за что? За какие такие заслуги перед народом?

Богдан почти не слышит его. Вцепившись зубами в подушку, он никак не может подавить в себе обиду, ворочаясь, сжимает кулаки от боли, которая жжет и жжет его. В это грозное, напряженное время, когда Родина в опасности, ему не доверили оружие, его отбросили прочь! Тут, возле общежития, не доверяют, что же думать о фронте!

Жарко в комнате, хотя окно открыто. Вскочил с постели, разгоряченный, подошел к окну. Сразу же за дорогой темнота, будто и конца ей нет. Далеко над районом заводов мигнул прожектор. Мигнул, упал, погас, и стало еще темнее. Вспомнилось небо Запорожья в заревах доменных печей. Оттуда, из Запорожья, был взят отец — последнее время он работал в горвоенкомате. Вспомнилось висевшее на стене в комнате отца почетное революционное оружие, которым он был награжден за участие в ликвидации махновских банд. Богдан не признает за отцом вины, он не отречется от него никогда, каких бы это ни стоило ему неприятностей и обид.

Водянистые холодные глаза Спартака увидел перед собой. Так что ж по-твоему, если мой отец там, мне, его сыну, доля народная, Родина моя советская менее дорога?

Хлопнула дверь. Вошел Штепа. Не зажигая света, начал шарить в тумбочке — его кровать у двери.

— Еще не спите?

— А что? — отозвался Степура.

— Только что мы видели — ракету кто-то пустил.

— Где это вы видели?

— Мы с Безуглым на крыше дежурили, смотрим, а над лесопарком — вжик! Есть же, кто сигнализирует, а?

Богдану казалось, что Штепа в это мгновение обращается со своими подозрениями именно к нему и только ждет, что Богдан скажет на это... А может, вообще выдумал о ракете — Штепа и на такое способен. Может, по заданию Павлуценки выведывает настроение? Или мне уже мерещится?

Темно за окном, душно в комнате. Хоть бы Таня была здесь. Таня, она одна знает о нем все, она сердцем чувствовала его боль и сама

страдала, видя, как страдает от подозрений гордость его, достоинство его человеческое, и Таня, как никто, умеет облегчить его страдания, в самые тяжкие минуты разделить его горе.

Словно бы почувствовав его настроение, Степура встал с кровати, в трусах, в майке подошел к окну.

— Чего не ложишься? — потормошил он Богдана.

— Да так...

— Что-нибудь случилось? С Таней что-нибудь снова?

— Да нет...

Богдан не хотел ничего говорить при Штепе. Он слышал, как тот везится у своей тумбочки, как ужинает в темноте — колбаса аппетитно хрустит у него на зубах.

— Завтра наши хлопцы собираются отсрочки свои сдавать, — сказал Степура вполголоса.

Но Штепа услышал его:

— И чего им эти отсрочки мешают? Куда торопятся? Государство дало, стало быть, оно знало, что делало. Не пойму, зачем спешить поперед батька в пекло.

— Ты можешь не спешить, — сердито бросил ему Степура.

— И не собираюсь. А ты разве пойдешь?

Степура ответил после паузы:

— Я пойду.

— И ты, Богдан?

— И я.

— Ну, как хотите, — снова хрустнула колбаса. — А я так думаю: раз у меня отсрочка, я больше нужен тут, чем там.

Пужинав, Штепа разделся, лег и вскоре захрапел.

Степура и Колосовский долго еще стояли у окна. Богдан в нескольких словах сообщил Степуре, что случилось в комендантской.

— Не горюй, — сказал Степура. — Рано или поздно, все станет на свое место. «Война спишет», — слышал я сегодня на улице. А я думаю, ничего она не спишет. Напротив, железом, огнем, кровью напишет правду о каждом из нас.

Спокойные раздумья его вроде бы немного остудили Богдана. Но даже и после того, как улеглись, долго еще не могли уснуть, взбудораженные пережитым за день.

Коротки летние ночи, а эта была непривычно долгой — казалось, никогда и не кончится.

4

Солнце?

Да, оно еще было.

Поднялось и осветило Журавлевку, заводы и площадь Дзержинского, и стройную железобетонную громаду Госпрома — этот первый украинский небоскреб.

Возле Госпрома с самого утра людно. Можно подумать, тут сборный пункт какого-нибудь райвоенкомата. Но тут не военкомат. Тут Дзержинский райком партии. В его кабинетах непрерывно заседают комиссии, вместе с представителями армии рассматривают заявления добровольцев.

Сегодня райком осаждают студенты. С утра было объявлено, что в этот день пройдут лишь гуманитарные факультеты, но те, чьи дела начнут рассматривать завтра, тоже не расходятся, группами снуют по площади, толпятся у подъездов, в коридорах. Ждут. Не зря же бросали они деревянные гранаты, не зря же ходили с малокалиберками на осоавиахимовское стрельбище!

Истребительные батальоны, о которых до сих пор еще никто не слыхивал, диверсионные группы, которые будут заброшены в тыл врага, маршевые роты, которые вскоре покинут этот город, — все они начинают свою жизнь тут.

От папиросного дыма не продохнуть в тесном коридоре, где сбились историки, филологи, географы... Каждый здесь чувствует себя словно перед сдачей тяжелого, решающего экзамена. И как во время экзамена, все внимание обращено на дверь, за которой заседает комиссия, все взгляды устремляются к тому, кто выходит оттуда. Кучей наваливаются на него, заглядывают в лицо, по блеску глаз угадывают, что все в порядке, и шутливо-радостным хором приветствуют:

— Годен!

И те, кто успел пройти комиссию, принимают его к себе — ведь он уже их, он уже кровный брат им.

А бывает, выйдет — и глаза его неуловимы. Попробует что-то объяснить. Мол, и тут, в тылу, кому-то нужно оставаться. И порок сердца. И то, и се. Он ищет сочувствия. Но от него молча отворачиваются.

— Следующий!

Тот, кто готовится войти, держит наготове комсомольский билет и в нем — свою отсрочку, свою студенческую брönю. Обыкновенная справка, обыкновенный листок бумаги, а какую силу обрел он сегодня, как много значит он в судьбе каждого пришедшего сюда! Сохранишь эту бумажку при себе — и останешься далеко от огня, а положишь ее вот тут, на столе, и уже дорога твоя лежит туда, где черным, горячим ураганом бушует война, где горше Хасана и Халхин-Гола, где такие, как ты, истекают сейчас кровью в пограничных бетонированных бункерах.

Первыми комиссию прошли парторг факультета Дядченко, профорг Безуглый, члены комсомольского бюро, в том числе Спартак Павлуценко, который умудрился заполучить тут право распоряжаться, свободно входить и выходить из кабинета. Всякий раз он появляется перед товарищами все более озабоченный, серьезный, будто придавленный грузом многочисленных и нелегких обязанностей. Он попытался было провести без очереди на комиссию кого-то из пединститута, уверяя, что это сталинский стипендиат, но отовсюду дружно закричали, что все, мол, мы здесь, перед райкомом, одинаковы, все комсомольцы, — значит, даешь равноправие! Павлуценка пристыдили, а его дружка так-таки не пустили — шли одним живым потоком — стипендиаты и нестипендиаты, отличники и троечники, ребята с блестящими биографиями и неблестящими.

В одно из своих появлений Спартак, заметив среди ожидающих в коридоре худощавую, сутулую фигуру Духновича, был немало удивлен:

— И ты тут?

— А что я? У бога телятню съел?

— Ну, телятню не телятню... Однако от тебя, правду скажу, не ожидал.

— Почему ж не ожидал? — Духнович захлопал светлыми, без ресниц, глазами.

— С твоим отношением к военному делу...

— Военное дело — то другое дело, — отшутился невесело Духнович.

Проходя мимо Колосовского, который заметно нервничал, Павлуценко каждый раз хмурился и отводил глаза в сторону, как бы давая этим понять, что ему нежелательно присутствие Богдана здесь, что

лучше бы тому вовсе не стоять среди добровольцев, у этой заветной двери.

Колосовскому выпало зайти в кабинет одним из последних. Ему показалось, что комиссия встретила его так, будто только что речь шла о нем. Настороженные. Официальные.

Полногрудая, средних лет женщина с яркими сочными губами, с родинкой на щеке и тугим аккуратным кольцом еще не поседевших волос, держала заявление Богдана, но смотрела не в бумагу, а прямо на него. Смотрела молча, изучающе, и, как ему показалось, в прищуренных, холодных глазах ее затаилась неприязнь, подозрение.

Ледяным голосом спросила:

— Колосовский Богдан Дмитриевич?

Он кивнул почему-то почти сердито.

— Итак, вы изъявили желание идти добровольцем в Красную Армию?

— Изъявил.

— В окопы? Под пули? Под танки? Туда, где — совсем не исключено — вас ожидает смерть? Вы все это взвесили?

— Да, взвесил.

— Мы отдаем должное вашему патриотическому чувству. Но если вы при этом проявили просто юношескую горячность, то еще не поздно взять заявление обратно: вот оно.

Женщина положила заявление Богдана на самый край стола.

— Нет, я не возьму.

— Подумайте. Хорошенько подумайте.

— Об этом я подумал раньше.

По правую руку от женщины сидел армейской выправки бритоголовый мужчина в гражданском, за ним — смугловатый военный с сединой на висках, с мешками усталости под глазами. В петлицах — шпалы: комиссар. Оба они — и бритоголовый, и комиссар, не вмешиваясь в разговор, внимательно слушали ответы Колосовского. Когда он отказался забрать заявление, женщина, словно подстегнутая его упорством, набросилась на него с новыми вопросами:

— Где отец?

— В анкете сказано.

— Он репрессирован?

— Да.

— Враг народа?

Колосовский, стиснув зубы, промолчал.

— Вас еще в школе исключали из комсомола... Это правда?

— Правда.

— За что?

— Все за то же.

— За что «за то же»?

— За отца. За то, что отказался отречься от него.

— А почему отказались? Ведь он враг народа?

— Он не враг. Он — красный командир. Имел орден Красного Знамени еще за Перекоп и был награжден почетным революционным оружием.

Женщина переглянулась с Павлущенком, который сидел в стороне за телефоном, и холодно бросила Богдану:

— Вы свободны.

Он не тронулся с места.

— Как это понимать — свободен?

— Идите. Продолжайте учиться.

Белой полной рукой она отложила его заявление в сторону, отдельно от тех, что горкой лежали перед нею на столе. Иди. Продолжай

учиться. Нам ты не нужен... Значит, крах. В ее представлении отец — враг, стало быть, и ты тоже почти враг, во всяком случае — человек сомнительный, ненадежный...

Направился к двери, стараясь идти ровно, хотя ноги заплетались и тяжесть была такая, будто опускались ему на плечи все двенадцать этажей Госпрома. За спиной вдруг прозвучал спокойный, густой голос:

— Минутку, молодой человек.

Богдан оглянулся: это военный обращался к нему. Заявление и анкета Богдана были уже в его руках.

— Я вас слушаю.

— Подойдите сюда.

Богдан снова подошел к столу.

— Дайте вашу отсрочку.

Богдан подал ему отсрочку.

Военный, разгладив бумажку, положил ее перед собой, прочитал. Молча взял граненый карандаш с красной сердцевинкой, и толстая красная полоса уверенно легла наискосок через весь бланк отсрочки и еще раз наискосок: крест-накрест. «Верю тебе,— словно бы сказал этим.— Иди, воюй. Я ручаюсь за тебя».

Колосовский почувствовал, как горячая спазма перехватывает ему горло. Неожиданная поддержка незнакомого человека, доверие комиссара и не совсем даже понятная его готовность с первого же взгляда поручиться за тебя, за всю будущую твою жизнь так поразили Богдана, что он только усилием воли удержал себя, чтобы не разрыдаться тут, перед комиссией. Бритоголовый в гражданском, видно, был с комиссаром заодно, потому что сейчас приветливо улыбался Колосовскому своими бесцветными, как бумага, губами. Казалось даже, что и эта женщина, которая только что допрашивала его ледяным тоном, теперь как-то подобрела, ее выпуклые красивые глаза ожили, влажно заблестели, и этим новым взглядом она как бы хотела сказать: это я только так, это я только проверяла тебя, твою стойкость, хотела узнать, насколько твердо твое решение и желание...

Итак, ты тоже годен!

Члены комиссии поочередно пожали ему руку.

Отсрочка его лежала на самом вершине таких же отсрочек, твердо, навсегда перечеркнутых толстым красным карандашом. Судьбы студенческие, судьбы твоих товарищей. И твоя судьба тоже там.

Будут окопы. Будут атаки. Будут ночи в пожарах и дни, когда ты сотни раз заглянешь смерти в глаза, но никогда не расквесишься в этом, не расквесишься, что в тяжелое для Родины время студенческая твоя отсрочка добровольно была положена на этот райкомовский стол.

5

Таня знала, что Богдан пошел в райком. Не мог он поступить иначе.

И хорошо, что пошел. Может быть, одна только Таня и знала по настоящему, каким обостренным было у него то чувство, которое повело его сегодня в райком. Как-то он рассказывал ей со смешком, полшутя, о том, как еще мальчишкой писал заявление, чтобы послали его в Испанию бороться с фашистами. И вот твоя Испания, Богданчик, сегодня начинается здесь.

Таня не переставала волноваться за него. Чем мог быть для Богдана райком? Чем это могло кончиться? И хотя она понимала, что сейчас, может быть, именно там решается их будущее, может быть,

райком — это конец их встречам и свиданиям, что, может, это — страшно подумать! — разлука с ним навсегда, навечно, и навсегда разойдутся их дороги и никогда не будет того светлого счастья, о котором мечтали, — все же для нее было бы величайшим горем, если бы его там забраковали, если бы он не прошел комиссию. Не могло быть для нее более тяжелого удара, чем этот. Хорошо зная Богдана, Таня просто не представляла себе, как он будет жить, если его отстранят при отборе в райкоме. Хоть бы там все обошлось благополучно! Хоть бы там сумели заглянуть в его душу и увидеть его таким, каков он есть, — готовым на подвиг, со своею, советской Испанией в сердце! Этого более всего хотела, об этом думала Таня, торопясь вместе с девушками через площадь Дзержинского к бетонно-стеклянным солнечным корпусам Госпрома.

С Таней туда же спешит и Марьяна (конечно, к своему Славику!), две девушки с филологического, да еще Ольга гречанка, темнолицая, казавшаяся старше своих лет, — второй год живет она с Таней в одной комнате, и только Таня знает, к кому идет сейчас гречанка... Ольга подстрижена коротко, но как-то небрежно, волосы у нее густые — сноп, надетый на голову.

— Гляньте, вон наши! — кричит Марьяна.

Среди студенческих толп возле райкома они в самом деле увидели компанию своих: длинный и тощий, как жердина, Духнович с золотистым своим чубом, рядом размахивает кулаками Дробаха, видно, рассказывает анекдот; там же и Степура, Лагутин, четверокурсники Мороз и Подмогильный — Богдановы товарищи по спортивной секции. Только Богдана нет. Где же он?

Оказывается, хлопцы тоже ждут Колосовского.

— Что-то долго держат его там. Не пошлют ли прямо в маршалы? — пошутил Дробаха, но в шутке его Тане послышалось что-то невеселое.

— Видать, Павлущенко его там донимает, — сказал Степура. — Тот как вопьется — клец.

Наконец, Богдан появился. По ослепительной улыбке, по тому, как с разбега прыгнул он со ступенек подъезда и тряхнул чубом, отбрасывая его назад, Таня догадалась: все в порядке! У нее сразу отлегло от сердца. Хлопцы встретили Богдана хором:

— Годен!

А он, улыбаясь, сказал, обращаясь ко всем и к Тане в особенности:

— Вот и все!

Таня уже была возле него, она взяла его под руку выше локтя и крепко-крепко пожала. Этим пожатием было сказано все: как она рада за него, и как гордится им, и как, если даже придется очень и очень долго ждать, она будет ждать, потому что другого такого, как он, для нее на свете нет.

— Хоть бы только не торопились с отправкой, чтобы можно было спокойно собраться, — заглядывала Славику в глаза Марьяна. — Что вам с собой брать?

— Внимание! Поступил вопрос, — выкрикнул Дробаха сухим скрипучим голосом, явно подражая одному из преподавателей военной кафедры. — Что брать в лагерь? Отвечаю! В лагерь нужно брать: жену, гардероб, кровать, диван, пианино... И все это нужно брать для того, чтобы потом бросить, захватив с собой зубную щетку и пару белья!

Все смеялись. Таня, кажется, была счастливее всех, она с нежностью то обнимала Богдана, то украдкой поглаживала руку своего добровольца. Этого не могли не заметить другие.

— Да обними его, Таня, как следует! Не стыдись! — подзуживал Дробаха.

— Вы, девчата, теперь можете спать спокойно, — улыбался коренастый, широкоплечий Мороз, адресуясь более к Гале Ключко, высокой блондинке с филфака, к которой он давно был равнодушен, но которая только сегодня, победив свою гордость, пришла сюда встретить его. — Будем защищать вас, аки львы.

— Такие хлопцы! — храбро заговорил невзрачный на вид Подмогильный. — Да мы как пойдем, да как ударим — пух с них полетит!..

— Особенного страху нагонит на них, конечно, маэстро Духнович, известный спец по тактике и стратегии, — заметил Лагутин, и все засмеялись.

— Мирон, рассказал бы ты хлопцам, — обнимая Духновича за плечи, попросил Степура, — как тебя бабы сегодня схватили на Чернышевской.

— Было дело, — неловко подтвердил Духнович. — За парашютиста приняли, за переодетого арийца. Странно. Девчата, ну какой из меня ариец? Рябой. Рыжий.

— Ты не охайвай себя, — смеясь, сказала Марьяна. — Ты ж у нас красавец... Брови вон какие, как пушок у цыпленка! Да что говорить, все вы сегодня красивые, даже Степура, — лукаво глянула она на Степура, который густо покраснел при этом. — Только чего же мы стоим? Пошли! — вдруг сказала она и подхватила одной рукой своего Славика, а другой — Степура.

Огромная, залитая солнцем площадь Дзержинского широко, вольно стелется перед ними, и где-то на другом конце ее виднеется гранитное здание, которое раньше занимал ЦК.

Взявшись под руки, попеременно девушки и парни, двинулись они площадью, словно степью. Идут, как не раз ходили на демонстрациях, во время вечерних прогулок, гурьбой, как десятиклассники после выпускного вечера, когда со смехом и шутками отправляются они встречать восход солнца за городом. Как хорошо, когда чувствуешь: сделал именно то, что нужно было сделать, можешь теперь открыто посмотреть каждому встречному в глаза!

Солнце стоит высоко, льется густыми лучами прямо в лицо. Чистым, до ослепительности ясным видят хлопцы да девчата небо над собой, небо, в котором более двух десятилетий не взрывались снаряды, не свистела шрапнель, не было ничего, кроме птиц и радуг высоких. И чтобы это небо да почернело? Дымом заволоклось и сполохами пожаров? Не бывать этому, не бывать!

Идут и твердо чеканят шаг по брусчатке парусиновые студенческие туфли, и девчата уверены, что пока есть на свете их чубатые хлопцы, не ступит нога чужеземца на эту площадь, широкую и светлую площадь их юности, площадь, которой они так гордятся, — ведь она самая широкая и самая большая из всех площадей Европы!

6

На Бассейной, у остановки трамвая, где Духнович остается дожидаться своего номера, они встретили Администратора — так ребята кличут Михаила Штепу, который, находясь в контакте с театральными администраторами, распространяет в свободное время билеты и кое-что за это имеет.

Сейчас он идет сдавать Средние века. Что бы там ни случилось, а он — зачетку в зубы, шпаргалки в карманы и чешет к профессору: хоть на тройку, лишь бы сдать.

— Вот увидишь — провалишься, — предсказывает Таня.

— Откуда такие прогнозы? — улыбается Штепа своими вывернутыми губами. — Или тебе так хочется?

— Да, и хочется.

Таня терпеть не может этого Штепу. Тихий, чистенький, прилизанный, а на темени уже лысина просвечивает. Галстучек всегда завязан идеальным узелком, на устах — никогда не исчезающая улыбка, вернее, даже не улыбка, а просто верхняя губа у него так вывернута, что кажется, он всем и всему улыбается. Он и сейчас улыбается ребятам, хотя не в состоянии понять ни их настроения, ни того волнения, которое они вынесли из райкома и которым еще и сейчас переполнены.

Штепа в райком не пошел. Утром, когда Таня забежала к ним в комнату, она застала там его одного. Он стоял возле гардероба перед зеркалом и спокойно поправлял на шее тоненький этот галстучек.

— Богдан почуял в себе Минина или же Пожарского, — не оставляя своего занятия, ответил на ее вопрос Штепа. — Пошел в райком сдавать свою отсрочку, а вместе с ней, возможно, и голову.

— А ты?

— Я не комсомолец, — Штепа ухмыльнулся. — Останусь кончать университет. Пускай мне будет хуже. Если бы мне официально сказали: Штепа, сдай отсрочку декану, получи обмотки, винтовку и иди стреляй, убивай — разве не пошел бы? Пошел бы и убивал бы. Но чтобы вот так, самому... Иметь отсрочку и вдруг отдать ее... Нет уж, извините...

С этими словами он еще раз оглядел себя в зеркале, снял кончиками пальцев с рукава какую-то ниточку и направился к двери.

Встретившись теперь с ребятами, он не чувствовал перед ними ни малейшего стыда, хотя, кажется, должен был бы чувствовать.

— Так, так, волонтеры, — одаривал он своей простодушной улыбочкой то одного, то другого. — И ты тоже записался? — насмешливо обращается он к Духновичу.

— Записался.

— О, хвалю, хвалю!

— А почему же тебя там не было? — сурово спрашивает Ольга.

— Да я ведь не комсомолец, — опять тянет он свое. — Переросток я или как там по-вашему?

— Скорее недоросток, — резко поправляет Марьяна.

— Я что-то не припоминаю: был ли ты когда-нибудь в комсомоле? — спрашивает Подмогильный.

— Нет, он родился членом профсоюза, — шутит Дробаха.

Все вдруг с удивлением подумали: в самом деле, почему Штепа не был в комсомоле? Так и не был, прошел, миновал как-то незаметно.

— Гляжу я на тебя, Мишель, — подступает к нему Дробаха, — ну куда ты сейчас разогнался? Правду говорит Таня — провалишься. Хронологию хоть вызубрил?

— Вызубрил.

— Ну так скажи, в каком году неграмотный бандит Писарро завоевал государство инков?

Штепа неопределенно бегаёт глазами.

— Что ему инки, — говорит Лагутин, — когда его сфера — театральный мир! Я слыхал, ты уже и на сцене выступаешь?

— Пробовал раз.

— Да ну? Где же это ты? На каких ролях? — притворно ахают хлопцы, хотя им хорошо известен этот недавний оперный дебют Штепы.

— Я не гордый, — говорит Штепа, а Степура объясняет:

— Вы видели, в «Тихом Доне» казаки в лампасах с деревянными винтовками пробегают через сцену? Так и он там бежал. Лампасы. Бутафорская винтовка, остервенение на лице — роль хоть куда...

— Теперь вот и вам придется бегать, только уж не с деревянными. Или вас что, забраковали? — спрашивает Штепа, и вывернутые губы его продолжают улыбаться.

Колосовский сразу нахмурился:

— С чего ты взял?

— Смотрю, такие веселые идете... С чего, думаю, радуются?

— Тебе этого не понять, дитяtko,— промолвил Дробаха, и его скуластое, каменно-тяжелое лицо стало серьезным.

— Почему не понять?

— А потому,— Дробаха слегка дернул Штепу за язычок галстука,— что ты еси болван или дубина...

— Стультус по-латыни,— добавил Духнович.— Иди уж на экзамен, попытай счастья.

— Да я и пойду. Девчата, вы тоже?

— Мы дорогу знаем,— холодно бросила ему Таня.

7

Хлопцы еще по пути из райкома решили, что не пойдут сдавать,— вольные теперь птицы.

— Немного неудобно, правда, перед Дедом,— говорит Богдан.— Да пусть уж извинит.

— Сдадим после войны,— беззаботно бросает Дробаха.— Под звуки литавр за все сразу придем экзаменоваться.

— Не забудем к тому времени? — спрашивает Лагутин, как бы обращаясь к самому себе.

— Ты думаешь, это так надолго? — удивляется Мороз.

Колосовский смотрит на него иронически:

— А ты думаешь, на три дня?

— Пускай не в три дня, но за два-три месяца, я уверен, все будет завершено. Гитлер заскулит.

— Наше время — не время тридцатилетних войн,— поддерживает его Подмогильный.— При современной технике, при нашей силе нам дай только размахнуться...

В общежитии ребята захлопотали у своих чемоданов. Никто из них не знал, когда прикажут отправляться: через неделю, через две, а может, через час. Всем добровольцам комендант общежития предложил сдавать вещи на хранение в кладовую, как это они делали каждое лето, разъезжаясь на каникулы.

Богдан, достав из-под кровати чемодан, склонился над ним, взломаченный, задумчивый: перебирает, укладывает студенческое свое добро. Несколько рубашек, вконец застиранных в студенческой китайской прачечной, пара недавно приобретенных футболок, а больше всего — книги, фотографии, записи. Вот они группой — хлопцы, девчата — сфотографированы среди зелени у надгробного памятника отцу украинского театра Кропивницкому. Вот маевка в лесопарке. Таня, смеясь, качается на дереве. Фотографии он, наверное, заберет с собой, а куда денешь вот эти толстые тетради, заметки, черновики его будущей дипломной работы? Древний Боспор, Ольвия, степные скифы и половцы, запорожская Хортица, рядом с которой поднялся ныне Днепрогэс,— таков был круг его интересов, и, кажется, Богдан никогда не устал бы раскапывать, изучать, исследовать свои

солнечные степи от седой древности до грозových лет революции, когда в этих степях летала на коне буйная отцова молодость...

Рядом, у кровати, перебирает какие-то записи Степура, а за ним, в углу, копается в самодельном добротном чемодане Мороз — они тоже собираются, притихли, погрузились каждый в свои мысли.

— Послушайте-ка, — сказал вдруг Мороз, достав из чемодана какую-то тетрадь, — что писал еще на первом курсе один из ваших современников: «...Не хочу быть мещанином, не хочу довольствоваться малым в жизни... Завидую поколению Корчагиных, которое начертало как девиз своей юности: «Райком закрыт, все ушли на фронт». Завидую тем, кто сквозь полярные льды пробивается к полюсу, стратонавтам нашим завидую... Это жизнь!.. Что может быть достойнее человека? И я буду счастлив, если именно на такую жизнь позовет меня Родина...»

— Это из твоего дневника? — спросил Степура.

Мороз промолчал, смущенно сунул тетрадь в карман.

— Ясно же, что не Плиний-старший, видно по стилю, — заметил Колосовский. — А в общем-то он прав. Очень даже прав.

В дверь постучались.

По стуку, легкому и озорному, Богдан узнал: Таня!

В самом деле, в дверях появились ее загорелые ноги, юбочка белая мелькнула. Танюша вообще умеет вроде бы не ходить, а порхать — летает на своей юбочке, как на парашютике, легкая, будто невесомая, будто и нет для нее силы земного притяжения... Такая она сейчас, такой была и три года назад, когда они впервые встретились в главном университетском корпусе.

— Сдала! — Она дернула Богдана за чуб.

Он поднял от чемодана повеселевшее лицо, увидел Танину улыбку, радостную, приветливую.

— Сколько?

Показала на пальцах: пять!

— Ей просто везет! — сказал Богдан ребятам. — Никогда не готовится серьезно, пробежит, как коза, по эпохам, по датам, а, глядишь, сдает на пятерки... Не иначе как профессор ей симпатизирует.

— Он не только мне, он и тебе, — Таня снова взъерошила его чуб. — Где это, спрашивает, ваш верный рыцарь? Почему не пришел сдавать?

— А ты объяснила?

— Ну конечно. Только: не резон, говорит, экзамен остается экзаменом. Он просил передать, чтобы ты обязательно пришел. Так что — иди!

Богдан переглянулся с ребятами: вот, дескать, положение.

— Ну что ж, двигай, — посоветовал Степура.

Богдану и самому вдруг стало странно: почему, собственно, не пошел? Сидит он сейчас в аудитории, седой, краснощекий их Николай Ювенальевич, перед разложенными на столе экзаменационными билетами, а в углу стоит его палка с серебряным набалдашником в форме маленькой скифской бабы. Каждый раз, когда кто-нибудь, отвечая, прибегает к шпаргалке и пытается как-то выпутаться, обмануть профессора, Николай Ювенальевич в молчаливом возмущении начинает сопеть, лицо его багровеет, вот-вот, кажется, ухватит он эту суковатую палку да так и треснет студента за нерадивость. Богдан был исполнен к старому профессору искреннего уважения и благодарности и, конечно, меньше всего хотел бы обидеть его на прощание. Разносторонний ученый, друг и соратник известного украинского историка Яворницкого, профессор своими руками перекопал весь юг, изучил самые большие скифские могилы, теперь исследовал Ольвию

и, кажется, все искал среди студентов достойного себе помощника, а может быть, и преемника. Богдан замечал, что профессор присматривается к нему, возлагает на него особые надежды. И что же? Он, Богдан, отблагодарил его тем, что вот так махнул рукой, не пошел на этот свой последний студенческий экзамен...

— Пойду,— решительно тряхнув чубом, поднялся Богдан.— Только застану ли?

— Застанешь, он еще принимает,— подбадривала его Таня.— Еще трое было после меня...

Через полчаса Богдан уже стоял в аудитории перед профессором. Не было никого, он зашел последним, оставив Таню в коридоре. Поздоровавшись, приблизился, как обычно, к столу, выбрал один из разложенных билетов, на которые кивнул ему профессор. Нидерланды, Марко Поло — все было хорошо знакомо.

Пока Богдан, присев у стола, готовился, Николай Ювенальевич поднялся, взял палку и, слегка постукивая ею, пошел к открытому окну. Косые лучи солнца просвечивали сквозь густые кроны деревьев, и они были словно залиты зеленым светом. Внизу, где-то там на улице, слышались команды, четкий топот ног,— видно, проходили строем мобилизованные.

— Я готов,— сказал Богдан.

Профессор обернулся и смотрел на Богдана так, будто не сразу узнал его или вдруг увидел в нем что-то не совсем понятное для себя, не до конца разгаданное, что хотел осмыслить, расшифровать, тут же уяснить.

— Что там у вас? — наконец нарушил он молчание.

Богдан назвал вопросы и хотел было начать, но профессор жестом руки печально остановил его и заговорил неожиданно совсем о другом:

— Какого числа наполеоновские войска вторглись в нашу страну? 24 июня. Вечером 22 июня французы переправились через Неман. В тот же день — ровно через сто двадцать девять лет — эти перешли Буг. Такое совпадение. Конечно, случайное, но наводит на некоторые размышления... Конец их будет такой же! — Он жестом подозвал Богдана к окну.— Посмотрите!

Сквозь ветвистые, освещенные предзакатным солнцем деревья видно было, как внизу, по асфальту, все идут и идут колонны мобилизованных. Еще в гражданском, разномастные, в кепках и с непокрытыми головами, с сумками на спине, с чемоданами в руках...

— Войны были одной из причин гибели многих цивилизаций,— с грустью заговорил профессор.— Достаточно посмотреть во время раскопок на мертвые, сожженные ордами наши городища, чтобы убедиться, чем были войны для народов. Человечество нашего, двадцатого столетия могло бы избежать этой трагедии, так по крайней мере до сих пор казалось нам, чужакам моего поколения. Но, очевидно, есть силы, более могущественные, нежели человеческий разум, силы, которые, если их не остановить, приведут человечество к самоуничтожению. Из года в год мы устрашаем студенческое воображение картинами средневековой инквизиции, но ведь это же была детская забава в сравнении с размахом дьявольских действий инквизиторов современных! Как они озверели! Костры книг полыхают на всю Европу. Нет Сорбонны. Нет Карлова университета. В центре Европы — казармы, где фашизм муштрует убийц, концлагеря, мракобесие, омерзительный смрад расизма...

Профессор помолчал, следя за колонной, которой не видно было конца.

— У меня тоже есть сын. Он служит в парашютно-десантных войсках. Он у меня единственный, и если с ним что-нибудь случится, сердце мое, наверное, не выдержит, но, поверьте, больше, чем жизнь моего сына,— я уже не говорю о своей собственной,— дорого мне сейчас то, что можно было бы назвать великим наследием человеческого духа, доставшегося нам в виде культуры эллинов или так еще мало изученной культуры славянства...

Богдан почувствовал на плече его руку.

— Гляньте, сколько их идет. Это завтрашние солдаты, простые, обыкновенные люди, люди от станка и от плуга, большинство о фресках Софии Киевской, видимо, и не слышали, Рафаэля не знают, но это все друзья Рафаэля, друзья Пушкина и Гоголя, единственные теперь их защитники. Только вы, только такие, как вы, как мой сын, такие, как те, кто марширует внизу по улице, еще вселяют в нас надежду. Вам может показаться странным, что я сейчас заговорил с вами об этом. Но я знаю, что вы записались в добровольцы, перед вами дорога тяжелых испытаний, и хочется, чтобы шагая по ней, вы помнили о самом важном: в жестокий наш век, среди крови и дикарства, великие гуманистические традиции не должны быть утрачены! Они должны быть сохранены, и сохраните их — вы!

Разволновавшись, профессор снял с носа старомодные свои очки и начал протирать их уголком борта белого парусинового пиджака. Протер, надел, кашлянул сердито:

— Давайте ваш матрикул,— и тут же, у окна, старательно вывел в нем оценку: *отлично*.

— А Ольвию мы еще раскопаем,— напомнил он, когда Богдан, пожав ему руку, выходил.— Желаю вам счастья и прошу не забывать свою альма-матер! Думаю, ничему плохому она вас не научила...

8

Вечер.

В студенческом общежитии проводы: объявлено, что завтра поутру хлопцам в дорогу. Со второго этажа то и дело доносятся крики «горько!» — там, в одной из комнат, студенческая свадьба. Марьяна и Лагутин женятся.

Вчера о свадьбе не было и речи; вероятно, и сами молодожены еще не думали о ней, а когда стало известно, что назавтра Лагутину идти, Марьяна ошеломила своих факультетских друзей неожиданным приглашением:

— Приходите, женимся!

Зубровка стоит на столе, лежат горки печенья, черный хлеб и свежая зелень, привезенная Марьяниной матерью из дому, с Тракторного. Мать и отец Марьяны сидят за столом среди студентов, мать то и дело вытирает платком глаза, а отец строгим взглядом осматривает то светловолосого художавого жениха, то его друзей — они с непривычки быстро захмелели, поблднели и уже покачиваются, осоловело встряхивают чубатыми головами, которые едва держатся на худых студенческих шеях.

— Горько! — кричат молодым. — Горько!

В самом деле, горькая какая-то, безрадостная эта свадьба. Все делалось торопливо, на скорую руку. Мать давно знала, что у Марьяны есть жених,— не раз бывал он у них дома, этот гибкий, как стебелек, хлопек с голубыми, упрямыми и малость насмешливыми глазами. Ему двадцать лет. Он молод, как барвинок, от него так и веет свежестью, молодостью, чистотой. Славный зять! Только — на-

долго ли? Хлопцы эти, сидящие за столом, молодые такие, здоровые, уйдут завтра, оставят свои книги и науку, а все ли вернутся, доведется ли им еще когда-нибудь собраться вместе? Не о такой свадьбе мечталось матери. Думала, справят ее, когда дети закончат учебу; сыграют всем на радость, пригласив родных и заводских знакомых. И сваты, мать и отец Славика, приехали бы,—где-то они учительствуют на Сумщине. Не в этой душной комнате, где окна замаскированы одеялами, а дома, на открытом воздухе, в саду, стояли бы, ломаясь от яств, длинные столы, а электрические лампочки висели бы гирляндами прямо среди листвы деревьев,— и светло было бы, и людно, и весело, и музыка гремела бы до утра, весь заводской поселок знал бы, что это Северин Кравец, кадровый рабочий, справляет свадьбу дочери.

— Горько! Горько!

Славик вроде бы немного стыдится своей свадьбы и, кажется, даже несколько иронически относится к ней, старается отделаться шутками, когда требуют «горько»,— чтобы они с Марьяной при всех целовались! Но от матери ничего не укроешь, она видит, как сквозь юношескую эту стыдливость и насмешливость время от времени так и проглянет, так и сверкнет в голубых его глазах глубокая нежность и грусть, когда Славик смотрит на свою невесту.

Марьяна весь вечер нервно весела, свадебное возбуждение как бы захватило ее всю, целиком, но минутами эта веселость вдруг исчезает, глаза туманятся, и тогда она смотрит на своего суженого пристально и напряженно, будто запоминает. В такие минуты для нее не существует гостей—она видит только его одного. Это светлое, с тонкими чертами лицо Славика, прямой нос и по-детски припухшие, только что целованные губы, и туманная синева глаз, и эта добрая, открытая улыбка—все это ее, ее! Смотрела в голубые туманы его глаз, забыв обо всем на свете, то загоралась жарким румянцем, то вдруг, будто испуганная чем-то—может, предчувствием каким?—бледнела, и румянец на поблекшем, с несколькими родинками лице придавал ему, казалось, какую-то жалобность, измученность... Он, только он существовал тут для нее, и на него смотрела, а других едва ли и замечала—замечала, как-то не замечая. Когда же взгляд ее невзначай падал на его рюкзак походный, что лежал на гардеробе уже собранный, она, казалось, готова была закричать и, забыв о присутствующих, льнула к Славiku.

Она сама настояла на этой свадьбе, узнав, что завтра он уходит. Раньше и ей свадьба представлялась не такой, какой она была в эту прощальную, суровую ночь, когда весь город погружен в темноту, когда все так возбуждены и встревожены, когда посты стоят на крышах и плачут, вдовья, женщины, отправляя на войну своих самых дорогих. Днем бы, при самом солнце, играть эту свадьбу! Но не солнце озаряет их в эти неповторимые минуты, когда они на всю жизнь объединяют свои судьбы, не песня буйная, разудалая, радостная, а печаль, тревога, разлука, что уже прочно поселилась здесь, надолго. В своей руке Марьяна ощущает горячую руку Славика, весь вечер не выпускает ее.

Рядом со Славиком сидит Марьянин отец—круглоголовый, коренастый усач, с густыми, еще совсем черными бровями. Он был против этой свадьбы, к Славiku относился все время с нескрываемой настроженностью и, только изрядно подвыпив, обратился, наконец, к зятю:

— Скажу тебе, Ярослав, не хотел я этой свадьбы вашей скоропелой, не так это делается у нас, но что же,—он придвинулся ближе,—такие дни переживаем. Все довоенное идет вверх тормаш-

ками. Вот и мы на заводском дворе щели роём, цехи на новую продукцию переводим... Если бы меня завод отпустил, я и сам бы пошел туда, куда вы, несмотря на мои годы. Наступило, видно, время огнем проверить, чего стоим мы и наши дела. В добровольцы записались вы — хорошо. За это хвалю. Но это еще полдела: главное, чтобы там штаны не замарали. Знаешь, куда идете?

— Приблизительно, — улыбнулся Славик.

— В кузнечный цех идете. У нас на заводе в кузнечный отбираются люди особой пробы, хлипкие там долго не удержатся. Вот так и в армии. Иди честно в пехоту, — это как раз он и есть, ваш кузнечный цех...

Славик слушал старика и, кажется, не чувствовал, как Марьяна горячо гладит под столом его руку.

— Если уж он решил, за него не беспокойтесь, тату, — уверенно, с гордостью сказала она.

Хлопцы завели патефон, но он хрипел, его неприятно было слушать. Тогда кто-то подал мысль:

— Лучше попросим Ольгу — пускай она сплет.

Ольгу гречанку не пришлось долго уговаривать. Притихли, и из угла, где она сидела, полилась мелодия старинной малознакомой песни, которую Ольга принесла в университет откуда-то из своих приазовских украинско-греческих поселений: «Долина глибока, калина висока, аж додолу гілля гнеться».

Сейчас, когда она пела, некрасивое лицо ее неожиданно преобразилось, обрело какое-то печальное очарование, глаза, разгоревшись, смотрели через свадебный стол на занавешенное одеялами окно, туда куда-то, далеко-далеко посылала она грустную свою песню.

А внизу, на улице, стоит на посту Степура, добровольно подменив Мороза, который поехал к родственникам на Основу. Стоит, отстаивает свой последний студенческий пост и слышит, как там, наверху, время от времени кричат «горько!», слышит и песню гречанки, она льется оттуда, песня, которая в эту ночь забирает от него его возлюбленную и навеки отдает другому.

«Если бы не Лагутин, если бы его не было в университете, разве она не могла полюбить меня? — думалось Степуре. — Неужели нет во мне чего-то такого, что могло бы понравиться девушке, привлечь ее? Неужели все мои стихи так ничего ей и не сказали?»

Степура был поэт. Писал длинные, немного сентиментальные стихи о несчастной любви, о весенних соловьиных ночах, о месяце и зорях над своей Ворсклой, чистой, как слеза, речушкой на южной Полтавщине, откуда он родом. И хотя стихи его еще нигде, кроме факультетской стенгазеты, не печатались, товарищи считали Степуру настоящим поэтом. Но всякий раз, когда он мысленно сравнивает себя с Лагутиным, это сравнение не в пользу Степуры. Тот — остроумный, красивый, блестяще учится, а Степура — тугодум, с грубым, широким лицом и утиным носом. В минуты отчаяния Степура думал, что должен казаться ей просто неандертальцем пещерным с доисторической тяжелой скулой. Была в нем сила, но и в силе этой проглядывало нечто деревенское, тяжелое, неотесанное, и когда на занятиях в спортивном зале по очереди подходили к турнику, то и здесь преимущество было на стороне Лагутина. Крутя на турнике «солнце» не хуже Колосовского, Лагутин легко и красиво взлетал в воздух, и Марьяна смотрела на него с нескрываемой влюбленностью, а когда на тот же турник взбирался он, Степура, то под ним металлическая перекладина прогибалась, все сооружение скрипело и содрогалось, и девушки с визгом отскакивали в сторону.

Однажды Степура случайно услышал, как Лагутин, стоя с ребя-

тами возле свежего номера стенгазеты и читая вслух его стихи, насмешливо комментировал их, удивляясь, откуда, мол, у такого увальня столько сентиментальности, откуда у него все эти «очи-ночи». И хотя говорил он легко, беззлобно, весело — стоявшему неподалеку Степуре хотелось задушить его в этот миг. В душе Степуры после того случая укоренилась неистребимая, темная ревность к Лагутину, та самая, что бродила в крови его дедов и прадедов, дубинами взметывалась по сельским улицам, валила плетни, носила ворота на плечах.

С той поры они почти не разговаривали. Глухая неприязнь легла между ними: Лагутина она больше удивляла, а у Степуры временами перерастала в ненависть, особенно когда он видел, как Марьяна бежит за Лагутиным или трепетно ждет его где-нибудь возле библиотеки, по-девичьи покорная, а Ярослав, подходя к ней, как бы нехотя берет ее под руку, берет, как нечто от природы принадлежащее ему...

Пыткой для Степуры обернулась эта свадьба. Они даже и его зйти приглашали. Этого ему только не хватало...

Сменившись с поста, он, точно вор, прокрадывается по коридору к своей комнате, мимо настезь открытой свадебной двери... На какое-то мгновение увидел за столом Марьяну, возбужденную, яркую. Она что-то говорила Славику, смеялась, заглядывая ему в глаза, и рука ее мягко лежала у него на шее...

Степура прошмыгнул мимо двери, забрался в красный уголок, опустевший, темный сейчас, сел возле кадки с фикусом и жадно закурил. Слышал отдаленный свадебный гомон, и перед глазами его стояла она, во всей своей яркости — белозубая, краснощекая... Если бы Степура был скульптором! Если бы он был живописцем!.. Если бы имел право, счастливое право любимого, как бешено целовал бы он ее глаза-звезды, с их жгучим, пьянящим светом... Но — прочь эти мысли! Ты — сбоку, ты — лишний...

9

— Историки, стройся!

Духнович вырывается из материнских объятий и бежит в строй. Мать какое-то мгновение еще остается с распростертыми руками, ощущая в них пустоту. А сын ее уже там, где действуют другие, железные, законы, где звучат другие, железные, слова:

— Шагом ...арш!

Как их много! Студенты и студентки. Идут историки, филологи, географы, биологи, химики... Идут, четко печатая шаг по мостовой, и ее Мирон почти затерялся между ними со своим рюкзаком. Вот он оглянулся, на ходу помахал ей рукой и даже в эту тяжкую прощальную минуту не обошелся без шутки, бросил, улыбаясь:

— До свиданья, мама, не горюй!

И эти слова вдруг подхватила вся колонна, и они стали песней. «До свиданья, мама, не горюй, на прощанье сына поцелуй!», а ей, матери, стало зябко от того, что эти, случайно, как бы в шутку брошенные ее сыном слова уже стали песней, звучат над колонной могучим прощальным криком юных сердец. Сама юность идет, красивые какие люди все идут... Идут и поют бодрыми голосами, и видны улыбки на юношеских лицах и блеск солнца в глазах. Прощальной песней плещет колонна в лицо матери, и сердце разрывается от этого песенного разлива, который как бы выхлестнулся из университетских коридоров, с недавних беззаботных их комсомольских сборищ.

Становится тихой, безлюдной улица — улица Вольной академии, которая видела студенческие баррикады 1905 года и бурлила митин-

гами 1917-го. Бронзовый Каразин, основатель университета, стоит одиноко против белого, опустевшего университетского корпуса. Студенческая колонна вышла на центральную магистраль, вытягивается в направлении к заводам.

Люди приостанавливаются, смотрят вслед. Кто идет? Кого провожают?

Студбат идет. Студенческий батальон добровольцев проходит по городу.

Студбат. Странное это слово отныне навсегда войдет в жизнь матери, в ее бессонные ночи, тревоги. Торопливо идет она по тротуару в толпе провожающих, едва поспевая за колонной, мелькающей рюкзаками, студенческими чубами и щедро разбрасывающей налево и направо шутки и подбадривающие прощальные улыбки. Пока что на юношеских лицах улыбки и шутки на устах, а материнскому взору рисуются иные, тревожные картины...

Она до последней минуты не знала, что сын ее идет, что он был в райкоме. Узнала об этом лишь тогда, когда нужно было готовить рюкзак. Как врач, она теперь тоже в армии, с трудом отпросилась сегодня у начальства проводить сына, а отец и вовсе не смог: военный врач, он сейчас дни и ночи в военкомате, на комиссиях, на медосмотрах, где перед ним бесконечным потоком проходят мобилизованные, которые отправляются туда же, куда идет сейчас их сын.

Соседка, не скрывавшая того, что хотела бы видеть Мирона своим зятем, прибежала на кухню, испуганная, растерянная, казалось, еще больше, чем мать:

— Куда же вы его пускаете?

— А что делать?

— Да вы бы ему справку о состоянии здоровья, ежели отсрочку отобрали. Оба врача, разве ж вы не можете достать ему справку?

А Мирон, вошедший в кухню как раз во время их разговора, снова все перевел в шутку:

— Плохого вы мнения о моем здоровье, Семеновна, — сказал он. — Да вы только посмотрите, какие у меня бицепсы! А кроме того, духовная мощь... Вы меня обижаете своими разговорами.

И только она, мать, знает, какое у него в действительности здоровье, как легко пристают к нему всякие болезни, а кто же их там отгонит от него — ведь матери не будет рядом в окопах...

Возле моста она отстаёт: студбат ускоряет шаг, двигаясь по залитой солнцем улице заводского района. Мимо ХПЗ, «Серпа и молота», ХЭМЗа, Тракторного, куда-то вдаль, на Чугуевский тракт простирается их путь...

Духнович, оглянувшись в последний раз, еще видит на мосту силуэт матери среди других матерей, и все, что ему хотелось бы сказать ей в этот миг, только бурлит в нем, душит, обжигает. Никогда не думал, что так тяжело будет расставаться, отрывать ее руки от себя. Сегодня впервые он увидел ее в военной форме. Гимнастерка новенькая, шелестит, и петлицы со знаками различия, и морщинистая белая мамина шея, и седина из-под пилотки, такой неуместной на ней... Весь город будто окутан сейчас ее печалью, ее любовью. Город баррикад, бастион заводов, крепость силы индустриальной, город, который, как высокое творение народа, поднялся среди живописных просторов Слобожанщины... Каменные, разогретые солнцем громады, от которых пышет зноем, — какими они вдруг стали для него дорогими, как все его сейчас волнует! Смотрит на стены, и хочется крикнуть им: «Я люблю вас, стены!» Смотрит на камень, и взывает душа: «Я люблю тебя, камень!» Вот они, те камни, что зовутся

священными. Пока буду жить, не угаснет к тебе любовь, город моего детства и юности!

В окопах, в солдатских скитаниях, в самые темные ночи твоей жизни, когда душе твоей, теряющей силы, нужна будет поддержка, на помощь ей придет в воспоминаниях этот залитый солнцем город, где ты оставляешь своих родных и библиотеки, оставляешь площади и эту улочку Вольной академии, от одного названия которой тебя охватывает трепетное волнение: там твой университет, альма-матер!

Идут из города, и неизвестно, кто из них вернется, а кому не будет возврата. Но Духнович вовсе не испытывает страха. Ему почти радостно ощущать в себе страстное желание самопожертвования, желание посвятить себя всему тому, что он оставляет, прикрыть собой этот город, спасти, сберечь. Идут и идут. Уже взмокли спины под рюкзаками. Есть прохлада в тени деревьев, но она теперь не для вас. Прощайте, деревья! Прощайте, заводы! Прощайте, железо и камни серые, которые хочется назвать святыми...

Вышли за город, и тут оказалось, что не все провожающие отстали, что вслед за колонной торопятся стайкой девчата-студентки, не ведают устали крепкие молодые ноги. Немного их, девчат, осталось, самые упрямые. Вон Марьяна Кравец, вон Ольга гречанка (никому из ребят неизвестно, кого она провожает), вон Лида Черняева, блондинка с химфака. Ну и, конечно же, Таня Криворучко, которая с этой своей, казалось бы, даже легкомысленной улыбкой, не колеблясь, пойдет за Богданом на край света. Богдан — правофланговый, впереди колонны, там возвышается стройная его фигура, рядом с ним Степура, неподалеку Духнович и другие, самые высокие ростом.

Девчата далеко от них, им видны лишь рюкзаки и головы хлопцев, их загоревшие шеи. Иногда ребята оглядываются, кричат, чтобы возвращались, ведь и сами они не знают, куда их ведут и сколько еще идти. А девчата не слушаются. Сняв босоножки, несут их в руках и все идут, идут за колонной, будто не до Чугуева, а и вправду на край света.

— Возвращайтесь, хватит! — кричат им командиры.

Только после этого они останавливаются, и хлопцы, оглянувшись, видят девичью стайку у дороги. Вот их затягивает текучее степное марево, и тогда они кажутся хлопцам уже вечными, песенными, теми, что когда-то провожали своих милых за Дунай, в поход.

10

Есть в Днепропетровске, немного выше острова Комсомольского, залив, в котором стоят челны; кривые городские улочки спускаются к самой воде — лодками тут хоть к крыльцу приставай. Летом вода плещется о фундаменты, а на стенах домиков, подобно ватерлиниям на судах, полосатые следы весенних паводков.

Жизнь людей тут как на ладони. На весь Днепр виднеется бельё, развешанное на веревках, и кучи мусора, который валят с берега, и чья-то перекошенная, покрытая ржавой жестью голубятня...

Этакая надднепровская Венеция. Трудовая Венеция, с плеском воды под окнами, с зелеными шатрами акаций, которые в солнечный день, как в зеркале, отражаются в тихой синеве Днепра. Кроме акаций тут еще несколько тополей растет, дикий виноград по верандам вьется, а в одном дворе, где-то среди ржавых жестяных заборчиков и старых разошедшихся просмоленных лодчонок — рдеют мальвы! Кто-то посадил.

И тополя, и мальвы, и жезь на голубятне, и перевернутый вверх дном дряхленький, просмоленный челн — все это слитая в единое гармоническое целое картина жизни, а в центре ее сидит девочка с косичками, круглолицая, не красивая и не дурнушка. Это Таня Криворучко.

Ей восемь или десять лет.

Покосившаяся лестница ведет к самой воде. Прямо под окнами на Днепре — стойбище лодок, которые охраняет Танин дедушка, потомок запорожца. Длинная белая борода, в плечах сила кряжистая — восемь пудов якорной цепи поднимает. Вечером стоит на берегу, высокий, задумчивый, седой, как Гомер. Долго думает о чем-то, потом скажет вдруг:

— Цари были неграмотны.

— Откуда вы знаете, дидусь?

— Знаю.

На все у него свой взгляд, обо всем свое суждение, и Тане нравится, что он никого никогда не боится, а о Днепре и порогах днепровских говорит, как о своем подворье.

Почти каждая лодка, что стоит в заливе, имеет имя, и уже по нему можно узнать, чья она. Большой голубой «Арго» — это профессора из Горного, который женится третий раз; чуть дальше «Ермак» — старого прокатчика с завода, за ним заводской парусник «Скиф», а возле самого причала — скромная двухвесельная отцова «Мечта».

Танин отец работает прокатчиком, а в свободное время — завятый рыболов, целыми ночами на Самаре, возле рыбацких костров. Первые впечатления Таниного детства — это утренние гудки, которые зовут отца заступать на смену, и высокие заводские дымы на левом берегу, а еще неотделимы от ее детства две бетонные радуги железнодорожного моста через Днепр, белеющие за скалами Комсомольского острова, и сам этот остров, поблескивающий камнями посередине Днепра, весь как бы подернутый дымкой дедушкиных легенд. Тот остров, где княгиня Ольга спасалась со своим флотом от бури, где Святослав отдыхал, идя в поход. А холмы вдали за Днепром — это те, откуда казаки, спускаясь с верховьев, уже искали глазами Сечь.

Красив Днепр в верховьях, чудесен возле Киева, но не менее замечателен он и тут, где вбирает в себя Самару, где широко и вольно раскинулся перед степями, что разлеглись далеко на юг и на восток. Нигде не найти такого раздолья и простора! Днепр здесь — как небо, он будто решил собрать возле острова всю свою силу, чтобы раздвинуть камни, разрушить скалы и еще быстрее, стремительнее ринуться дальше, через пороги вниз. Оттуда с Татарщины, на эти холмы за Самарой выскакивали когда-то на диких своих конях ордынцы-крымчаки с натянутыми луками, там где-то рождалась дума «О трех братьях Азовских»...

Вечером, когда из той Татарщины, из синей мглы засамарской всходит луна, Таня, усевшись у дедушкиных ног, слушает легенды, которым нет конца. С древних времен селились здесь на зимовье запорожцы да лоцманы днепровские, мужественные, отважные люди, которые знали все капризы порогов и, рискуя жизнью, проводили вниз и княжеские струги, и купеческие караваны, и баграцкие чайки.

Кто знает, не дедушкины ли легенды, воспоминания и рассказы о давних временах заронили в Танину душу первую любовь к родному краю, с детских лет пробудили страстное желание поскорее выучиться, стать исследователем этих островов и степных курганов, которые всю жизнь раскапывал дедушкин знакомый, академик Яворницкий, сделаться историком родного Днепра с могучими заводами на его берегах.

Когда перед нею, дочерью рабочего, открылась университетская дверь и она стала студенткой, казалось, что достигнуто все самое заветное. Университет был ее мечтой, но он превзошел мечту: он дал ей любовь. До встречи с Богданом при всем бурном своем воображении Таня не могла представить, сколько чар, сколько мук и счастья таит в себе это человеческое чувство.

И вот теперь, когда это чувство с такой полнотой вызрело в ней, когда даже и сама наука с ее скифскими курганами отступила перед ним, девичьему сердцу суждено было до краев наполниться горечью разлуки, и жизнь теперь будет постоянной, неутихающей тревогой за него, за самого дорогого,— ведь война может в любой день, в любое мгновение навсегда забрать его у нее.

Скрылась в балке колонна студбата, потом еще раз появилась на той стороне, на пригорке, и, снова скрывшись, больше уже не появлялась.

Ушел Богдан, остался город, пустой без него, пустые общежития, куда не хотелось и возвращаться.

— Пошли ко мне,— поняв ее состояние, предложила Марьяна, и Таня тут же согласилась.

Как бы сразу увядшая, без улыбки, маленькая, измученная — такой теперь брела рядом с Марьяной.

Марьянины родители живут в районе заводов, в поселке Тракторного. Он встретил их садами, по-июньски рдеющими вишнями. Таня и раньше бывала здесь. И хотя этот рабочий поселок был вовсе не похож на тот, где выросла она,— тут все размерено, распланировано, домики новые, и кинотеатр в стиле модерн, вросший в землю,— все же сама атмосфера здесь напоминала Тане родной дом. Под вечер тут заводили патефоны, было полно музыки, в садах на зелень, на цветы из шлангов била вода, за столиками под деревьями клацали костяшки домино, будто по всему поселку проходила конница. Сейчас ничего этого не было. Была какая-то настороженность, напряженность.

У калитки встретили Марьянину мать. Неприятливая, сердитая, она несла куда-то под мышкой радиоприемник с обрывками антенны и заземления, свисавшими до самой земли.

— Куда это вы, мама? — обратилась к ней Марьяна.

— Сдавать несую,— буркнула мать недовольно.

Марьяна удивилась:

— Зачем сдавать?

— А велели... Клава вон приехала. Такое рассказывает...

Клава — это старшая замужняя Марьянина сестра. Увидели ее в саду возле столика: она кормила ребенка, прижав к груди.

— Клава! — бросилась к ней Марьяна.— А мы столько раз говорили о тебе... Ты *оттуда?*

Оттуда — значило из-под самой границы, там служил Клавин муж — лейтенант, и она жила вместе с ним. Очень еще молодая, она сейчас сидит усталая, сгорбившаяся, и по плечу ее расплзается тяжелый клубок кос, таких же черных, густых, как и у Марьяны. Глаза у Клавы с восточным разрезом, миндалевидные, они полны печали, неостывшего горя — небось насмотрелась...

— Рассказывай, как там? Ваня живой?

— Не знаю,— Клава тяжело вздохнула.— Ничего не знаю. Когда началось, забежал на минуту. «Клава, бери малыша и на вокзал». А вокзал уже пылает, взрываются цистерны, горит хлеб в вагонах, тот самый хлеб, который отправляли им же в Германию... В чем была выскочила, ничего не успела захватить с собой, только с ним, вот с этим.— Она плотнее прижала ребенка к груди.

— Ну ничего, будешь жить у нас, я ведь теперь тоже солдатка...

Вместе жить будем, пока все это не кончится. Это же скоро кончится, правда?

— Ой, вряд ли. Там столько танков они пустили, в небе от самолетов черно... Чем только наши до сих пор держатся — ведь совсем врасплох нас застали. Перед самым наступлением артиллерию как раз на ремонт отвели. Надо ж было додуматься!..

Она стала рассказывать, как бомбили их по дороге, как горели станции, на одной она едва не погибла, а подругу ее, тоже жену пограничника, с девочкой лет четырех при бомбежке убило прямо на глазах у Клавы. В пожарищах, в ожесточенной битве вставала перед ними страна из Клавиных рассказов.

Вскоре возвратился с работы отец. Сдержанно поздоровался, вроде бы и не особенно удивленный появлением старшей дочери, как бы загодя знал, что встретит ее здесь. Взяв малыша из рук Клавы, внимательно рассматривал его:

— Ну, пограничник. Вытряхнули тебя из гнезда...

И, скупно пощекотав внука оттопыренными усами, отдал его Клаве.

— А где же мать?

— Приемник сдавать понесла, — сказала Марьяна, расставлявшая посуду на столе.

— Что ты мелешь... Какой приемник?

— Известно какой — наш.

Отец засопел, подошел к умывальнику под деревом и, сердито позвякивая клапаном, стал мыть руки.

Таня, глядя на эти руки, думала, что они такие же огромные и огрубевшие в работе, как у ее отца, и еще думала, что этими руками старый рабочий на баррикадах когда-то завоевывал эту жизнь, которую сегодня пошли защищать Богдан и все остальные ребята-добровольцы.

Однако надо было помочь матери с обедом.

Тут же, в саду, за самодельным столиком, над которым нависли вишневые ветки, девочки принялись чистить картошку.

Клава рассказывала отцу о своих мытарствах, а он сидел молчаливый, угрюмый, смотрел куда-то вдоль улицы, в конце которой открывались поля, голубела колхозная рожь. Может быть, все это напомнило старому Кравцу, как лет десять назад, вот здесь, где сейчас поселок тракторостроителей, и дальше, на север, где раскинулся цехами Тракторный, была такая же рожь и открытая степь, а когда строили завод, то первый его директор, старый, чекист, по строительной площадке разъезжал верхом на коне, потому что пешком было совершенно невозможно пройти — такая была грязь. Жили тогда в бараках, инженеров не хватало, и в его, Кравцовом, доме было целое общежитие — теснилось пять племянников, которые из села к дяде пришли с деревянными крепкими сундучками. Всех выучил, устроил — пополнил рабочий класс. Кажется, это было совсем недавно: и директор на коне, и первый трактор, выкатившийся из ворот цеха под музыку, и Марьяна в школе среди иностранных ребятшек — там у них был целый интернационал, потому что на заводе работали в те годы и американцы, и чехи, и немцы, и англичане, приехавшие сюда вместе со своими семьями... Давно уже обходятся без иностранных специалистов, и тысячи собственных тракторов пошли на поля, и сами рабочие из барачников перебрались жить в эти вот утопающие в садах домики... Вишеники поразрастались — лезут ветвями через заборы на улицу; клубника, садик стал для Северина Кравца вторым занятием, — для него и для его товарищей по кузнечному нет теперь лучшего завода на свете и лучшего соцгородка.

Он слышит: Марьяна рассказывает Тане о том же самом — как

первые деревья сажали здесь, как отец с матерью заспорили тогда, что сажать:

— Тато — вишни, потому что с каждого деревца, мол, можно будет снять самое малое по ведру ягод. А мама — тополя. «А что толку с тех тополей — один пух летит»...

Вишни давно уже плодоносят, и пух тополей летит, когда они цветут в начале июня, и Марьяна любит этот пух...

Возвратилась мать, хоть и без приемника, но, кажется, в несколько лучшем настроении, чем уходила из дома.

Присев к столу, стала рассказывать:

— Только что у Писаренчихи на петухов ворожили. Поначалу ихний все время был сверху, а потом наш как расправил крылья, да как бросился, только перья с Гитлера полетели! Вот оно какое дело!

В другое время смешно было бы слушать подобное, но сейчас не смеялись, лишь Клавин пограничник, разыгравшись, расплывался в улыбке и все ловил ручонками ягоды на вишневой ветке.

Отец на ночь собрался снова на завод. Перед тем как выйти со двора, еще раз склонился над внуком, которого Клава пристроила под вишней в гамаке.

— Не падай духом, держись, — глухо внушал ему старик. — Ежели в зыбке бомба не взяла, будешь жить... Все еще у нас впереди. Еще будет раскалываться от нашего железа ихняя поганая земля...

Клава с ребенком в этот вечер рано легла спать, дорога вконец измучила ее. Только Таня с Марьяной допоздна стояли у калитки, будто ждали кого-то, и слушали, как высоко над ними шелестят верхушками тополя — ровесники Тракторного.

11

Летят студенческие чубы!

Ворохом лежат они на земле — русые, каштановые, черные, светлые, смешавшись, сбившись в солдатский войлок.

Возле бани, в тени зеленых густолистных деревьев, где стригут добровольцев, слышны хохот, выкрики. Со всего лагеря, как на веселое зрелище, сходятся смотреть на эту процедуру.

В помощь солдату-парикмахеру встал сам помкомвзвода первой роты студбата сверхсрочник Гладун: для него, видать, было немалым наслаждением собственноручно снимать роскошные вихры ученой братии. Сапоги его с явным презрением топчут студенческие чубы, он плотно стиснул зубы, прохаживаясь машинкой по студенческой голове; тот, кто попал ему в руки, только покрякивает да ойкает, когда невмоготу.

— Терпи, студент, пехотой будешь! — приговаривает сквозь зубы Гладун. — Это тебе, брат, армия, а не университет!

Сядешь — и не успеешь оглянуться, как чуб твой слетел, острижен ты под ноль, расческу свою можешь забросить в кусты. Смешными выходят ребята из-под машинки: у каждого сразу как бы убавилось росту, головы становятся бугроватыми, у этого — какая-то шишка выпирает на темени, у того куст остался за ухом, а Духнович без своей густой рыжей шевелюры и вовсе выглядит комично: все сразу заметили, что голова у него как-то вытянута, формой напоминает дыню, а по бокам нелепо торчат огромные красные уши, тотчас же ставшие предметом острот.

Казалось бы, студенты воспринимают все это как должное, расстаются с прическами вроде бы даже легко, подтрунивают друг над другом, перестреливаются шутками, но в этом их смехе и шутках

слышится и сожаление об утраченном, и ощущение, будто вместе с чубами летит прахом и их индивидуальность, все то, что делало их непохожими друг на друга. Летит в безвозвратное прошлое студенческая вольница, беззаботность, привычка жить и действовать кто как хочет. Вместо разномастных чубов — теперь только голые, сведенные Гладуном к стандарту лбы.

Стриженные, с бугроватыми и шишковатыми головами, новобранцы подхватили от кого-то из сверхсрочников и уже охотно заучивают вместо премудростей университетских шуточные заповеди солдата:

1. Подальше от начальства: даст работу.
2. Держись ближе к кухне.
3. Если что непонятно — ложись спать.

Студбатовцам, учитывая их звание курсантов, выдали командирское обмундирование — в том числе добротные, с голенищами чуть не выше колен яловые сапоги, которые до этого, похоже, годами лежали где-то на случай войны. Помкомвзвода Гладун, несмотря на свою сверхсрочную службу, носит кирзовые, и его сейчас разъедает зависть.

— Ну, за что тебе такие сапоги? — говорит он, небрежно бросая Духновичу его пару. — Чтобы их заслужить, нужно семь пудов солдатской соли съесть. А ты? Кто ты есть?

Духнович с таинственным видом признается ему:

— Мы — интеллектуалисты.

— Это еще что такое? — Гладун подозрительно смотрит на него.

Оставшись одни, хлопцы хохочут:

— Вот увидишь, он тебе покажет «интеллектуалиста»!

А Дробаха по этому случаю рассказывает историю, как в свое время один художник едва не попал в беду за то, что назвался маринистом.

С помкомвзвода Гладуном у студбатовцев с первого же дня пошли нелады. Назначенный командиром к историкам, Гладун понял свои обязанности так, словно бы ему вручили табун диких степных коней и он должен их объездить, должен ловить их, треножить, взнуздывать и всеми правдами и неправдами елико возможно скорее водрузить на каждого армейское, всеми уставами предусмотренное седло. Ему казалось, что он должен прежде всего выбить из них университетский дух, который они принесли с собой в лагерь. Теперь излюбленная поговорка Гладуна: «Это вам не Вольная академия, это — лагерь, ясно?»

Сам он даже среди сверхсрочников выделялся своей подтянутостью и бравым молодецким видом. Здоровенный, осанистый, с такой выей, что впору ободья гнуть, идет на тебя, а в глазах — холод, лоб упрямый, хоть какую стену пробьет. За пределами лагеря, среди чугуевских молодежи он одержал немало побед и, говорят, будто даже вел им список. С виду более бравого в лагере не найти: все на нем как влито, будто родился он в этом обмундировании, пилотка от бровей на два пальца, воротник вокруг налитой кровью шеи даже в самый горячий зной сверкает белоснежным ободком. Не помкомвзвода, а живое воплощение лагерной дисциплины и буквы уставов! Лагерь, его посыпанные песочком аллеи столетних деревьев, грибки часовых, палатки, продырявленные пулями мишени, спортивные снаряды и полосы препятствий — вот мир, вне которого невозможно было представить себе Гладуна.

Он тешился своей властью над студентами, своим правом врываться на рассвете к ним в палатки и вытряхивать из «интеллектуалистов» их утренний сон:

— А ну, подъем! Подъем! Довольно нежиться! Сегодня строевая, а не биномы Ньютона!

На плацу он гоняет их до седьмого пота. Где самые глубокие рвы, где самая колючая растительность, — там они километрами ползают перед ним по-пластунски, а когда кто-нибудь, не выдержав, попробует роптать — горе ему! Другие уйдут на отдых, а этому бедолаге одному придется маршировать под палящим солнцем, либо дополнительно тренироваться в штыковом бое, вновь и вновь до одури прокалывая набитые соломой, истерзанные чучела.

Само собой разумеется, более всего доставалось Духновичу, однако и после помкомвзводовской «надбавки» он не мог держать язык за зубами.

— Да что это в самом деле? — говорил он, сплевывая землю, которой во время ползания как-то умудрялся наглотаться. — Николаевская муштра? Кос-Арал? Только Тараса Шевченко так когда-то гоняли, как вы нас гоняете...

Этого было вполне достаточно, чтобы гимнастерка Духновича в тот день не просыхала вовсе.

— Вот я тебе покажу Кос-Арал!

— Не «тебе», а «вам».

— Это все равно.

— Кому все равно, а кому — нет.

— Комиссару пожалуешься? Встать! Кому сказано — встать? Во-он до той кобылы по-пластунски — туда и обратно, марш!

Духнович, вероятно, полагая, что Гладун только пугает, не спешил выполнять команду. Но Гладун крикнул уже с угрозой:

— Сполняй!

И Духнович, только было присевший возле товарищей, должен теперь снова подняться, потом упасть прямо в пыль, ползти по горячему, раскаленному от солнца плацу, в полной выкладке, на локтях преодолевая расстояние до кобылы, которая пасется черт знает где, у самого горизонта.

Колосовский, хмурясь, некоторое время смотрел вслед товарищу, а потом неожиданно встал, поправил ремень и по всей форме обратился к Гладуну:

— Товарищ старший сержант! Разрешите мне за него проползти.

Гладун был искренне удивлен, что Колосовский, один из самых приметных в студбате правофланговых, немногословный и проникнутый больше, чем другие, уважением к военной науке, берет вдруг под свою защиту Духновича, этого совершенно безнадежного в военном деле человека, к тому же еще и баламута.

— Почему это у вас, Колосовский, шкура за него болит?

— Это мой друг. У него здоровье слабое.

— Ну, уж если сюда попал, пускай знает, что тут слабых да хилых нет. Армия все болячки как рукой снимает!

— Снимает, но не в один же день.

Старший сержант оглядел Колосовского снисходительно, улыбнулся краем рта:

— Не к лицу вам, товарищ Колосовский, заступаться за таких разгильдяев... Сами вы ведь образцовый курсант. Какая между вами может быть дружба? Перед вами, может, дорога в Герои Советского Союза, а перед ним — куда?

— Одна у нас дорога.

— Не понимаю, чем он так провинился, наш Духнович? — спокойно вмешался в разговор Степура. — На два или на три пальца пилотка от бровей — не это сейчас главное.

— А что же? — Гладун насмешливо прищурил глаз.

— Главное сейчас там, где нас с вами нет,— мрачно сказал Лагутин.

— В конце концов мы записывались на фронт,— добавил Дробаха,— а не для того, чтобы шагистикой вот тут заниматься.

— Туда успеете,— ухмыльнулся Гладун.— Там таких понадобится ого сколько!

— Так отправляйте же!

Гладун насмешливо покачал головой:

— Эх, вы, «интеллекталисты»... Учили вас, учили, а головы мякиной набиты.

Когда он после этого отошел от них, отправившись наблюдать за Духновичем, Дробаха почти с ненавистью бросил ему вслед:

— Дубина! Фельдфебель!

— У меня такое впечатление, что он всю войну решил вот так отсидеться здесь,— сказал Лагутин, вытирая с обгорелого лица пот женским, с кружевной каемкой платочком.— Из кожи вон лезет, чтобы только не потерять тут место.

— А что, и отсидится,— угрюмо заметил Мороз.— Нынче гоняет нас, потом будет гонять других...

— Гонять нас нужно,— сказал Степура,— но это ведь можно делать с умом.

Колосовский, которого помкомвзвода оставил старшим вместо себя, сел с хлопцами продолжать занятия по уставу. Место, где их посадил Гладун, открытое, жара невыносимая, и ничто не лезло в голову, солнце, казалось, расплавляет мозги. А совсем неподалеку — тень, зеленеют столетние деревья...

И случилось так, что, когда Гладун возвратился с Духновичем, который еле плелся за ним, взвода не оказалось на прежнем месте: беспокойное воинство Гладуна самовольно переместилось в тень...

— Кто разрешил? — набросился на них Гладун.

— Я,— поднялся Колосовский.

Он ждал, что Гладун наложит на него взыскание, но тот почему-то не сделал этого.

Зато сильно пострадал весь взвод: немилосердие Гладуна тотчас же обрушилось на всех сразу. Другие командиры повели солдат на обед, уже за ними и пыль улеглась, а Гладун все держит своих на пустыре, где жара тридцатиградусная и воды ни глотка. Ведет их с плаца последними, ведет, налитый лютой злобой, с мстительными огоньками в своих выпученных под крутым лбом глазах. Вроде бы он выжал из своих курсантов все, что только можно было выжать, но ему этого показалось мало — приберег еще кое-что...

— Запевай!

Молчание.

— Запевай!!

Молчат.

— Запевай!!!

Как в рот воды набрали. Идут, будто оглохли, онемели.

Гладуну, однако, такие номера хорошо знакомы. Не к такому в руки попали, голубчики. У него запоете, он из вас выбьет эту дурь.

— Бегом!.. арш!

Тяжело подняли ноги, побежали, застучали каблуками.

Гладун не отрывает от них глаз.

— Шире шаг!

Ужарятся, ослепнут от пота, тогда запоят...

Все быстрее и быстрее бегут они, бегут, стиснув зубы, и только яловые сапоги грохают в тяжелом однообразии.

Плохо, однако, что и самому помкомвзвода приходится, не отста-

вая, бежать рядом с ними, с него тоже пот градом катится, и чем больше он глотает пыли, поднятой их сапогами, тем большая ярость охватывает его, — гнал бы, кажется, пока не попа́дают, но у самого уже не хватает сил, хочешь не хочешь, а придется останавливать.

— Направляющий... стой!

Но они продолжают бежать. Не услышали, что ли? Все увеличивается расстояние между помкомвзвода и добровольцами. Собрав все силы, всю буйную свою непокорность, которую Гладун не успел еще из них выбить, мчались куда-то напрямик, — вправду как табун необъезженных коней, который скорее расшибется на скаку, чем остановится от окрика. Гонясь за ними по огромному опустевшему плацу, Гладун уже и сам был не рад, что подал команду: «бегом!» Теперь помкомвзвода очень боялся, что они без него так вот и прискачут к палаткам, на главную линейку, на глаза командиров.

— Стой же! Стой! — взывал он.

А им нет удержу, ей-же-ей, протопают вот так мимо столовой, где ждет их гречневая каша, пробегут мимо часовых под грибами, вылетят из лагеря на простор — лови их тогда где-то в ихних вольных академиях...

Бросившись наперегонки, он все-таки преградил им путь, остановил уже на линейке, возле первых палаток.

Застыли на месте, запыхавшиеся, запаленные, в мокрых, хоть выжимай, гимнастерках, а на лицах — сама покорность, одно послушание, только в глазах у каждого и в прикушенных губах Гладун читал скрытую насмешку и полное удовлетворение: проучили.

— Почему не остановились? Почему не выполнили команду?

— А мы не слышали, — пожал плечами Дробаха. — Сапоги дуже гупают.

Другие тоже — как агнцы божьи, спрашивают с притворным удивлением:

— Разве вы кричали?

— Была команда — «бегом», мы и бегом, а «стой» — никто не слышал.

С удвоенным аппетитом ели они в этот день крутую солдатскую кашу с маслом, и Гладун ел вместе с ними, словно бы ничего и не случилось.

А когда, встав из-за столов, последними направлялись к себе, то и без помкомвзводского «запевай!» дружно, бодро, всеми глотками гаркнули на весь лагерь:

Дан приказ ему на запад...—

и этой песни им хватило до самых палаток.

Еще был Брест.

Еще были их десятки, сотни больших и малых Брестов, этих разбросанных по всему пылающему приграничью узлов сопротивления, где, отрезанные, окруженные, истекающие кровью в болотах, на полях и в лесах, бились до последнего наши бойцы, а сквозь прорванные пояса пограничных укреплений уже неслась на восток, уже громахала всей своей тяжелой силой «молниеносная война» — «блицкриг». Ревела моторами, скрежетала железом танковых армад, тархтела

мотоциклами по вишневым подольским садам, выкрикивая над Украинской боевой арийский девиз:

— Млеко! Яйка!

Днем было жарко от зноя, а ночью — от пожаров, от горячих руин разбомбленных станций. А они, завоеватели мира, все шли и шли и, вылетая из пыли, поднятой на дорогах, распугивали по селам женщин, наполняли выкриками двory, жадно шарили по огородам, по садам, и даже вверху, на деревьях, на красных, будто кровью облитых вишнях, были видны их раскоряченные ноги и серо-зеленые, цвета гусеницы, мундиры. Да это и была гусеница — гусеница размером с человека.

Студбат еще далеко от всего этого, еще не пахло на него раскаленным воздухом фронта. Лежа и с колена стреляли на стрельбищах по давно пробитым мишеням, кололи штыками чучела, множество раз проколотые курсантами пехотного училища и запасниками, проходившими в этих лагерях летнюю переподготовку. Может быть, только в том и была разница, что учеба проводилась ускоренно, в каком-то лихорадочном темпе, дисциплина была еще более суровой, а горны то и дело трубили над лагерем тревогу.

С непривычки студбатовцам трудно было выдерживать этот режим. Занятия с утра до позднего вечера, огневая, строевая, пылица, зной, ночью — посты, наряды, тревоги... Но даже в самые тяжелые минуты, когда новобранцы были до крайности измучены, Колосовский не позволял себе раскиснуть, каждый раз подстегивал себя беспощадной мыслью: «А там, на фронте, легче?»

Ему было стыдно, что он еще не там, в окопном университете, среди неизвестных своих братьев, друзей, ровесников. Ведь он шел туда, а до сих пор еще так далеко от фронта... Чтобы не так мучили угрызения совести, всю душу вкладывал в эту лагерную учебу, в штыковой бой, в стрельбы и тактические занятия, нередко превосходя учителей своих — сержантов сверхсрочной службы, этих подлинных богов крутой лагерной науки. Было что-то заразительное в той науке, она пробуждала в Богдане честолюбие, и хоть неудобно было перед товарищами, но он ловил себя на том, что ему приятно время от времени выходить из шеренги на три шага вперед и выслушивать перед строем на вечерней поверке благодарность командира. Особенное удовольствие получил он, когда однажды, стоя вот так перед строем, поймал на себе взгляд Спартака, исполненный ревнивого удивления: как же это, мол, не я, а ты стоишь перед строем и выслушиваешь похвалу?

Зато на политинформациях Спартак всегда читал фронтовую сводку. Неблагодарным, правда, было это поручение, тяжело было читать: «После упорных боев сданы...», «После жестоких боев оставлены...». Внутренние районы страны, которые еще вчера казались недосягаемо далекими для врага, сегодня становились аренами битв.

В первое же воскресенье к студбатовцам пришли девочки. Едва закончилась политинформация, дежурный радостно выкрикнул из-под грибка:

— Колосовский, на линейку! Лагутин, на линейку! Влюбленные, все на линейку! Девчата за лагерем ждут!

Все, кто был в этот час свободен от нарядов, радостно устремились к выходу, потому что это ведь касалось всех: девчат будто прислал к ним на свидание сам университет.

Девушки стояли за входной аркой под деревьями, в ряби тени и солнца, просвечивающего сквозь листья.

Богдан еще издали увидел среди них Таню. Она быстро пошла навстречу, не сходя с него глаз, никого, кроме него, не видя, неловко прижимая к груди букетик полевых цветов, маленькая, хрупкая его

Татьянка. Видел сначала только эти словно замороженные глаза и улыбку, ясную, доверчивую, неповторимую...

— Здравствуй, родной!

— Здравствуй, родная!

Это было сказано тихо, вполголоса.

Лицо ее обожжено солнцем, она стоит разутая, босоножки держит в руке... Ему почему-то до слез стало жаль ее.

— Пешком?

— Да нет, немного и подъехали... На, возьми,— она подала ему цветы, среди которых больше всего было васильков. Он жадно втянул в себя густые запахи степи.

— Где насобирала?

— А там, вдоль дороги, когда шли...

— Устала?

— Малость.

Опираясь на Богдана, она стала надевать босоножки. Пыль еще лежит на исхлестанных бурьянами тугих загорелых икрах.

— Эх вы, пехота! — Он чувствует, как голос срывается от переполняющей его нежности.

Никогда еще Таня не была ему так дорога. Только здесь по-настоящему понял, каким бедным был бы он без нее, без ее улыбки, без этой безоглядной преданности, что привела ее сюда. Обыкновенная девчонка, возможно, для других даже мало приметная, для него она выделялась из всех людей на свете, которых он только знал и будет знать, и уже стала самой родной, незаменимой, с этой ее безграничной ласковостью взгляда, с маленьким носиком и ямочками на щеках, с опьяняющей прелестью девичьей груди... Ему опять почему-то стало до боли жаль ее, жалко и обидно, что, погибнув, может сделать ее несчастной. «И если мне не хочется погибнуть на войне, то это прежде всего для тебя, любимая, для нас, для нашего с тобой счастья».

Улыбаясь, глядел и не мог наглядеться на все то, что принесла она ему в своих ясных глазах.

— Почему не поехала домой?

Губы ее виновато вздрогнули... Не смеет даже признаться: осталась ради него, чтобы находиться ближе к нему. И вот он стоит перед ней, опаленный солнцем, стриженный и, кажется, еще более вытянувшийся, похудевший, в новом, военном наряде, в новой, с красной звездочкой, пилотке. Форма ему к лицу, в нем есть военная жилка, передалась, видно, от отца. Стройный, высокий, даже и на каблуках она достает ему лишь до плеча, а сейчас и вовсе перед ним маленькая... Сколько за эти дни передумала о нем! После разлуки он еще больше вырос в ее глазах. Чувство ее к нему заполнило всю душу, она все время теперь ходит словно ослепленная. Иногда ей кажется, что она стала жестокой ко всем, кроме него, не поехала вот к родителям в такое время, о родном брате вспоминает в эти дни меньше, чем о Богдане, хотя брат у нее легчик, он где-то в самом огне, может быть, его и в живых уже нет...

— С понедельника отправляемся всем университетом на окопы. Противотанковые рвы будем рыть где-то под Красноградом.

— Где, где?

— Под Красноградом.

«Противотанковые под Красноградом? На этом берегу Днепра?»

Отгоняя от себя мрачные мысли, Богдан взял Таню за руку:

— У нас тут такие намерения, чтобы через Днепр их вовсе не пустить. И близко не подпускать к Днепру!

Раскачивая сплетенными руками, они пошли между деревьями в

глубину леса, полного свежести, прохладной тени, травы, буйных широколистных папоротников.

— Хорошо тут у вас,— сказала Таня.

— Сколько здесь людей побывало, можешь себе представить,— взволнованно откликнулся Богдан.— Тут ведь и до революции были лагеря. Эти дубы, видно, еще предками Репина посажены. Ты же знаешь, Репин отсюда родом, из чугуевских военных поселенцев, мы были на той сотне, где он жил!

— Ты и тут исследуешь? — улыбнулась Таня.

Богдан тоже улыбнулся и, обняв Таню, стал целовать ее в щеку, в губы.

— А мне и не стыдно,— смеялась Таня.— Пускай смотрят, я ж твоя...

Издали на них в самом деле смотрели курсанты, о чем-то весело переговариваясь.

— Крапивой меня обожгло,— призналась Таня, потирая ногу.— Помоги мне выбраться отсюда...

Он подхватил ее и почти на руках вынес из крапивы, из папоротников. Пошли по тропинке, углубляясь в лес.

— К кому это Ольга пришла? — спросил Богдан.— Такая грустная стояла там, у входа в лагерь...

— Ольга? — спохватилась Таня, только теперь, видно, вспомнив о подруге.— Она просила никому этого не говорить... К Степуре... Ольга давно в него влюблена!

— А он все еще из-за Марьяны переживает...— задумчиво сказал Богдан.

— Как у них с Лагутиным?

— Как и раньше. Просто смешно бывает! По росту им выпало ходить в одной шеренге, идут и дуются друг на друга, а нашим хлопцам, известно, только подай... Духнович уже предлагал им свои услуги секунданта.

— А он, Духнович наш... осилил уставы, наконец?

— Худо ему, бедняге. Смешно и горько смотреть, во что превращается мыслящее существо на плацу.

Сквозь зелень кустов перед ними внизу, в камышах, засверкала вода.

— Дальше не пойдем,— сказал Богдан, остановившись над обрывом.

— Дальше речка,— засмеялась Таня.

— Не только потому.

— А почему?

— Нужно, чтоб на случай тревоги лагерь был слышен...

Солнечные отблески прыгали в искристо-карих глазах Богдана. Они, эти родные, горячие глаза, улыбались Тане, излучая какую-то силу, которая пьянила девушку, заставляла ее забывать обо всем на свете. Она прильнула к нему, припала головой к груди.

— Вот мы и с тобой.. Сколько вы еще тут пробудете?

— По тому, как нас гоняют, видно, что торопятся с нами. Да хлопцы и сами рвутся.

— Как я рада, что мы вас застали... Мы и в следующее воскресенье придем.

— Конечно. Может, еще застанете.

— Давай сядем.

Сели, она прилегла к нему на колени, ловила каждый лучик в его глазах, каждую черточку на его лице хотела запомнить. Она в самом деле ослеплена им и счастлива этой ослепленностью, этой безграничной преданностью ему. Пусть скажет — кинься вот здесь с обрыва —

разве не кинется? Руки его, сильные, загорелые, эти солдатские руки, как крепко, как жарко обнимали они ее! Иногда ей казалось странным и непонятным, отчего это Богдан полюбил именно ее, Таню, а не такую красавицу, как, скажем, Марьяна, или Мая Савенко с геофака, или... Да ему первая красавица была бы под стать. Одна из пединститута просто глаз не сводила с него в библиотеке, всегда норвила сесть напротив, хотя — что она знала о нем? Только Таня знает, сколько за этой внешней сдержанностью, даже суровостью таится любви, сколько горячей страсти в мужественной этой груди, сколько пытливого ума кроется за выпуклым юношеским лбом! И все это она может потерять?

Он словно бы отгадал ее мысли.

— Вот такое наше лето. Вот такая наша Ольвия, Таня.

— Липа как здесь пахнет... Трава, зелень, деревья... Просто не хочется думать, что где-то идет война. Милый, не будем думать о ней.

— А она идет.

— Идет, это правда. Как буря, как ураган идет. Именно такой она мне почему-то представляется — ураганом черным, бушующим, смертоносным... Где-то я читала о летчике, который не мог сесть на землю, охваченную ураганом. Летчику ничего не оставалось, как поднимать свой самолет все выше и выше в небо, куда не мог достичь ураган, и попытаться пройти над ним...

— То летчики, — сказал Богдан, и Таня перехватила на себе горькую его улыбку, — а нам, пехоте, ничего не остается, как только пробиться *сквозь* все это, — он вдруг потемнел и повторил глухо: — *сквозь* все это пройти.

— Скоро? — спросила Таня чуть слышно.

— Скорее бы. С фронта худые вести.

— Не думай об этом.

— Как же не думать? Такое полыхает... — Богдан вдруг насторожился. — Слышишь? Трубят!

Он вскочил на ноги. Таня за ним, растерянная, побледневшая.

— Богданчик...

Он прижал ее к груди, поцеловал жадно, торопливо.

— Надо бежать!

Схватив Таню за руку, Богдан побежал. Она, спотыкаясь, еле поспевала за ним.

В одном месте, вспугнутые тревогой, из кустарника выскочили Марьяна и Лагутин. Марьяна жарко покраснелась, глаза ее светились необычно, и Таня впервые позавидовала подруге.

Горн грозно трубил, звал, отовсюду бежали к лагерю, и вот уже Таня с Богданом возле арки, куда вход девушке воспрещен.

— Ну... — Богдан крепко пожал ей руку.

Отбежав несколько шагов, он вдруг вернулся, протягивая ей свою студенческую зачетную книжку:

— Возьми, сохрани...

На этот раз в его голосе и в каком-то немного растерянном виде было что-то необычное. Сердце у нее сжалось: «В последний раз!»

Взяв зачетку, глядела на Богдана большими, до краев наполненными слезою глазами и все не отпускала его руку.

— Богданчик, милый, если не увидимся, ты хоть пиши! Слышишь, любимый мой! Хоть в мыслях пиши, если не будет возможности... Знай, я мысли твои услышу! За тысячу верст!

А горн трубит над лагерем все настойчивее, все требовательнее. Подстегиваемые призывным его кличем, студбатовцы быстро побежали к лагерю, исчезли за аркой, среди палаток, и перед стайкой вдруг осиротевших девчат снова стоит лишь лагерный часовой с винтовкой у ноги — молчаливый, строгий, недоступный.

Собирали, оказывается, для того, чтобы выдать оружие. Вместо старых, с трехгранными штыками винтовок, которыми курсанты были до сих пор вооружены, привезли новейшего образца десятизарядные полуавтоматы с плоскими штыками-ножами. Потом, на фронте, курсанты хлебнут горя с этими красавцами, которые будут отказывать, едва столкнувшись с песком и болотом, и придется в ярости выбрасывать их, подбирая на поле боя старые, отцами испытанные трехлинейки. Пока что эти полуавтоматы вызвали у добровольцев всеобщее оживление.

Винтовки лежали в новеньких заводских ящиках. Уложены они были так ладно, что жаль было к ним притрагиваться, возникало желание тут же, не прикасаясь, опять закрыть их в ящике и отправить на вечное хранение.

Но старшины и помкомвзводы привычно, ловко извлекали винтовки, раздавали по списку, проставляли напротив фамилий номера, требуя, чтобы тот, кто получает, тотчас же запоминал свой номер навсегда.

— Потому как с этим номером, может, и помереть придется,— солидно пояснил Гладун, вручая винтовку Духновичу.

— Я бессмертный,— отвечал на это Духнович.

До самого вечера получал батальон новое оружие. Кроме винтовок, им выдали еще каски: тоже новые, зеленые, тяжелые.

— Чугунные теперь кумпола у нас,— крутил Дробаха мощной своей головой; в каске она будто осела на плечах.

А вечером, еще и солнце не зашло, батальон, быстро поужинав, снова строился: предстоял марш на всю ночь и боевые учения. Каждый из курсантов был навьючен полной выкладкой, с флягой, противоголомом, с положенным боекомплектom и суточной нормой НЗ в солдатском ранце.

Перед выходом из лагеря сверхсрочники, разувшись, показывали студбатовцам, как нужно наматывать портянку, чтобы не натереть ногу в пути.

Гладун сидел на стуле и горделиво, уверенными, четкими движениями обматывал белой байкой свою лапищу.

— Видите? — вертел он туда-сюда ногой. — Как куколка!

А потом, стоя возле цинкового бака с водой, он подзывал к себе каждого из своих бойцов, брал ломтик черного хлеба и, словно бы священнодействуя, насыпал сверху горсть соли, и всю эту крупную, как стекляшки, соль, которая едва держалась горкой на хлебе, подавал курсанту:

— Ешь!

Тот недоумевающе отступал: соль? Да еще после ужина? Да еще в такую жару, когда и без того пьешь воду без конца?

— Бери, ешь, говорю!

Приказ есть приказ. Хрустит на зубах натрий-хлор. А когда соль съедена, Гладун указывает на воду:

— Пей!

Черпаешь кружкой, которая вместительностью не уступила бы, пожалуй, ковшу запорожскому, и пьешь, аж стонешь, а помкомвзвода подбадривает:

— Пей, пей, напивайся вволю, чтоб брюхо было как барабан! На марше не дам ни капли.

В стороне, с улыбкой наблюдая за этой сценой, стоят группой старшие командиры, среди них и тот со шпалами в петлицах, с седи-

ной на висках, который был в райкоме партии, когда студенты проходили комиссию. Они уже знали его: батальонный комиссар Лещенко. Старый политработник, долгое время служил в авиации, но по состоянию здоровья вынужден был перейти в пехоту. В лагерь он прибыл только вчера, будет комиссаром студбата.

Колосовского он узнал. Как раз в тот горький миг, когда Богдан прожевывал порцию гладуновского «бутерброда», комиссар с приветливым видом подошел к нему:

— Ну как, товарищ Колосовский? Солона курсантская жизнь?

Богдан, у которого аж скулы сводило от соли, боднул головой.

Комиссар смотрел на него, слегка улыбаясь — или то, быть может, глубоко залегшие на сухом, вытянутом лице складки придавали ему приветливое, улыбочивое выражение. Богдану радостно было встретить тут этого человека. Сердцем чуял Колосовский, что ему желают добра эти терново-черные пронизательные глаза, чем-то близким, почти отцовским повеяло на Богдана от них, от согретоного улыбкой мужественного лица. Сколько ему лет? Судя по медали «XX лет РККА», он давно уже в армии, наверно, и воевать приходилось... Виски серебристые, а сам еще стройный, свежий, смугловатый, и оттого седина выделяется еще заметнее. Похоже, большую прожил он жизнь, если с первого же взгляда сумел тогда понять Богдана, если лучше других разгадал, с чем пришел тот на комиссию, что принес в своем сердце в райком. Такой и должна быть душа у коммуниста!

— А со сверхсрочниками как вы тут? Нашли общий язык? Дружно живете? — спросил комиссар, переводя взгляд на Духновича, которому Гладун как раз насыпал на корку от всех своих щедрот преогромную щепоть соли. Духнович стоял перед ним сгорбленный, будто навьюченный больше всех — в хомуте скатки, в каске, которая словно придавила его, — стоял и ждал Гладуновой «препорции» с каким-то мученическим, фатальным выражением на лице.

— Беда с ними, товарищ батальонный комиссар, — поспешил доложить помкомвзвода, услышав, чем интересуется комиссар. — Разболтанности еще у некоторых много. Забывают, что тут им не университет!

— А вы свое требуйте, товарищ старший сержант, со всей суровостью требуйте, — сказал комиссар, весело блестя терново-черными глазами. — Однако, требуя, не забывайте, что перед вами все же вечерашние студенты, да все комсомольцы, да все добровольцы, то есть ребята, сознательно отказавшиеся от льгот и пошедшие защищать Отчизну. Как по-вашему, такие люди вправе рассчитывать на внимательное к ним отношение?

— Так точно, товарищ батальонный комиссар!

— А потом это же такой народ, — веселым тоном продолжал комиссар, — сегодня он курсант, а завтра, глядишь, ему кубики нацепили и он уже командир. И дело может обернуться так, что и вам, товарищ старший сержант, у кого-то из них придется быть подчиненным. Как тогда, а? Ведь спросит за все?

— Да уж я бы с него спросил! — под дружный хохот товарищей пообещал Духнович, дожевав свою соль и возвращаясь снова в строй.

— А вам, товарищи курсанты, я тоже должен заметить, — комиссар уже не улыбался, — поменьше иронии, когда речь идет о солдатской науке. Больше пота в учебе — меньше крови в бою, — это не фраза, скоро вы в этом сами убедитесь.

Он помолчал, осматривая курсантов, будто проверяя, контролируя каждого.

— А теперь дайте и мне соли, — сказал комиссар Лещенко, обращаясь к Гладуну. — Испытанный способ, — добавил он, съев соль и со

смаком запив ее кружкой воды.— Напейся тут раз и навсегда, а на марше об этом и думать позабудь.

С первыми сумерками закружилась в сторону от лагеря пыль — студенческий батальон вместе со всем училищем пошел в поход.

Душная, словно в тропиках, была ночь, пахла потом людским и пылью. Растянувшись в темноте, шли форсированным маршем незнакомыми местами, через балки, буераки, уснувшие села, взбив сотнями ног дорожную пыль и глотая ее всю ночь. Несли на себе кроме винтовок еще и пулеметы, цинковые ящики с патронами, которых было взято больше, чем когда-либо. Батальон взмок. Хомуты скаток, набитые патронами подсумки, вещевые мешки, каски на головах — все давило, становилось тяжелее с каждым километром.

Не раз в эту ночь помянул Колосовский добрым словом помкомвзвода Гладуна. Вероятно, многие не выдержали бы такой напряженности похода, если б не было на них все так хорошо подогнано, прилажено и если бы ноги перед походом не были обмотаны у каждого, «как куколка». Даже Духнович, и тот держался — похоже, впрок пошли ему Гладуновы соль да наука. Как и у других, на боку у него была стеклянная, в матерчатом чехле фляга с водой, но выпить и глотка себе не разрешал — не потому, что боялся нарушить приказ помкомвзвода, а просто совестно было: ведь другие тоже терпели, зная: начнешь пить на привалах, разморит тебя, раскиснешь, и уже не пехотинец ты — китель. А пить хотелось, ой как хотелось! Особенно когда откуда-то из темноты, из-за белой хаты возникал силуэт колодца с журавлем, с огромной бадьей деревянной...

Привалы были коротки, после них еще тяжелее вставать, все кости разламывает, сон смыкает глаза. Двигаясь дальше, спали на ходу, клевали носами в спины передним.

Солнце застало их в каких-то болотах. Наступали, отступали, форсировали водные преграды.

— Эгей,— слышен был и тут голос Дробахи,— где ты живешь, кулик? — И сам себе отвечал: — «На болоте!» — «В нем же погано!» — «А я привык».

— Из этих болот,— мрачно оглядывался вокруг Духнович,— может быть, еще доисторические люди воду пили, динозавры и мамонты тут водились, а теперь мы вот пришли им на смену...

Одна вода кончалась, начиналась другая.

— Снимай сапоги!

Стащив сапоги, подняв оружие над головой, брели неведомо куда за своими командирами среди зарослей камыша, осоки, вспугивали водоплавающих птиц.

В лагерь вернулись к обеду. Утомились так, что и есть не хотелось, хотелось спать, спать. Кое-как перекусив, покачиваясь от усталости, добрались до палаток, попадали на матрацы и — как убитые. Через несколько минут весь лагерь уже спал мертвым сном, кроме часовых под грибками.

А через каких-нибудь полчаса студбатовцев снова будил лагерный горн. Аж не верилось, что это не снится, что это вправду, — так это было жестоко после бессонной, до крайности напряженной ночи. Но звук горна будил, звал, предвещал какое-то новое испытание. Вскрикивали, на ходу застегивали пояса, сонные, полуслепые бежали к пирамидам, расхватывали оружие.

Приказ на этот раз странный: брать с собой все; матрацы и подушки вытряхнуть, сдать на склад...

До сих пор такого не было.

И в лицах командиров улавливалось что-то новое, такое, что говорило о необычности этих минут, и горнист играл тревогу как-то осо-

бенно, словно с трепетом сердечным горнил ее. Может, не учебная уже? Может, настоящая?

Даже тех, кто был в наряде, стоял на посту, сейчас вернули в батальон, и они заняли свое место в строю.

Рота за ротой выходят из лагеря. Без разговоров. Без расспросов. Винтовки, ручные и станковые пулеметы, все записанное за батальоном оружие — на плечах, и вместе с оружием выносят они из лагеря и какую-то тяжесть на душе, новую, неизведанную тревожность.

— Вот когда б я хотел, чтобы девчата были тут, — негромко сказал на ходу Лагутин Богдану.

Но девчат сегодня не было. Были зеленые деревья, под которыми они вчера стояли, была запыленная дорога, по которой они вчера ушли...

Уже далеко отойдя от лагеря, ребята заметили: Духнович чего-то прихрамывает.

— Натер? — спросил Гуцин, его сосед слева.

— Да нет. Утром на болоте ногу камышиной проколол.

— Там мог и на ржавый гвоздь напороться, — заметил Мороз. — Прямо возле меня Иванов доску с гвоздями из воды вытащил.

— Нет, я не гвоздем, я камышиной, — словно бы оправдывался Духнович. — Под водой незаметно...

Гуцин и Мороз предложили взять часть его снаряжения, но он отказался:

— Пустяки. Сам донесу.

Впереди, посредине открытого, разомлевшего от зноя поля уже виден был оазис железнодорожной станции, виднелся длиннющий эшелон красных товарных вагонов, загнанных на запасный путь, почти в степь. Сомнения быть не могло: для них. Вагоны поданы им. Правда, эшелон был еще без паровоза, стоял на запасном, но уже стоял. Приказано было расположиться вдоль эшелона и ждать распоряжения. Видно, пока подадут паровоз.

Куда же повезут? На какой участок фронта? Это теперь интересовало больше всего. В лагере только и мечтали, чтоб скорее на фронт, а вот теперь, когда отправки дождались, стало даже чуточку жаль расставаться с лагерем, на смену которому придет другая жизнь, неизвестная, полная опасностей.

Расположившись повзводно, вдоль всего эшелона, сидят против своих вагонов.

Возле Духновича, которому Степура перевязывал ногу, собралась целая толпа историков. Ступня покраснела, заметно припухла. Духнович считал это пустяком, бодрился, ему даже неудобно перед товарищами за свою столь неуместную сейчас болячку.

— Простите, что немного нарушу стройность ваших рядов, — острит он и, морщась от боли, берется натягивать сапог. — Постараюсь не хромать.

— Ничего, Байрон тоже хромал, — заметил Дробаха, развалившись на траве. — Правда, над ним помкомвзвода не было.

— С этим нечего шутить, — хмуро бросил Колосовский, глядя, как Духнович, сжав зубы, медленно втискивает ногу в сапог. — Может, фельдшера позвать?

— До фронта заживет, — обувшись наконец, махнул рукой Духнович. Лицо его покрылось крупными каплями пота. Утершись рукавом, он посмотрел в сторону поля: — Что это там белеет?

— О, только сейчас заметил? — невесело улыбнулся Степура. — Это же гречиха цветет. И будет цвести все лето...

Небо над гречихой синее, высокое — ни облачка. В прозрачной дали, на горе над Донцом, поблескивает Чугуев. Деревья лагеря чуть

виднеются на горизонте темно-синей полоской. И те деревья, и белый разлив гречихи, и спорыш, на котором лежат хлопцы, такой мягкий, теплый, ласковый,— все теперь вдруг стало бесконечно родным.

Как бы подобрели все. От этой ли гречихи подобрели, от полей да от неба или от того, что ждало их впереди, где они будут вместе.

Даже Гладун, который любого мог согнуть железом уставов в бараний рог и не терпел никакого панибратства, сейчас подошел к ребятам какой-то притихший, смятенный и, как бы ища возле них поддержки, присел, заговорил грустно:

— Так что же — прощай лагерь?

— Прощай...

Колосовский, упершись локтями в землю, смотрел на безлюдную дорогу, уходившую в поля, и казалось, будто ждал он, что вот-вот отсюда, из-за текучего марева, из-за белой разлившейся к самому небу гречихи вдруг появится та, единственная, которую он сейчас больше, чем когда-либо, хотел увидеть. Но дорога оставалась пустынной, лишь пыль временами неожиданно взвихривалась и маленькие смерчи уходили по гречихе к горизонту, то разрастаясь, то пропадая...

14

Цокают колесами вагоны.

То, что было мирной жизнью, остается позади. Впереди — неведомые испытания судьбы. Но это потом, потом. Сейчас в их сердцах одна лишь готовность — пройти дантов ад войны, удержать рубеж, который им доверят, любой ценой преградить путь новым ордам чингисхановым, что не с луками, не со стрелами — с гремящей сталью надвигаются по земле и по небу на родимый край.

Куда везут? Этого им не говорят. Где встретятся с врагом? Об этом могут высказывать лишь догадки.

Паровоз неудержимо мчит вперед.

Вороной их конь на красных колесах...

Когда эшелон тронулся, ребят стали оформлять по-фронтовому. Выдавали наспех заготовленные справки о том, что отправляются на фронт курсантами-политбойцами, а вместе с такой справкой каждому курсанту вручали еще одну штуку: круглый, как желудь, черный пластмассовый пенальчик — медальон, который позднее будет назван «медальоном смерти». Каждому надлежало вложить в этот медальон маленькую бумажку — собственноручно заполненную самую краткую в жизни анкету: кто ты и кого оповестить, когда тебя найдут.

Написав что нужно, плотно завинтив медальоны, молча прятали их в маленькие карманчики возле пояса.

Когда студбатовцам раздавали справки и медальоны, вдруг выяснилось, что у многих из них до сих пор при себе студенческие билеты, зачетные книжки и даже паспорта.

— Богатые же вы,— сказал комиссар Лещенко, приказав немедленно собрать по эшелону все гражданские документы и принести в теплушку, где он ехал вместе с курсантами. Вскоре перед комиссаром, прямо на полу, на листе жести, лежал ворох документов...

Студбатовцы первой роты, с которой ехал комиссар, обступив его, недоуменно ждали.

— Все сдали?

— Все.

Комиссар некоторое время сидел молча, склонясь над этим ворохом. Затем наугад взял сверху чей-то паспорт, развернул, прочитал: год рождения — 1917. Взял другой: 1918. Стал дальше просматривать: 1918, 1919, 1920...

— В те годы, когда вы только появлялись на свет,— начал он задумчиво,— мы как раз брались за оружие, шли в красногвардейские отряды... Тогда мы были такими же юными... А иные и моложе. Мы и не думали, что матери рожают вас для таких испытаний.

Вечерело. В вагоне, по углам, уже стояла плотная темнота.

Комиссар зажег спичку, подержал перед собой, пока она разгорится, потом медленно поднес ее к уголку чьего-то новенького паспорта.

Студенты затаили дыхание: что он делает? В голове не укладывалось, что паспорта их можно сжечь.

Вспыхнувший паспорт комиссар положил под другие, разворошил над ним остальные документы кострищем, будто в поле.

— Товарищ комиссар! — не выдержал кто-то из ребят. — Зачем вы? Зачем все это жечь?..

— Пускай горят,— спокойно возразил комиссар. — Фронт — это фронт, и мы не можем допустить, чтобы враг, в случае чего, воспользовался честными вашими именами... А после войны все вам вернут, все выпишут послевоенные писаря...

Теперь уже весь ворох был охвачен огнем, пламя осветило вагон. Комиссар Лещенко, отодвинувшись от костра, сидел на ящике, студбатовцы тесным кругом стояли возле него и в оцепенении смотрели на яркое полыхание огня, быстро пожирающего их паспорта, зачетки. Вон корчатся в языках пламени чьи-то имена, годы, национальности, маленькие фотографии, круглые печати... Сворачивается, исчезает в огне студенческая невозвратимая молодость. Что же — вся она пеплом развевается, отполыхает, как этот яркий недолгий огонь?..

Эшелон грохочет, тяжелые двери вагонов раздвинуты настежь, и за ними до самого горизонта — таинственная, мягкая, неведомая тьма. Манит к себе далекий вон тот огонек, что блеснул в степной балке... Теплая июльская ночь пролетает мимо садами, посадками, скирдами в полях. В тех скирдах, быть может, будете вы искать укрытия, в тех посадках придется, может, занимать боевые рубежи...

Поздней ночью, когда студбатовцы крепко спали, их внезапно разбудил клекот зениток. Очумевшие спросонья, выскакивали из вагонов. Тьма и огонь! Весь мир — только эта первозданная тьма и тревожный, неправдоподобный, невиданных размеров огонь. Земля в сполохах, в заревах, все небо в мечущихся прожекторах, во взрывах снарядов, в угрожающем гудении невидимых самолетов. Вот еще злее заливаются зенитки. На землю обрушился гром. Где-то за вагонами, как из кратера вулкана, взметнулся огонь. Еще удар. Еще огонь.

Курсантов бегом отводят от эшелона в сторону. Оглядываясь на ходу, они видят за собой Помпею, новую, клокочущую огнем Помпею, возникшую перед ними в образе только что разбомбленной станции, видят множество освещенных пожаром железнодорожных путей, пылающие вагоны, цистерны, склады... Вся ночь бушует пожарами, всюду взрывы, треск, вот уже совсем где-то близко взметнулось пламя над вагонами, может быть, даже над теми, в которых они только что ехали сюда.

А небо гудит.

Их отводят в сады, огороды, где они ждут конца налета. Лишь здесь, немного опомнившись, пытаются разобраться в этом ревущем космическом хаосе, который окружает их.

Снова бьют, стучат в небо зенитки. Прожектора шарят по небу, по облакам — редким, высоким. Как руки войны, взметнутся вверх, сграбастают все небо, скрестятся, потом один остановится на мгновение в туче светлым огненным кулаком и вдруг, укоротившись, вмиг исчезнет, сея тревогу. И уже в другом месте снова появится меч прожек-

тора, потрогает небо, пошарит по нему, то заторопится, то медленно охватит тучу, будто прощупывает — нет ли там чего-нибудь? А еще через миг в небе вырастает целый лес прожекторов. И вот на самом острие одного из них вдруг сверкнуло что-то белое, ослепительное. И уже исчезает, теряет значение все остальное, и над бесконечным хаосом тьмы блестит на острие прожектора только одна она, эта точечка — человек в гудящей ночной вышине. Человек, дюралюминий и бомбы.

15

Еще раз придут в лагерь девчата, и мать Духновича придет.

Будет это на следующий день после отправки батальона на фронт. Между деревьями, у знакомой лагерной арки, станут ждать, разглядывая толпу других женщин, измученных, заплаканных, с детьми, с охапками только что переданной им из лагеря мужской одежды.

— Мама, мама! Тато мне свою расческу оставил! И ремешок...

Мимо Тани прошмыгнул мальчонка, отцовская кепка съехала на глаза, маленький, курносый; в одной руке зажата расческа, в другой — брючный ремешок.

Людей в лагере еще больше, чем в прошлый раз. Полон лагерь мужчин! Их стригут, переодевают, выдают им котелки, каски, новые серые шинели. Но где же студбатовцы? Затерялись в этом столпотворении людском или... Попросили через часового узнать о студентах.

Ждали.

Дождались:

— Нет таких!

...Студбат в это время был далеко за Днепром.

С железной дорогой расстались на той разбомбленной станции, где их застиг налет, дальше к фронту добирались пешком. Шли остаток ночи, не приседая, не зная, где идут, куда. Только по тому, как тревожно полыхает горизонт впереди, и по скопищам войск на дорогах чувствовалось, что война где-то близко.

Когда рассвело, один из студентов узнал окрестность; оказалось, идут по шевченковским местам или где-то неподалеку от них. И вербы, которые так низко склоняются над прудами, — быть может, те самые, что описал когда-то Нечуй-Левицкий. Утро родилось в росах, в зеленой кипени левад. Весь край засветился подсолнухами; они уже могуче разворачивали для цветения свои тугие короны. Картофельная ботва по пояс. Конопля в лощинах — густая, непролазная. Все буйно росло, все наливалось жизненной силой в эту благодатную пору раннего лета. Казалось, земля спешит порадовать людей своей щедростью, одарить их всем самым лучшим, чем только может. Цветет картофель, и здесь же мак цветет. Подсолнух выгнало до самой крыши, и граммофончики по нему вьются. Левады манят к себе зеленой прохладой, поблескивают водой прудов, шелестят по-над берегом вершинами верб, яворов, кустами калины.

В садах белеют хаты удивительной красоты. Что ни хата — произведение искусства, сколько хат — столько художников народных! Одна подведена красным, другая — синим, та покрыта соломой, соседняя — камышом с аккуратной бахромой по углам и тугим гребнем сверху; у одной наличники на окнах голубые, а у другой еще и с красненьким узором. Будто соревновались в красоте. И все — белые-белые, еще не тронутые непогодой, не иссеченные дождями, чистые, праздничные. Не для войны — для счастливого лета, видно, белили их женские умелые руки.

Когда солнце поднялось высоко, встали, наконец, на привал. Хлопцы сидели у дороги, любуясь селом, белевшим внизу в долине.

— Гениальной была та украинская женщина, которая первая так вот побелила хату,— рассуждал Степура.— Гляньте, какая хатка выглядывает вои из-за той вербы... Была бы она рыжей мазанкой какой-нибудь — смотреть бы не захотелось, а так — глаз не оторвешь... И как гармонирует белый цвет с зеленью верб и мальвами красными, с небом! А какой дивной становится такая белая хата ночью, при луне, когда тени от веток разузорят ее... Что за душу нужно было иметь, чтобы догадаться и таким белым сделать свое жилье, какой нужно было иметь от природы высокий вкус эстетический...

Даже Дробаха, вовсе не склонный к поэтической растроганности, и тот на этот раз поддержал Степуру:

— А и верно... Что ни хата, то индивидуальность,— сказал он, уплетая пирог, которым успел запастись где-то в селе.— И что не по струнке стоят, тоже хорошо. То тут, то там, словно слиты с природой. Моя бы воля — выбрал бы вон ту, на краю села, у нее жито под самыми окнами голубеет. Кто-то в ней живет? Славная, видно, какая-нибудь молодайка, так разукрасила дом... К белому, видишь, еще и синего, небесного добавила!

Привалу вскоре наступил конец. Вставай, надевай каску, шагай дальше пудовыми от усталости ногами.

Да, это Киевщина... Еще не достают сюда снаряды, еще не опустели колхозные дворы, не охвачены пожарами гребни белых хат с аистовыми гнездами, но и над этим чудным краем, по которому проходит сейчас в тяжелых своих касках студбат, война словно бы уж занесла свое невидимое крыло. Воронки по обочинам. Свежий холмик земли — кого-то похоронили там. А вот целое колхозное стадо лежит у водопоя, расстрелянное, видать, с самолета: туши разбухли на солнце, смрадом несет от них.

От линии фронта колхозники, одетые по-зимнему, гонят скот в глубокий тыл, и коровы тоскливо ревут навстречу студбатовцам, спотыкаются, натирая ногами давно недоенное, набрякшее вымя, роняя теплое молоко на камни шоссе.

В одном месте дороги лежит неразорвавшаяся бомба — застряла, торчит из земли черным оперением. Студенты заспорили. Двухсоткилограммовая? Полутонка? И не взорвется ли, когда начнут ее вытаскивать?

— Удивительно, как много у дикости общего,— сказал Колосовский шагавшему рядом Лагутину.— Помнишь, стрелы из скифских могил? Стрелы Батыевых орд? Они тоже с таким оперением. Грустно становится от подобных ассоциаций.

Все более явственным и мощным гулом дает знать о себе фронт. То и дело налетают вражеские самолеты, разгоняют студбатовцев по хлебам, по канавам. Носом в землю, и слушай, как выворачивая душу, воет над тобой металлический хищник, как прямо на тебя падает он с пронзительным визгом.

Бредут из хлебов, и неловко, стыдно смотреть друг другу в глаза — от унижения, которое только что пережили, от того, что вынуждены прятаться, ползать по родной земле.

— Позор... Просто затравленным зайцем себя чувствуешь,— отряхиваясь, признается Мороз.— Землю носом роешь, ползаешь на четвереньках,— ты человек двадцатого века!

Филолог Чемерис смеется нервно:

— Мы вот с Калюжным как раз спорили, кто выше: Стендаль или Флобер? Я говорю — Стендаль, он — Флобер... Я свое, он свое...

А когда налетели да трахнули, так он шлепнулся и руками замахал: Стендаль, мол, Стендаль, черт с тобой!

Смешно, кажется, но ребята не смеются.

Меж хлебов высоких идет студбат, сухим металлическим звоном позванивают тугие колосья; седыми волнами колосьев переливается рожь; густо зарумянилась перепутанная, закрученная ветрами пшевица.

Во всем — нарастающее беспокойство, усиливающаяся тревога. Везут раненых, бредут беженцы, грохочут грузовики с боеприпасами. Тысячи человеческих лиц мелькают перед тобой, и среди них ни одного веселого. Нет в этом краю веселых лиц!

Во время одного из привалов возле Духновича собрались товарищи. Просто непонятно было, как он до сих пор шел. Нога нарывала, и сейчас ее разнесло так, что насили стащили сапог. Распухла, как бревно, посинела, блестит нездоровым блеском.

— Почему же ты молчал?

Но Духнович и сейчас не жаловался, только по его веснушчатому, вдруг покрывшемуся капельками пота лицу можно было догадаться, как ему плохо.

Еще ночью, в вагоне, когда все спали, он мучился. Никогда не думал, что такую боль может причинять нарыв. Кажется, если бы ногу отрубили, было бы легче. Никому не жаловался, не хотел. Мог ли он признаться, что уже на полдороге к фронту оказался не годен? Ничего себе доброволец!..

Беспомощный, лежит у дороги со своей обнаженной, отвратительно разбухшей ногой и уже не верит сочувствию товарищей, кажется, что сейчас они могут испытывать к нему лишь одно — презрение. Как он пойдет дальше? Ведь нога, наверно, и в сапог не влезет!

— Добрую вавку приобрел,— подойдя к ним, заговорил Гладун и, наклонившись, пощупал распухшую ногу почти с завистью, будто сожалея, что такой дар судьба посылает не ему, а этому недотепе Духновичу, который не сумеет даже как следует и воспользоваться им.— Вавка хоть куда... Имеем первое ЧП.

Подшли комиссар Лещенко, командир роты — молодой лейтенант из училища. Стали советоваться. Ясно, Духнович дальше идти не сможет. Куда же его сдать? Кому поручить?

Духновича испугал этот разговор.

— Я пойду. Я могу идти,— ухватился он за сапог.— Прошу вас, никуда меня не сдавайте. Это скоро пройдет. Богдан, дай руку!

С помощью Колосовского и Степуры он поднялся и так, опираясь на них, двинулся в одном сапоге дальше.

Винтовку и скатку его теперь несли другие, а он, повиснув на плечах товарищей, двигался позади колонны, как живое распятие, в тяжелой своей каске, клонившей голову набок. Каждый шаг отдавался нестерпимой болью. Духнович прыгал по шоссе, как по огню: что бы ни случилось, он должен идти по этим разбитым камням вперед, идти, хотя бы и безоружным, навстречу войне, навстречу тому, что гремело и стонало по всему горизонту. Ничего не было для него более страшного, чем оказаться покинутым, остаться одному, без товарищей, самому признать свою немощь и не быть с товарищами в деле, к которому внутренне готовился все это время после райкома.

В ногу стреляло и стреляло огненной болью, мир заплывал желтизной, порой Духнович чувствовал, будто падает куда-то, и горячие плечи товарищей были ему единственной опорой.

Комиссар остановил первую же машину, что порожняком мчалась навстречу. Перемолвившись с запыленным лейтенантом, который

сидел рядом с водителем в кабине, он подождал, пока ребята подвели Духновича к грузовику.

Слезы бессилия брызнули из глаз Духновича. Умоляющим голосом он снова стал просить не сдавать его, не бросать.

— Товарищ комиссар, я пойду, я прошу...

Но его все-таки посадили через борт в кузов, устроили между брезентами, между пустыми ящиками из-под снарядов, туда же бросили сапог, винтовку, скатку и вещевой мешок с привязанным к нему теплым от солнца котелком.

— Счастливо, друг...

У него был вид человека, смертельно обиженного, уничтоженного, отброшенного прочь.

Когда машина промчалась, Гладун, оглянувшись, промолвил ей вслед:

— Считайте, один отвоевался...

16

Чадно грохают мины в хлебах. Зной, грохот и дым. Весь мир уже словно бы пропитался этим горячим тошнотворным чадом рвущихся мин, свежие воронки еще дымятся, и опаленная, взрытая земля пахнет смертью, а воздух снова пружинит, и снова то тут, то там среди хлебов — грах! грах!

Прямо с марша студбат угодил под шквал огня. Когда приближались сюда, впереди, в разливе хлебов видели на пригорке хуторок какой-то — хата, поветь, садик. Там командный пункт дивизии, именно туда их ведут. Хлеба стояли могучие, почти в рост человека. Тихо было, и курсанты даже слышали крик перепелов во ржи и видели аиста над хатой, а возле хаты — просвеченные солнцем высокие мальвы цветут, прекрасные, как девчата! И вдруг — черные гейзеры взрывов, все ближе удары мин в хлебах, бегут оттуда бойцы, окровавленные, в копоти, кричат что-то... Минометный налет, а они выстроены на краю садика, где им приказано ожидать осмотра, и стоят, пока из-под деревьев не налетел на них грузный мужчина — генеральские звезды в петлицах.

— Студбат! Чего застряли? — чуть ли не с кулаками набросился он на командиров. — В оборону! Вот здесь занимайте оборону!

Вмиг рассыпавшись по-над садом, к которому прилегли хлеба, курсанты лежат теперь уже рядом с автоматчиками комендантской роты, никого и ничего не видят, кроме пшеницы, ржи и комьев земли, фонтаном взлетающих до самого солнца. А мины снова сверлят воздух, бьют сухими ударами, и студбатовцы прижимаются к земле в своих борозденках, шарахаются от каждого взрыва.

«Так вот она, война!» — с горечью думал Колосовский, глубже втискиваясь в борозду.

Неподалеку от Колосовского в той же борозде еще кто-то жметя — каска у самой земли. Степурины плечи.

— Ты живой?

— Живой.

А мины бьют, и неизвестно, кого из них накроет вот эта, что визжит и с сухим треском грохает где-то неподалеку. Шелестят, трещат колосья, кто-то подбегает, с разгону падает возле них — кто это? Залит кровью — кровь на лице, на гимнастерке. Колосовский с трудом узнает — Ярошенко с геофака.

— Мина! — хрипит он. — Упала вот так от меня, рукой мог бы достать. В плечо вот и в лицо... Глаза не выжгло? Я вижу? Я не слепой?

Колосовский, разорвав индивидуальный пакет, кое-как перевязал ему искромсанную скулу и направил к санитарам:

— Они там, в садике! Беги!

И Ярошенко побежал, оставив после себя брызги крови на сухих комьях земли, на белой, вьющейся по стеблям повилке.

Обстрел усиливается. Вибрирует, пружинит от металлического свиста воздух. Это уже не мины — снаряды летят, проносятся, кажется, над самой головой, аж глхнешь от них, аж барабанные перепонки лопаются. Один из снарядов жажнул в хату, прямо в лицо ей, и с грохотом взрывается внутри, в самой сердцевине человеческого жилья. Еще один врзается под застреху, поднимает облако соломенной пыли, и вся крыша рушится, оседает, охваченная клубами дыма, пламенем, — уже нет ни подстриженной бахромы по углам, ни аистова гнезда с аистятами возле трубы, — одна только аистиха кружится в воздухе.

Нет штаба. Разнесло штаб. После этого огневой налет прекратился.

— Хуже всего, что можешь вот так, ни за что ни про что, пропасть, и никакой пользы от твоей смерти, — слышит Колосовский голос Степуры.

Присев, тот внимательно разглядывает зазубренный, еще не остывший осколок.

— Врага живого в глаза не видели, а уже попали в этакую кашу...

В самом деле, словно тот черный ураган, который с корнями выворачивает деревья, сметает человеческое жилье, разрушает все на своем пути, — так и тут пронеслось, искромсало землю, отравило степной воздух запахом гари, пороха и крови... Пронеслось, и снова зазвенела тишина.

Колосовский поднялся, огляделся. Дым стелется над хлебами, над садиком. Горящая хата пышет жаром, она горит себе и горит, никто и не пытается ее тушить. Не до того сейчас. Среди знойной, дымной тишины то здесь, то там стонут раненые. В одном месте, на меже, которая отделяет огромное поле ржи от пшеницы, собралась целая толпа студбатовцев; склонившись, что-то рассматривают. Колосовский и Степура, путаясь в густой ржи, заторопились к ним.

Невероятно было то, что они увидели.

Как от удара молнии, которая в летнюю грозу бьет среди поля, была разрыта земля в этом месте, а среди изорванных, измочаленных и смешанных с землею стеблей лежал неживой Дробаха. Ноги разбросаны, голова неловко вывернута, зубы оскалены, а лицо черное, сожженное... Правая рука лежит отдельно от тела, желтая, присыпанная землей. Страшно было поверить, что это — оторванная, обескровленная рука Дробахи, рука, которая могла одним ударом сшибить противника с ног, крепкая юношеская рука, которая в жизни знала и книгу, и отбойный молоток, и касалась твердой девичьей груди...

Нет Дробахи. Погиб со всеми своими подвигами, к которым был готов и которых так и не успел совершить.

Тут же у хлебов, возле садика, они принялись рыть для него первый и последний окоп — вечную, с темными стенами хату для Дробахи.

Маленькими саперными лопатами роют первую студенческую могилу, засыпают ее молча, и растет она высоко — на всю степь, и видна она далеко, как Саур-могила, и уже с ветрами говорит. Но это она только кажется им такой высокой, на самом же деле — маленькая, едва приметная среди густых колосистых хлебов.

Колосья стоят, как люди.

Тот высокий, вытянувшийся, словно на страже. Тот — пониже — поник, размышляет. Переплелись усами, неисчислимы, склонились один к другому в молчаливой задумчивости. А тот, глянь, с подломленным стеблем вовсе утонул в гуще и вроде бы все хочет подняться... Буря его сломала, дождь ли, осколок?

Тех, что стоят в задумчивости, больше всего: все поле думает думу. А пробежит ветерок — колосья слегка зазвенят шершавым жестяным звоном...

Дым разошелся, горький смрад развеялся, и опять поле дышит горячими запахами лета. Перепелиный, кузнечиковый мир окружает свежую студенческую могилу. Вьюнок полевой вьется по стеблям, склоняется белыми колокольчиками, степной горошек краснеет капельками крови...

А день угасает. Тревожное, марсово-красное солнце лежит над хлебами, а там, на пригорке, где стояла белая хата, выбеленная чьими-то заботливыми руками, дотлевают черная куча руин. И только мальвы высокие, девичьей стройности, по-прежнему красуются за углом дома в палисаднике, пронизанные солнцем, еще ярче полыхающие в этот предзакатный час.

Духновича до самого вечера возили на грузовике. Трясся в кузове среди ящиков со снарядами и чувствовал себя лишним, никому не нужным балластом, так некстати навязанным этим молчаливым, суровым людям. Все они на своем месте, все знают свое дело и целиком поглощены им. Заедут в лес, погрузят боеприпасы и без разговоров, без задержки по трясковой дороге — скорее к огневой, где в садах за селом ждет их, израсходовав все снаряды, батарея.

— Что вы ездите, как на волах! — сердились артиллеристы, и не успеешь оглянуться, они уже растащат из кузова все ящики, уже грузовик пуст.

Когда впервые заметили Духновича, поинтересовались:

— Что за пассажир?

А потом уже и внимания на него не обращали, только всякий раз, когда сгружали ящики, невольно давали ему почувствовать, как он им тут мешаает. Было нестерпимо ощущать себя обузой для людей, которые здесь, у своих орудий, не знают минуты отдыха и ведут себя так, будто они тут единственный заслон, будто только одни они и могут еще сдержать, не пропустить противника.

По дороге грузовик несколько раз попадал под обстрел вражеских самолетов. Духнович, оставаясь в кузове, видел косые струи огня, которые лились с самолетов на землю, — из огнеметов, что ли, они там били или из каких-то особенных скорострельных пушек. Впервые он видел вдоль дороги трупы людей.

Потом артиллеристы высадили его в лесу, возле склада снарядов, велели подождать.

— Вот еще одна ходка, и тогда уж завезем тебя в медсанбат.

Но делали одну ходку, и другую, и третью, а он все оставался возле этой горы снарядов и даже в душе не укорял ни одного из этих людей, — сам видел, не до него им сейчас.

Около снарядов стоит часовой, молодой красноармеец, он так настороженно держит свою винтовку, будто враг где-то здесь, за кустом.

С Духновичем часовой в разговор не вступает. «Посадили и сиди,— как бы говорит он,— а у меня свои заботы — я на посту».

Ночью пошел дождь. После дневного зноя сразу повеяло свежестью, зашумел лес, магниевой вспышкой сверкнуло небо, разламываясь в бомбовых ударах грома. Разгулялась настоящая грозовая ночь. Все небо, казалось, содрогается, озаряясь трепещущими сполохами света, голубого, нездешнего. Вспыхнет и выхватит из темноты контуры туч, тяжелых, набрякших влагою, разметанных по небу. Становится виден лес, гнущиеся под ветром деревья, и сквозь сверкающие листья макушек снова ослепительно блеснет в магниевых сполохах небо. Гром грохочет и грохочет в пучине туч на разные лады, ударами неземной силы сотрясает, раскалывает небо в разных его концах — то ближе, то дальше, то выше, то ниже. Еще тут не затихло, а уже взрывается там, сердито перекачивается, и вся земля, оцепенев, будто ждет чего-то страшного, неотвратимого.

Около часа, наверно, бесновалось небо, лютовала гроза, а когда, наконец, отгремело, отсверкало, осталась только крошечная темнота, и в темноте этой лил и лил дождь. Нет неба, нигде — ни звездочки, только тьма и хаос, и по всему лесу — хлюпанье воды. Будто и вправду разверзлись хляби небесные. Черный ночной дождь льет и льет, готовый залить все и вся, как при всемирном потопе.

Часовой, когда начался дождь, заботливо прикрыл снаряды брезентом, а для Духновича и такого укрытия не было. «Да разве неестественно это? — думал он. — Снаряд сейчас нужнее».

Дождь не унимался. Часовой предложил, наконец, Духновичу перебраться под брезент, но тот решил терпеть, мокнуть до конца. Съежился в одной гимнастерке и мок, мок.

При нем была шинель, скрученная в скатку, но Духнович не догадался развернуть ее. Как скатал еще в лагере, с помощью ребят и по указаниям Гладуна, так и держал все время на себе — это туго скрученное, суконное, набрякшее водой ярмо. Вода ручьями стекала с веток прямо за ворот, Мирон промок до нитки, но, не прячась, находя даже некую отраду в том, что природа глумится над ним, беспомощно и покорно горбился на том самом месте, где усадили его артиллеристы. Выставил под дождь ногу, налитую болью, и, поникнув над ней, все думал, думал.

И то сказать: что дождь, что тьма, если ему казалось сейчас, будто в темноту погрузилась вся планета. Фашистская ночь поглотила Европу, волны вандализма катятся все дальше и дальше, уже на дорогах Киевщины валяются трупы, самолеты огнем поливают с неба людей. «И это движение вперед? Это прогресс? — саркастически обращался Духнович к некоему воображаемому оппоненту. — Всего сто тысяч лет назад мрачные неандертальцы с низкими лбами выходили из своих пещер, вооруженные примитивным кремневым топором. Прошло, по сути, очень немного времени, и человек обрел крылья, поднялся в воздух, пересек океаны. Человек стал Гомером, Шекспиром, Дарвином, Циолковским... Богоравный! И вот теперь, на гребне двадцатого столетия — снова этот черный, смердящий взрыв дикарства, каннибализма... Высокоразвитая, культурная нация вдруг рождает армию убийц, разбойников. Планета во тьме. Один за другим гаснут города. Ну как тут быть оптимистом? Как верить в то, чему вы нас учили своими книгами в тиши библиотек, в светлых университетских аудиториях?..»

Первые воспоминания детства для Духновича — это отцовский кабинет, заставленный от пола до потолка книгами, позднее вторым домом для него стала городская Короленковская библиотека. Как иные вырастают среди степей и хлебов, так он вырос среди книг. Он верил им чистой верой сердца, и для него Толстой и Горький, Роллан и

Барбюс были не просто именами на корешках книг, — они были для него такими же живыми, реально существующими, как отец, известный в городе хирург, как Николай Ювенальевич, университетский профессор. Однако сейчас Духнович был в таком глубоком отчаянии, что даже с ними, с самыми дорогими своими учителями, не мог найти общего языка. Сейчас, когда он, оторванный от товарищей, остался почти калекой в лесу, среди апокалипсического грохота грозовой ночи с ее черным дождем, он уже не способен был ничем и никем восхищаться; в отчаянии он видит лишь, как все уничтожается вокруг и силы человеческие, разум человеческий поставлены на службу этому уничтожению, и в собственной душе его разрушается самое дорогое, рассыпается под ударами действительности все прекрасное, что вошло в его душу вместе с книгами отцовской и Короленковской библиотек. Вечное развитие, прогресс, движение по восходящей? Хотелось возразить книгам, хотелось вступить в циническую и злую полемику с профессорами, поражая их силой фактов, — вот с этой снарядной кафедры, на которую его поставила в эту ночь жизнь.

Лес шумит от дождя, зловеще чернеет, наполненный неизвестностью, а он тут один, без товарищей, у сваленных боеприпасов. Кано-нада то стихнет, то загремит снова. Машины возят и возят снаряды. Заскакивают в лес как будто бы еще чаще, и подносчики снарядов, эти молчаливые роботы войны, с удвоенной яростью бросают в кузов ящики. Духновича для них будто не существует, о медсанбате они уже и не напоминают. И он, однако, не может обвинять их в жестокости, он не то чтобы надоед им, — они и в самом деле не замечают его, поглощенные своей жаркой работой. Он просто оказался лишним в этом огромном, непрерывно действующем механизме войны. Не вышло из него бойца. Не вышло для вас защитника, Ролланы, Барбюсы и Горькие.

А какие у него были порывы! Не только свою альма-матер, свой родной университет и родной город с небоскребом Госпрома, но и Акрополь в Афинах, и парижский Лувр, и Софию Киевскую, и немецкую готику — все, все он готов был прикрыть своей грудью, а чем кончиться? Не повоевав, не изведав боя, сидит калекой в лесу, под дождем, возле кучи снарядов, начиненных смертью. В решительный час, для великого дела оказался непригодным, — зачем же тогда жить?

Если бы там, на шоссе, где за их грузовиком гонялись мессершмитты, он поймал пулю, — не было бы это лучшим выходом из тупика? А может, самому себе пустить пулю в лоб? Из этой вот винтовки, что ни разу еще и не выстрелила. Может, это действительно выход? Чтобы навсегда покончить и с этой ногой, и с душевными терзаниями, исчезнуть и ни для кого не быть обузой?.. Но нет, не бывает тому, чтобы он первую свою пулю, первую и последнюю, послал в себя, а не во врага...

Машину снова грузят снарядами. Вот она отъехала, затрещав кустами, ушла в чащу, как в пещеру.

— Что, ранен?

Духнович даже вздрогнул. Позади него стоит за кустом человек в накинутой на плечи плащ-палатке. Видимо, новый часовой, только что сменивший прежнего, — Духнович этого и не заметил.

— Ранен, а? — снова обращается он к Духновичу, и в голосе его звучат человеческие нотки, теплые, сочувственные. Это, вероятно, оттого, что он считает Духновича раненым. А он не ранен! Он передовой и не нюхал! Он просто недоученный студент, который возомнил себя воякою и позорно выбыл из строя, наколовшись на какую-то дурацкую камышинку! Болотная прошлогодняя камышинка сломала его, сделала беспомощным и ни на что не пригодным!

Духнович так и сказал часовому, отрывисто, нервно, с надрывом. Но часовой, оказывается, на этот счет придерживался своего взгляда:

— Ежели болит, так болит одинаково, от чего б там ни было: от пули, от осколка, от нарыва ли. Я знаю, как оно, когда нарываает. Еще мальчишкой был, корова как-то на ногу наступила. Ноготь с большого пальца так и срезала, долго нарывало потом, ночами не спал...

Часовой уже стоял перед Духновичем. Лица не видно, винтовка в руке, и слышно, как дождь плещет по плащ-палатке, которая топорщится на нем.

Присветив фонариком, он наклонился:

— А ну, покажи, что там у тебя...

Духнович размотал мокрое тряпье.

— Ого, разнесло,— артиллерист покачал головой.— Знаешь что, товарищ, давай я тебе проколю: созрело уже.

Перед глазами Духновича мелькнули отцовские ланцеты, блестящие, хорошо продезинфицированные хирургические инструменты.

— Чем же вы проколете?

— Найду чем. Вот хотя бы штыком.

В темноте сверкнул штык.

— Посвети-ка мне,— часовой передал фонарик Духновичу.

Свет фонарика выхватил из темноты щетинистое мокрое лицо, грубые руки, снимавшие штык с винтовки, полу плащ-палатки, какой-то пятнистой, не нашей.

— Немецкая?

— Ихняя. На той неделе взята.

Присев, солдат зажал больную ногу Духновича коленями, словно кузнец, который собирается расчищать конское копыто, и не успел Духнович опомниться, как уже что-то там чиркнуло, потекло, а он, этот доброволец-хирург, все еще не выпуская ноги, держа ее, как в тисках, осторожно, но сильно надавливал вокруг раны, выжимая всю боль.

Как полегчало сразу! Духнович будто заново на свет народился. Хотелось плакать, от благодарности хотелось поцеловать эти грубые солдатские руки, которые так помогли ему.

А часовой уже поднялся, просто и буднично вытирал руки о мокрые листья и говорил Духновичу:

— Теперь тебе сразу полегче будет. Если б еще подорожника, но где тут его найдешь ночью... Утром поищем.

— У меня отец врач, хирург известный, но, думаю, и он лучше бы не смог.

— Солдат все должен уметь. Ты, кажется, здорово промерз? Почему шинель не раскатаешь?

— Боюсь.

— Чего боишься?

— Раскатаю, а потом не скатаю,— ответил Духнович полусхучен.— В лагере мы друг другу помогали.

— Поможем и тут, коли сам еще не научился... Перекусить хочешь?

Откуда-то из-за ящиков артиллерист достал полбуханки хлеба, разломил ее и половину подал Духновичу. Хлеб раскис от дождя, прилипал к рукам.

— Что, сырой? — весело спросил артиллерист.— Это ничего. Хлеб сырой — да живот не пустой.

Расположившись под брезентом на снарядах, они ели этот раскисший, набухший дождевой водой хлеб, и артиллерист тихо, степенно рассказывал Духновичу свою жизнь,

— Кадровик я, кадровую службу. А фамилия моя Решетняк. Осенью был бы дома, если бы вот не война.

Артиллерист немного помолчал, прислушиваясь к хлопанию темного мокрого леса, обступившего их.

— По-всякому для людей война начиналась, — продолжал он. — Того застала в море, того в поле среди хлебов, того в дороге, тебя вот — за книгой, а меня — на самой границе, на реке Буг. Знаешь, что такое граница? Такая полоска земли, оплетенная, перепутанная колючей проволокой. Первый ряд проволоки высокий, второй — малость пониже, а третий — еще ниже, а дальше проволока по земле стелется, как плеть на бахче, а земля перепажана да еще и заборонована — против диверсантов. Вот тут мы и закалялись. Незадолго перед тем были на учебных стрельбах, километров за восемьдесят ездили от своих зимних казарм. Пустынные места, болота, пески, сосенки колючие, низенькие... Узкоколейка была там, по ней тянут тросами фанерные танки, а мы по ним должны стрелять. Как трахнешь, так и разлетится.

Сколько-то дней воевали с этими фанерными танками, а в субботу прибыли к себе на зимние квартиры. Казармы наши как раз на ремонте были, и нам команда — разбивать палатки. Не хвально скажу, всегда я был дисциплинированный, и ежели нужно куда, то первым — меня.

Так и тут: «Беги, Решетняк, к тем вон сосенкам, выруби четыре кола», — посылает меня командир взвода. Взял я топор, пошел, вырубил три колышка, а четвертого подходящего все никак не найду, бо уже смеркается, и сосенки возле меня все какие-то кривые и низкие.

«Да руби какой-нибудь», — слышу вдруг над собой голос и, подняв голову, вижу командира батареи. — Может, палаткам недолго и стоять».

Мне очень запомнились эти слова командира батареи, что, может, им недолго и стоять. «Почему же это недолго?» — думаю. А потом и решил, что небось скоро в казармы переберемся, да вырубил колышек первый попавшийся. Растянули на скорую руку палатку, матрацы уже и не набивали, потому как утомлены были зверски. Так на пустых матрацах легли и уснули. Крепко уснули. Известно, какой бывает сон после марша.

Долго ли, коротко ли, слышу сквозь сон: вдруг что-то с клетотом пронеслось в воздухе — неужели снаряд пролетел? «Это мы все еще, знать, на учениях», — подумал я сквозь дрему, а оно уж снова: гух, гух. Удары какие-то. Продираю глаза, а брезент надо мной уже как решето — посеченный, продырявленный, а с вечера был ведь целый! Видно, бил шрапнелью, а может, зенитные осколки осыпались; никому из нас не причинило вреда, а брезент посекло. Но про все это я позже раздумывал, а в ту минуту сразу стал будить товарищей. Наматываю портянку, тащу сапог, а другой ногой сослуживца толкаю: «Сивков, слышишь? Началось!» А он — здоровенный, две порции по приказу командования получал — никак верить не хочет, все головой в подушку.

В этот момент тревогу заиграли. Все повскакивали, выбегают кто как, а я все пилотку не найду. Так без пилотки и выскочил. Прибегаю к коновязи, вижу, один мой конь сатанеет возле своей бирки, а другой уже сорвался, мечется у самых казарм. Кругом суета, крики, ну, что ты хочешь — война! Я схватил чьего-то коня, да к своему, накинул постромки и с пушкой — в парк! А в передке гильзы холостые, и в под-

сумках у нас ни единого боевого патрона. Все с одним лишь порохом, учебные. Воробьев пугать!

Склады боеприпасов рядом, склады огромные, и там, знаем, снарядов — тьма. Стоишь, бывало, часовым возле них ночью, и жуть берет. А вдруг, думаешь, ахнут, взорвутся? До облаков полетишь.

Кинулись мы сгоряча к тем складам, а часовой не допускает. Видит же, что свои и что творится неладное, летят из-за Буга снаряды, но — нельзя! Без начальника караула не подпущу, и крышка! А начальника караула уже убило, и никто того часового снять не может. Только когда подбежал командир дивизиона, открыли склады, берем боевые припасы и — огонь за Буг!

Доколе буду жить — не забуду того дня. Нас полегло, но и их положили — черным-черно. На проволоке лежат, меж проволокой висят. Вся пограничная полоса, правду тебе говорю, была, как лягушками, завалена теми первыми фашистами.

И с тех пор вот с боями до этих мест отступаем. Видали уже, как не фанерные — настоящие их танки горят от наших попаданий. В одном месте они обманом на нас танки пустили с красными звездами, думаем — наши! Подмога прибыла! А они как полоснули из пулеметов, ну и мы же им потом дали... Никто не скажет, что мы, артиллеристы, плохо присягу выполняем. Так уж за эту землю цепляемся, так уж держимся, — каждый вершок ее с кровью у нас выдирают.

Артиллерист умолк, помолчал, прислушиваясь из-под плащ-палатки к отдаленному грохоту канонады, к лесу, который все еще хлюпал, истекал в темноте дождем.

— Подкрепился? — спросил он Духновича, когда тот дожевал свой раскисший хлеб. — Это еще ничего, хлеб как хлеб, я вот в тридцать третьем всю весну бурьяном питался. Нашинкую, бывало, лебеды да в котел, залью водой и варю. Пухлый, ноги в водянках, а как-то выжил. Трудная была весна у нас, ох, трудная! Куда ни зайдешь — пусто... Окна повывбиты, и в домах нежильем пахнет... Кому бы, казалось, я нужен, а придет ночь — запираюсь на все запоры: страшно! Сам не знаю — почему. Да и то сказать — мальчишка... А когда стали хлеба созреть, захвачу, бывало, наволочку, ножницы — да в поле. Рожь высокая, урожай тогда был не хуже, чем этим летом. Заберусь подальше, чтобы объездчик не увидел, и тайком нарежу, настригу тех колосков полную наволочку. Тех, кто ходил тогда вот так стричь колоски, объездчики ловили, называли «кулацкими парикмахерами», хотя среди них многие были и не кулаки, а просто голодные люди. Приду домой, натоплю печь, выгребу пепел прямо на землю — не до чистоты тут! — а на горячий под насыплю колосков, засушу, перетолку и тогда уж испеку себе лепешек. Колоски были еще зеленые, потому и лепешки из них тоже получались зеленые да горькие, но все-таки наешься и оживешь. Не знаю, как где, а у нас вот так было.

— Да, горек был ваш хлеб, — сказал Духнович раздумчиво. — Впрочем, это, кажется, не помешало вам стать хорошим солдатом.

— Я так себе думаю, товарищ: пускай трудно было, перемучились, но ведь немало было и хорошего... Особенно в последние годы перед войной, когда колхозы поднялись, встали на ноги. Теперь вот, когда на нашу жизнь гибель надвигается, — в тысячу раз она нам дороже становится... Родина, она ведь не только тому дорога, кто всю жизнь куличи ел.

«Это про меня, это, выходит, я всю жизнь куличи ел, — подумал Духнович. — А чем отблагодарил? Этот вот насмерть против врага стоит, а я? Что я в сравнении с ним, который столько выдержал и столько еще выдержит?..»

— Скажите, — спросил он Решетняка, — бывают у вас такие ми-

нуты... Минуты отчаяния такого или злости... что и жить не хочется?

— Всякое с человеком бывает. Разве легко смотреть, как оставляем рубежи, как оскверняет враг нашу землю советскую? Глядишь ночью на пожары, и все закипает вот тут. Не злой я по натуре, а теперь так хотел бы стрелять, чтобы ни одна пуля мимо не летела, чтобы каждый снаряд в фашистский череп попадал... Вот и сегодня день был сумасшедший. С ходу немец хотел прорваться и прорвался бы, и в этом лесу уже фашисты колготели бы, если б не наш артогонь.

Он стал подробно рассказывать о сегодняшнем бое, о потерях на батарее, о том, сколько снарядов было выпущено, а Духнович, прижавшись к нему, согретый влажным распаренным теплом его плеча, уже едва слушал сквозь дремоту, такую сладкую после двух бессонных ночей. А потом и вовсе не стало ему слышно слов Решетняка, видел лишь сады под селом, пушки вкопанные, а возле них суетятся люди, заросшие, почерневшие от зноя и копоти, бегом таскают ящики со снарядами, загоняют снаряды в стволы, и среди тех, кто молча, люто трудится тут, он видит знакомую фигуру Барбюса со скаткой через плечо, а рядом с ним хлопочет возле пушки и этот новый товарищ его — артиллерист Решетняк.

20

Полк был кадровый, краснознаменный, еще недавно на смотрах он выстраивался в полном составе, а теперь... Горстка мужественных, обстрелянных, прокипевших ненавистью к врагу людей — это теперь и был полк. Он не то что поредел в боях, — он был почти истреблен и все же держал такие рубежи, какие полагалось бы держать несколькими полкам. И не только держал, но еще сам то и дело переходил в контратаки. Чем меньше оставалось кадровиков в полку, тем больше веса приобретали они в бою. Один кадровик, кажется, стоил троих из пополнения — так ценился теперь человек по его умению держать оружие, по его в боях проверенной цепкости, живучести, стойкости. Если бы враг знал, сколько их стоит против него здесь, по-над речкою Рось, залегших в зеленых садах и буйно поднявшихся огородах, он не поверил бы, что именно они его сдерживают, они, которые понесли уже столько жертв и у которых в обороне столько пустых окопов.

Потери были огромные, особенно от минометного огня, против которого у них не было никакой защиты, кроме этой родной земли, куда они могли зарываться. Мины молотили по ним с утра до ночи, трахая по шоссе, обламывая ветви над окопами; случалось, они попадали и прямо в окопы — горький, давящий дух от них весь день стоял над обороной. И только с темнотой, когда сила огня ослабевала, можно было сосчитать, скольких не стало сегодня.

От неприятеля их отделяла Рось, живописная речушка Рось, что тихо, бесшумно течет среди густой зелени берегов, между вербами, которые кое-где почти смыкаются над ней своими плакучими ветвями. В мирное время на этих берегах всю весну щелкали соловьи, а сейчас круглые сутки свистят пули, и немало уже крови людской унесла отсюда Рось в Днепр.

На берегу, под кустами лозняка, лежат убитые, и когда ночью коснется их волна, кажется, что они шевелятся, что они еще живые, хотя лежат там уже несколько дней. На деревянном мосту, перекинутом через реку напротив шоссе, убитых еще больше: это те, кто ходил в контратаки. Всякий раз, добежав до середины моста, они падали,

скошенные перекрестным огнем вражеских пулеметов, замаскированных где-то совсем близко в вербах того берега. По ночам наши делали несколько попыток оттащить, убрать с моста убитых, но это стоило новых жертв, и мертвая та застава на мосту только увеличивалась.

Вот в этот-то полк, к этому-то мосту и суждено было среди ночи прийти студбатовцам.

— Студенты пришли!

— Курсантский батальон!

— Ни грома, ни молнии не испугались!

В словах, которыми встретил их полк, чувствовалась не только радость, но и солдатская искренняя благодарность за то, что студбатовцы пришли, принесли сюда свои жизни, свою поддержку.

Под проливным дождем, в тревожных сполохах грозовой ночи занимали они свободные окопы по огородам, а кому не хватало свободных, втискивались по двое, вместе со старожилами, пока не освоятся и не выроют свои. После того минометного шквала, под который они попали в открытых хлебах возле штаба дивизии, где понесли свои первые потери, тут, в мокрых окопах, студбатовцы чувствовали себя в большей безопасности, даром что враг постреливал где-то совсем близко, а с вечера, как рассказывали старожилы полка, там, за Росью, даже слышны были немецкие губные гармошки.

Наутро дождя уже не было, небо очистилось от туч, а прямо над студбатовскими окопами свисали яблоневые ветви, отягченные плодами и густой росой. Когда противник, начиная день, резанул из пулемета по садам, роса посыпалась, как дождь, а зеленые яблоки покатались прямо в окопы, студентам на головы, лишний раз подтверждая давнюю правоту Ньютона.

Эти кислые, недозрелые яблоки уже в течение нескольких дней были для ветеранов полка чуть ли не единственной пищей. Правда, был у них еще сахар, много сахара, который они добывали, как песок в карьере, неподалеку от своих окопов в подвале одного из домов над шоссе. Раньше в этом здании был райпродмаг, а в подвале склад, который теперь никому уже не принадлежал и никого, кроме солдат, не интересовал — в городке безлюдье и безвластье. Со всей обороны бойцы ползали с котелками к этому подвалу и, набрав кто сколько мог, возвращались в свои норы. В каждом окопчике, рядом с патронами да гранатами, стояли котелки, наполненные сахаром, из которого готовили себе сахарную тюрю, приправляя ее терпкими кислыми яблоками — чтоб не тошнило.

Такой сахарной кашей-тюрей утром угощал Колосовского его сосед по окопу — веселый, долговязый сержант, один из ветеранов полка. Губастый, с орлиным носом, с отчаянно-озорными глазами и сочным басовитым голосом, он принадлежал к тем людям, что заминаются с первого взгляда и с первого же взгляда чем-то подкупают, вызывая симпатию и доверие.

— Ты тут повоюй, а я приготовлю завтрак, — сказал он и, достав из ниши котелок, до половины наполненный сахаром, долил туда из фляги воды, нарезал яблок, старательно размешал все это и уж тогда предложил Богдану: — Доставай ложку и за дело!

Бруствер, замаскированный картофельной ботвой, скрывал их от противника. Земля была мокрая, черная, и розовые лепестки мака, сбитые ночью дождем, повсюду прилипли к ней. Расчистив на краю окопа местечко, поставили там котелок и приступили к своей тюре.

Звучно отхлебывая, сержант для более тесного знакомства рассказывал Богдану о себе:

— Цоберябой я. Странная фамилия, эге ж? Кое-кому она кажется смешной, а ведь есть и посмешнее: Пицимуха, Непийпиво, Обийди-

хата... Был еще у нас в полку старшина Панибудьласка, теперь уже нет его... Ты ешь, ешь,— поощрял он Колосовского,— завтрака не будет, а обеда — и вовсе. Походные кухни наши все порасстреляны, третий день вот так, на подножном корму живем.

Вскоре Богдан уже узнал от него все самое важное, что нужно знать бойцу: откуда немец чаще всего бьет и когда он особенно неистовствует, и каким путем надо пробираться за этим вот сахаром или, скажем, на КП батальона, если туда вызовут.

Из рассказов сержанта перед Колосовским вставал тяжелый боевой путь полка, путь, отмеченный кровопролитными боями на разных, начиная с границы, рубежах, из которых Рось — далеко не самый трудный.

— Они все хотят спихнуть нас отсюда, чтобы вырваться на шоссе,— объяснял сержант,— но если уж без вас не спихнули, то теперь... разве только обойдут. Когда им в лоб не удастся — десанты забрасывают в тыл, сволочи. Ну, мы им не Греция, это они могли несчастную ту Грецию парашютами накрыть. В общем, не жалея, что попал к нам в полк. Паники у нас не было и не будет. Командир полка — старый вояка, еще у Котовского дрался.

Слушая сержанта, Богдан легко представлял себе отца, Дмитрия Колосовского, во главе такого полка. Одно время, в первые годы после гражданской, и отец служил у границы, на Збруче, пока не перевели в Запорожье. Может, сейчас он командовал бы вот таким же полком — стрелковым, краснознаменным...

Тишина. Пальбы не слышно. Бойцы смелеют: то тут, то там выглядывают из окопов. Колосовский и сержант тоже не прячутся. Склонившись над котелком, они уже заканчивали сладкую свою тюрю, как вдруг между ними, меж их головами что-то вжикнуло. Пуля! Не успели даже испугаться. Спихнулись лишь потом. Инстинктивно присев, оторопело поглядели друг на друга.

— Вот гад! — ругнулся сержант.— Снайпер ихний... Высунулись, а она сразу и напомним, чтоб не забывались.

«Это она, смерть пролетела»,— подумал Богдан, все еще глядя на сержанта, который точно так же смотрел на него с улыбкой, будто радуясь, что не только он сам остался в живых, но и студент жив тоже.

Вовек не забыть им этой пули, что пролетела между ними, между их головами и породнила их каким-то особенным родством, объединила особым таинством — таинством самой жизни. «Теперь мы братьями»,— подумал Богдан, глядя на сержанта.

— Вот это и называется — на волосок,— тихо проговорил сержант.— Сантиметр сюда или туда — и одному из нас уже ложка не нужна. Надо, брат, одеть голову в сталь.

Они надели каски. Цоберябой достал из кармана непочатую пачку махорки, сперва понюхал ее, затем разорвал:

— Бери, крути, не жалея, у нас этого зелья вдоволь. Хлебом не снабжают, зато махорки позавчера целый чумал привезли, у каждого теперь полно. Крути, чего ты?

— Я не курю.

— Это пока студентом был, а сейчас, брат, начинай. В окопах с этим веселее...

Богдан, улыбнувшись, неумело стал сооружать из газетного обрывка сигарку; она расклеивалась, но он все-таки свернул, прикурил, затянулся. Голова пошла кругом, он почувствовал, что пьянеет, и после первых же затяжек вынужден был бросить самокрутку. А Цоберябой попыхивал так, что дым валил из окопа.

— Не заметят? — спросил Богдан.

Сержант успокоил:

— Подумают, земля после дождя парит. Видишь, как припекает, даже на сон клонит. Завалюсь-ка я минут этак на двести. И тебе советую: ведь у нас тут только днем и поспишь, ночью не дадут.

— Нет, я не буду спать,— отказался Колосовский и снова выглянул из окопа.— Интересно, откуда он бьет, снайпер этот?

— Хочешь выследить? Вряд ли. Где-то он там в чаще, в вербах — левее моста. Ну, я сплю.

Расположившись на дне сырого окопа, согнув там в три погибели свое могучее тело, сержант и вправду быстро уснул.

Богдан, устроившись в другом конце вырытого углом окопа, приковал взгляд к ветлам противоположного берега. Он следил за шатрами зелени — не шевельнется ли в их глубине ветка, не сверкнет ли где выстрел. «Ты снайпер, но я тоже не мазал на стрельбах», — думал он, напрягая зрение.

Вербы, казалось, дремали. Ни единого движения в тенистых ветках, ни единого выстрела оттуда,— только где-то на левом фланге потатакивает пулемет.

Неподалеку, за картофельной ботвой, хозяйничает в своем окопе Степура — его тяжелая скула виднеется из-под каски.

— Сторожишь? — обращается он к Богдану.

— Да, хочу выследить, откуда он бьет.

— Тогда запасайся терпением...

У Богдана терпения хоть отбавляй. Все время, пока сержант спал, он, изготовав винтовку к стрельбе, напряженно всматривался в зеленые заросли противоположного берега. Один раз ему показалось, что в глубине верб мелькнула какая-то тень, и он уже ждал выстрела, но выстрела почему-то не последовало.

Сержант, выспавшись, сладко потянулся в окопе, зевнул:

— Ну, как там? Не появляется фашистская кукушка?

Он поднялся, похрустел суставами, потягиваясь:

— О, Корчма мой снова землю ворочает...— Цоберябой кивнул куда-то направо: — Он, как только затоскует, так сразу и за лопату — ковыряет да ковыряет, все ему кажется, что мелко. Ох, и трудяга!

— Кто он, этот Корчма?

— Земляк мой, односельчанин, всю кадровую вместе служим. Из одного села мы и какие-то даже родственники дальние, а вот характеры у нас — небо и земля. Я больше песни люблю, а он — сапоги. Все время только и твердит: «Вот кабы мне, милок, командирские сапоги раздобыть!» А я и в обмотках себя отлично чувствую... Э-гей, Корчма, до воды доберешься! — крикнул он туда, где взлетала вверх земля, выбрасываемая невидимым бойцом, и потом снова обратился к Богдану: — Там у него в окопе целый склад: в одной нише патроны, в другой — гранаты, в третьей — пудра, вазелины и кремы всякие...

— Зачем они ему?

— Набрал в магазине и ноги натирает да ботинки смазывает, чтоб мягче были. А пудра — и не знаю зачем,— может, для Фанаски бережет. Девушка была у нас с ним одна на примете, Фанаска, недавно вышла замуж, в Винницу переехала...— Сержант помолчал и голос его затем изменился, погрустнел.— Теперь там, в нашем селе, захватчики немецкие свои порядки наводят. Хоть убей, не верится, что они уже там... С засученными рукавами соскакивают с мотоциклов — млеко давай, яйца. Ну, погодите же, получите вы от нас яйца. Немало мы уложили вас у границы — еще больше уложим. Будем давить по одному, истреблять десятками, сотнями, как крыс,— так я решил!

— Погоди, кажется, что-то промелькнуло,— приник к винтовке Богдан.

Сержант, навалившись грудью на бруствер, тоже стал всматриваться в вербы на том берегу. Солнце теперь глубже проникало в заросли, но и сейчас там не видно было никакого движения.

— А не попробовать ли нам выманить его? — предложил сержант. — Немец, что ни говори, все-таки глупее нас, как думаешь?

Надев на штык каску, Цоберябой отодвинул ее в сторонку, в кусты картофеля, и, пригнувшись, стал там пошевеливать ею. Богдан тем временем, не спуская глаз, следил за вербой, которая казалась ему наиболее подозрительной.

Прошло немало времени, пока сержанту удалось-таки спровоцировать снайпера на выстрел. Неприятельская пуля звякнула о каску, и в тот же миг Колосовский нажал на спусковой крючок.

Ветви качнулись.

— Падает, падает! — крикнул сержант.

Теперь они оба хорошо видели, как, ломая ветки, валится раскояченное тело, им даже послышалось, как оно глухо шлепнулось на землю.

— Упал, ей-же-ей, упал! — закричали из окопов. — Гупнул, как груша! А еще говорят, что груш на вербе не бывает!

— Кто это там его? — послышалось от дороги, от командирского блиндажа.

И Цоберябой ответил громко, с хвастливой гордостью:

— Студент мой сбил!

21

Враг не особенно тревожил их в этот день. Он словно бы забыл о них или не хотел замечать. Далеко слева гудела канонада, да и справа все содрогалось, будто танки своими бронированными лбами разбивали, таранили где-то там железное небо. А тут, над тихой Росью, среди разомлевших верб, война вроде бы задремала, как дремали сейчас, согнувшись в своих окопах, бойцы, пригретые солнцем и парной землей.

Под вечер снова прошел дождь, короткий, летучий, и студбатовцам было видно, как он, словно убегая от солнца, быстро удаляется за Рось, за густые вербы, где был убит снайпер, длинными прядями седеет, пронизанный солнцем на лугах зеленых, далеких. И только пробежал дождь и проглянуло солнце, бойцы увидели, как где-то на левадах, за Росью, среди мокрых, сверкающих верб радуга воду берет.

Степуре хорошо видна была радуга из окопа. Она стояла под темной тучей, поднимаясь над войной, над побоищем, кромсавшим землю, стояла в вечной семицветной красе своей, недосыгаемая для вражеских снарядов.

Потом радугу почти всю закрыло тучей, лишь кусок ее остался на горизонте, круглый, как яблоко... Огромное яблоко рдеет в темных далеких тучах. «Немой стою перед твоею красотой, природа! — хотелось воскликнуть Степуре. — Как это все передать словами?» Странная логика человеческая: глядел на радугу в небе, а видел Марьяну, харьковчанку краснощекую. Замужнею стала, и надо бы давно выбросить ее из головы, а не получается, приходит она и сюда к нему в окоп со своей жаркой, недоступной для него любовью... «Неужели Марьяна не могла полюбить меня, если бы не было его? — думалось Степуре. — Ведь должно же быть и во мне что-то привлекательное для девочек? Вон приходила в лагерь вместе с остальными

Ольга гречанка, она же ко мне приходила. Если Ольга могла, — значит, могла бы и Марьяна, не обворожи, не перехвати ее другой!»

Окоп Лагутина неподалеку от Степуры, наискосок, если смотреть в сторону моста, под расщепленным стволом яблони. Степура и сейчас видит Лагутина, его затылок. Прислонившись грудью к брустверу, Лагутин смотрит куда-то в сторону реки. Без каски, в измятой шинели, еще и воротник поднял, — видно, как спал в шинели, так и остался в ней, чтоб высохла прямо на нем, как высыхает сейчас такая же шинель и на Степуре. Винтовка Степуры лежит на бруствере, закрепленная, пристреленная к мосту, готовая в любую секунду открыть огонь, как только появится противник. По линии прицела глаз Степуры видит кусок вербы — это сразу же за мостом (почему-то кажется, что именно из-за того куста должен выскочить враг); а чуть поведешь глазом в сторону, опять наткнешься на Лагутина, на его выставленный над окопом затылок...

С досадой отвернувшись от Лагутина, Степура видит в окопе Колосовского, который все наблюдает из-под каски за вражеским берегом, и его соседа — сержанта Цоберябого, которого уже каждый тут знает по громоподобному голосу и веселому, компанейскому нраву. Цоберябой — и верно чудная фамилия. Тысячами проходят вот так мимо тебя люди, и среди них вдруг Цоберябой. Откуда? Почему его зовут так, а не иначе? Когда-то, давным-давно, знать, окрестили так вот паны, записали в ревизские сказки, не без злого умысла приравняв человека к волу, да так и несут из поколения в поколение это имя и прадеды сержанта, и деды, и отец, и сам он... В родном селе Степуры немало людей с такими же вот странными именами, как бы в насмешку придуманными когда-то паном; в революцию эти имена делались крылатыми, звучали грозно и славно, а в наши дни многие из них стали именами знатных людей страны, орденосцев, участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

У отца Степуры, бригадира огороднической бригады, тоже медали за выставку. Из хлеборобского рода вышел Андрей Степура в студенты. Будучи уже студентом, вставал, как хлебороб, на заре, спешил, торопился собрать урожай знаний, до очумения сидел, обложенный горами книг, в библиотеке — даже по выходным. Знал: там, куда поедет после университета, не будет таких книгохранилищ. Сын села трудового, он с детства проникся любовью к труду земледельца, подростком умел управлять трактором, переняв эту науку от старшего брата; знаком его рукам и штурвал комбайна; каждое лето, во время каникул, односельчане видели его то у штурвала степного корабля, то среди самых плечистых, что возят зерно на станцию. С малых лет парню привито глубокое уважение к хлебу, отношение к нему как к чему-то самому святому, и когда война прямо с марша бросила студбат в массивы колхозных хлебов и Степура увидел, что хлеб тут уже ничего не значит, что хлеб тут безжалостно топчут, оскверняют, и сам он брел с винтовкой среди зарумянившейся полноколосной чудесной пшеницы «украинки», против воли топча, попирая ее сапогами, — это был самый тяжкий день в его жизни, это было для него самым ужасным из всего, что принесла с собой война. Колосья, собранные в красивый сноп на народных праздниках в день урожая, колосья, гордо золотящиеся в государственном гербе, — увидеть их вдруг повергнутыми, смешанными с землей в черных смрадных воронках, — что может быть больнее для хлебороба! Все это до сих пор стояло перед глазами Степуры, как стоял перед ним и образ растерзанного миной Дробахи, которого они похоронили там, в хлебах. Отсмеялся Дробаха, отгулял... Если бы можно было остановить войну одним ударом, — ничего другого не хотел бы Степура от жизни!

С наступлением сумерек приказано было получать сухари. Сухарей было мало, и Корчма, пригнувшись в картофельной ботве, начал их делить, умело, ловко разламывая и раскладывая ровными кучками на расстеленной плащ-палатке.

— Гляди хорошенько, а то как раз себя и обделишь,— подтрунивал Цоберябой над Корчмой.

А Корчма разложил, подравнял кучки и, довольный, предложил метать жребий.

Студентам, однако, такой способ дележки пришелся не по душе.

— Раздавай просто,— буркнул Лагутин.— Брось ерундить.

— Обойдемся без лотереи,— поддержал его Колосовский.— Разбирайте, я согласен последним.

Корчма, похоже, был очень обижен, что его метод дележки не получил у студентов одобрения и что они только посмеялись над его предложением.

— Значит, не совсем еще проголодались, ежели крутите носом,— сказал он, оскорбленный, казалось, в самых лучших своих намерениях.— Вот когда затянете ремни на последнюю дырочку, тогда каждой крохой дорожить будете.

— Торопись, землячок, паек съесть,— весело посоветовал Цоберябой Корчме, когда тот забрал свои сухари.— А то убьют, и порция твоя пропадет.

Еще не догрызли сухари, как из тени садов появились командиры, послышался над окопами молодой, задорный голос политрука Панюшкина:

— А ну, орлы, кто хочет размяться? Есть задание!

Возле статного, туго перетянутого ремнем в талии Панюшкина Степура увидел командира своей роты, лейтенанта Осадчего, невысокого, с выпяченной грудью. Вот он, присматриваясь, склонился над Степуриным окопом.

— Это кто здесь?

— Курсант Степура.

— Ну, Степура, пойдешь?

Степуре хотелось сначала узнать — куда, о каком задании идет речь. Но не успел он спросить, как из лагутинского окопа уже прозвучало — с готовностью и словно бы даже с вызовом:

— Иду, товарищ командир!

Это Лагутин отвечал Панюшкину, и Степура заспешил:

— Иду, иду.

Ему стало досадно, что Лагутин и тут его опередил.

Колосовский и сержант Цоберябой тоже вызвались пойти, однако Панюшкин, который перед тем приходил благодарить их за убитого вражеского снайпера, отказал им:

— Снайперы? С вами у меня будет особый разговор.

Вскоре десятка полтора отобранных из разных подразделений бойцов стояли на темном подворье, позади кирпичного дома, в подвале которого разместился КП батальона.

Майор Краснопольский, щуплый, болезненный на вид человек (перед войной он заведовал военной кафедрой в одном из харьковских институтов, а теперь был назначен командиром студбата), объяснил сущность задания.

— Городок этот, как вы сами знаете, пуст,— говорил он сердитым, надтреснутым голосом.— Население эвакуировано. Однако нам сообщили, что в тылу батальона, в окне одного из домов, был только что замечен подозрительный свет. Ваша задача — обыскать дом, выяснить, в чем дело, кто светит.

Майор не сказал, что это, возможно, немецкие автоматчики уже забралась туда, засели в ближнем их тылу, в пустом доме, но и без объяснений каждый понимал, что Краснопольский, конечно же, имеет в виду это.

— Блеснуло и тут же погасло, — взволнованно отозвался Гладун, который до сих пор стоял почти незаметный под темной глухой стеной. Оказывается, это он первым и заметил подозрительный свет в доме, когда возвращался из полковых тылов (Гладун выполнял теперь обязанности старшины батальона). — Жителей-то в местечке нет, из наших там тоже никого нет, кому там светить? А дом такой, что из него поди попробуй их выбить, если засядут...

— Выбьете, — сказал Краснопольский уверенно. — На выполнение задания вас поведет вот товарищ Гладун. Забирайте людей, товарищ Гладун, и выполняйте.

Гладун, видно, вовсе не ожидал такого оборота дела. Слышно было, как он даже захлебнулся, отвечая Краснопольскому уставным, непременным «слушаюсь!».

И вот они идут. Молчаливые, сосредоточенные, идут на задание, которое неизвестно чем для них кончится. Большинство — студбатовцы. В темноте Степура узнает знакомую, с поднятым воротником шинели фигуру Лагутина, слышит возле себя Ребрика, Бутенку с филологического — они изредка обмениваются на ходу короткими фразами. Для студбатовцев это первое боевое задание, первая проверка нервов, выдержки, мужества. Тут можешь встретиться с врагом лицом к лицу. Тут либо ты его, либо он тебя. На таких вот заданиях пускают в ход и штык, и приклад, а может случиться, что и цепкую руку врага почувствуешь на своем горле...

Гладун идет вблизи от Степуры насусленный, его все время угнетает мысль, что он дал маху и эта оплошность может стоить ему жизни. Какой черт потянул его за язык, кто заставил болтнуть комбату об этом огоньке — будь он трижды проклят! Промолчи он, так не попал бы в такой переплет, никому бы и в голову не пришло посылать его на это задание, из которого, кто знает, вернешься ли живым.

— Выпало же нам, — говорит он доверительно Степуре. — Хуже и не придумаешь...

С той поры, как Гладун оказался на фронте, его не узнать. Куда только девалась его самодовольная молодцеватость, которой он так отличался в лагере. Похудел, осунулся, весь как-то обмяк и раскис, стал равнодушным ко всему. И сейчас ведет их между темных домов не строем, просто гурьбой, и, кажется, ему теперь на все наплевать: какое ему дело, что у того вон воротник поднят не по уставу, а у того хлястик болтается на одной пуговице и что противогазов на многих уже нет...

Не до того теперь Гладуну. Поставленный волей случая во главе группы, он ведет ее куда-то через заросли огородов, часто останавливаясь, пугливо приглядываясь к домам, к садам, Бурьян под ногами, деревья вокруг — все полно тьмы. Зловещая тьма, окружавшая их, похоже, целиком завладела Гладуном, тревожит его, страшит; он идет в темноту, как тот конь, который за каждым кустом чует волка. Наконец, пришли. Гладун приложил палец к губам:

— Тс-с!

Все замерли. Огромный, темный и словно бы насторожившийся дом. Полуразбитые окна, бурьян выше фундамента...

— Тут!

Руки сами сжимают оружие, холодок близкой опасности пробегает по телу. Ждут команды. Она подается злым шепотом:

— Окружить дом!

Украдкой, тихо ступая, обходят, окружают дом со всем, что в нем находится. Присев, притаились под окнами то ли в бурьянах росистых, то ли в цветах. Если бы не дышать, стать невидимкой! Может быть, на них уже смотрят из окон, с чердака? Целятся? Вот-вот гром и молнией хлестнет по тебе автоматная очередь? Под кустом против углового окна собралась целая группа. Гладун, присев на корточки и указывая на темный провал окна, шепчет не своим, каким-то потерянным голосом:

— Ну, кто первый?

Это означает: кто первым полезет в выломленное окно, кто первым бросится навстречу смерти, навстречу собственной гибели.

— Ну?

Молчат. Поглядывают на дом, как на крепость. Положение того, кто сейчас внутри дома, куда выгоднее. Притаившись за стеной, он, возможно, только и ждет, пока ты полезешь, закарабкаешься к окну, он услышит каждое твое движение, а ты будешь лезть в ту дыру, как в черную зубастую пасть.

— Ну кто, кто? — нетерпеливо повторяет Гладун, и голос его свирепеет.

Из тех, кто притих в бурьяне, вдруг один поднялся и, сбросив шинель, двинулся к окну.

Степуру бросило в жар: Лагутин! Он первым идет, берет на себя самое трудное. Поднялся из бурьяна и как бы сразу поднялся над ними всеми, стал самым лучшим, и будто Марьяна увидела его в этот миг, увидела, как он, ее Славик, победив страх, первым устремился навстречу опасности, чтобы только выручить товарищей.

В мгновение Степура очутился возле другого окна. Почти одновременно они ухватились за подоконники, подтянулись на руках — один легко, другой тяжело, неловко — и бесшумно исчезли внутри дома.

Гладун, присев в бурьяне еще ниже, замер в напряжении. Он ожидает, что вот-вот весь дом заходит ходуном, засверкает огнем из стволов, посыпнутся стоны, предсмертные крики, возня; но ничего этого не было. Слышно было, как оба они, живые и невредимые, неторопливо ходят в гулкой пустоте дома — один тут, другой там, — чем-то громыхают, что-то переворачивают и, забравшись наверх, возятся на чердаке, будто домовые.

Через некоторое время их каски появились в оконных проемах: одна — в одном, другая — в другом.

— Нема, — сказал Лагутин, и в голосе его Гладуну почудилось нечто похожее на насмешку. — Сдается, их тут и не было.

Гладун поднялся из бурьяна.

— Не может быть... В погреб вы заглядывали?

— Пусто всюду, — отозвался Степура. — Можете зайти, убедиться. Я дверь вот открою.

Вскоре дверь была распахнута настежь, и бойцы, разом ввалившись в дом, обошли, обыскали все его уголки. Шкафы перевернуты, на полу перья подушек, обрывки газет... Думали, хоть газеты — немецкие, оказалось — наши.

Собравшись вместе, стали гадать: куда ж они могли деться, те таинственные сигнальщики, куда могли скрыться так быстро.

— Может, это не тот дом? — высказал сомнение Степура.

— Нет, я не мог ошибиться, — твердо возразил Гладун. — Вон там я шел, тут повернул... — Он вдруг пригнулся, будто кого-то заметил в темноте. — А что, ежели они в соседний дом перемахнули?

— Мы бы их увидели.

— А еще до нас?

Лагутин подсказал:

— Давайте и там посмотрим, все прочедем.

Разбредясь и уже громко разговаривая, стали заглядывать в окна соседних домов, дергать за ручки дверей, перекликаться.

— Эй, а ну сюда! — вдруг прозвучал посредине двора голос студбатавца Бутенко. Чувствовалось, он там обнаружил что-то важное.

Когда сбежались, Бутенко показал на дом, который они только что тщательно обыскали.

— Вот откуда гляньте на него, в этом ракурсе. Видите, блестит, переливается?

И верно, в одном из окон мерцал, переливался свет. Видно, там осталось несколько стекол; напротив, далеко за Росью, что-то горело, и в окне отражались отблески зарева.

— Вот эти отблески вы и видели, товарищ помкомвзвода, — сказал Лагутин.

— Вот это и есть ваши автоматчики! — подбросил Бутенко. И все их нервное напряжение разрядилось неудержимым хохотом.

Несмотря на комичность своего положения, Гладун, кажется, тоже был доволен тем, как обернулось дело. В приливе доброты разрешил хлопцам перекур. Мокрые, по пояс в росе, забрались в какой-то темный сарайчик, где было уютно, сухо, и, рассевшись по углам, начали крутить сигарки.

Степура уже курил, когда кто-то тронул его рукой:

— Дай прикурить...

По голосу узнал Лагутина. Поднес ему сигарку, и тот, жадно посасывая, стал прикуривать от нее. Когда Лагутин втягивал воздух, огонь разгорался, озаряя его осунувшееся, испачканное грязью лицо и светлый пушок, заметный на подбородке. «Марьянин фронтовик», — подумал о нем Степура, и ему почему-то стало жаль Лагутина.

22

Что там за Росью? Что за теми черными купами верб, где небо всю ночь тревожно рдеет от пожаров?

Неизвестность, пожары, тьма. Браг уже хозяйничает на том берегу. Легко сказать — на том берегу. Казалось, сам воздух там смертелен для человека, и даже деревья там не такие, как тут, и земля не такая, и вода. Кажется, и птица, залетев туда, упадет мертвой. Непроницаемо, недоступно. А все же можно было проникать и туда. Проникали разведчики.

Около полуночи Богдана Колосовского вызвали на КП батальона.

— Пойдете в разведку, товарищ курсант, — поднявшись из-за стола, сказал комиссар Лещенко, которого Богдан едва узнал в сумраке подвала.

— Есть, товарищ комиссар.

— Поведет вашу группу политрук Панюшкин.

Среди утонувших в махорочном дыму людей Колосовский разглядел и Панюшкина, как всегда, улыбающегося, а возле него в группе бойцов — сержанта Цоберябого, который был вызван сюда чуть раньше. Некоторые из бойцов как раз снимали с себя противогазы, шинели и, суровые, молчаливые, бросали все это в одну кучу, в угол.

— В тыл идете, к врагу в тыл, — говорил комиссар, остановившись перед Колосовским и строго осматривая его. — Документы, какие есть, сдавайте вот батальонному писарю на сохранение... Это временно, — добавил он как бы между прочим.

Вынырнув откуда-то из-за спин командиров, у стола тотчас же появился Спартак Павлушенко. Последнее время он исполняет здесь писарские обязанности и на этом основании не вылезает из КП.

Колосовский неохотно положил на стол свое курсантское удостоверение. Перед тем как расстаться и с комсомольским билетом, невольно задержал его в руке, посмотрел на комиссара:

— И комсомольский сдавать?

— Все, все, — подтвердил комиссар.

Комсомольский билет... Положив его, вспомнил вдруг, что остался еще медальон, тот черный медальон, что выдали в дороге.

— И медальон?

— Нет, — ответил комиссар. — Медальон оставь при себе.

Богдан присоединился к группе разведчиков.

— Все это нам возвратят, не горюй, — успокоил его политрук Панюшкин, который кажется, один еще здесь среди этих суровых людей не научился улыбаться. Его широкие белые зубы будто не умещались под губами, так все время и светились, сверкали в приветливой улыбке. — Шинель тоже брось туда, все это нам сейчас ни к чему, — пренебрежительно кивнул он в угол. — Разведчик должен быть легок и бесшумен, как ночная птица.

Сам политрук Панюшкин был настоящим воплощением такой легкости — она чувствовалась во всем его теле, во всей его юношеской стати. Стройный, упругий — ни шинели на нем, ни ранца, даже каски нет на голове, только пилотка лихо сбита набекрень да непокорно выбился из-под нее светлорусый чуб. Пилотка с рубиновой звездой да черный трофейный автомат поперек груди. «Вот так я живу, вот так я люблю — чтоб ничего на мне лишнего, чтоб только автомат через грудь да гранаты торчали из карманов», — будто говорил он всем своим видом, и Богдану невольно захотелось быть таким же.

Бойцы, окружавшие политрука, — их было человек десять, — за исключением сержанта Цоберябого, были незнакомы Богдану. Впереди стоял коренастый ефрейтор с монгольским типом лица — Богдан так и назвал его в мыслях — Монгол, за ним набивал патронами подсумок курносый, этого так и назвал — Курносый, еще один был в фуражке пограничника — для Богдана он стал Пограничник... Они его тоже не знали, для них он был просто новичок из студбата, и, наверно, так его и назвали — Студент. И вот, впервые сведенные в одну группу, в большинстве совершенно не знакомые между собою, объединенные лишь улыбкой политрука Панюшкина, они должны были уйти с ним в ночную непроглядную темень, в зону смерти — за Рось.

Как на обреченного посмотрел Павлушенко на Богдана, когда тот с новыми своими товарищами уходил с КП. Похоже, задание было какое-то особенное, потому что во дворе к разведчикам присоединилось еще несколько саперов с тяжелыми ящиками — эти ящики со взрывчаткой бойцы будут нести потом по очереди.

Незамеченные, перебрались в темноте через Рось уже довольно далеко от деревянного моста, что напротив позиции батальона. Пограничник, который был родом из этих мест, вброд провел их на ту сторону, прямо в кусты лозняка, в вязкий песок, провел так тихо, что ни одна ракета не вспыхнула над ними, ни одна пуля не просвистела.

За песком, за талами начались болота и озерца — побрели по ним. Нужно было брести так, чтобы не хлюпало, не булькало, не чавкало, брести неслышно и в то же время не потерять в темноте товарищей. Руки немели от тяжелых цинковых ящиков с патронами, неудобные ящики с взрывчаткой то и дело сползали с плеч — для тех, кто их нес, это было мукой.

Враг держался шоссе, а разведчики шли стороной, в обход. По болотным кустам, кочкам ступали, как по минам, всякий посторонний шорох настораживал — притаившаяся за каждым кустом тьма могла в любой миг послать ракету, ударить в лицо выстрелом. Мир, в который они углублялись, был для них теперь действительно зоной смерти, где за малейшую неосторожность можешь поплатиться жизнью.

При всем своем юношеском жизнелюбии Колосовский сейчас боялся не столько смерти — он ее применительно к себе просто как-то не представлял, — его ужасало другое: возможность быть раненым, попасть в плен. Сейчас это было самым вероятным и самым страшным. Если не вернешься отсюда — пропал бесследно, пропал без вести, сгинул в зафронтовой безвестности — для одних честный, а для других — навсегда опозоренный, потому что откуда узнают, как и где ты остался за огненной чертой... Самые дорогие для тебя люди, как они узнают правду о тебе, о твоих последних шагах в бою? В медальоне оставил два адреса: университетский — Танин, и второй — матери, она живет теперь на Кубани у старшего сына — механика совхоза. Два самых дорогих адреса в медальоне. Но кто откроет этот медальон, кто пошлет весточку, когда наступит для него смертный час тут, за линией фронта?

Чем дальше продвигались разведчики, тем труднее становился их путь; болота не кончались, брели по ним, спотыкаясь о какие-то корневища, путаясь в жилистых, густых лозняках. Вода то исчезает, то опять хлюпает под ногами, черная, тяжелая, как нефть, с тinou да осокой-резучкой, сквозь них с трудом проталкиваешь ногу, скользишь по корягам, падаешь, вязнешь. Что ни шаг — то новое усилие. Сапоги стали пудовыми — в них полно воды.

А политрук Панюшкин, шагая впереди, все поторапливает: скорее, скорее — близится рассвет!

Он уже сообщил им, куда идут. Группе приказано захватить и уничтожить железнодорожный мост, — наши в суматохе отступления не успели разрушить его, и мост целым и невредимым остался у врага в тылу. Разведчикам нужно выйти к нему затемно, пока не разгорится утренняя заря, пока можно будет подкрасться к мосту незаметно. Потому-то политрук Панюшкин так торопит своих бойцов, не дает им отдыха, хотя и сам дышит тяжело, хотя и с него пот катит градом.

— Еще рывок, хлопцы, еще рывок!

Особенно задерживают группу те, кто в очередь несет ящики со взрывчаткой. Измученные тяжелою ношей, они не поспевают за другими, запыхавшись, часто спотыкаются в зарослях, падают, отстают. В конце концов стало ясно, что при таком темпе ходьбы им затемно не выйти к мосту. Панюшкин на ходу принял решение: разделить группу на две части. Саперы во главе с сержантом Цоберябым будут нести взрывчатку и двигаться вслед за ушедшей вперед во главе с Панюшкиным основной группой.

Политрук погнал разведчиков почти бегом. Никто не роптал, хотя бойцы едва не падали, умываясь соленым потом. Каждый понимал — скоро развиднеется, скоро конец темноте, прикрывающей и защищающей их.

Знали, к какому объекту должны были выйти, и все же для них было совершеннейшей неожиданностью, когда впереди из седой предрассветной мглы проступила вдруг, как на огромном негативе, серая радуга моста. Притаившись в кустарнике, стали всматриваться в эту холодную, застывшую в туманах радугу, которой должны были овладеть. Вот он, мост. Целый-целехонький! Будто только что построенный.

Согнувшись, осторожно стали пробираться вперед. На фоне светлеющего неба все явственнее вырисовывались металлические фермы, а у входа на мост — неподвижная фигура часового в плащ-накидке. За мостом, по ту сторону, темнела сторожевая будка — там, несомненно, тоже был пост.

Нужно было немедленно подкрасться и снять часового. Ждали, кого из них пошлет Панюшкин. Но он не стал никого посылать.

— Колосовский, остаешься за меня!

И, припав к земле, пополз к насыпи сам. Колосовский и Монгол, которые лежали ближе всех к политруку, тоже поползли за ним. Все трое уже подбирались к насыпи, когда от моста ударило струей огня — рваной струей трассирующих пуль. Бил из автомата часовой. Пули шли высоко над ними, часовой стрелял покамест наугад. Но это был плохой знак: тревога поднята. Теперь нельзя было мешкать. Отсюда, из-под насыпи, фигура вражеского часового на мосту хорошо вырисовывалась, и Панюшкин, выставив автомат, дал по фашисту короткую очередь. Одна очередь — и часового не стало. Они видели, как он упал навзничь, как бы переломившись в позвоночнике.

— Вперед!

Панюшкин, поднявшись, махнул в направлении моста своим черным автоматом, который казался сейчас каким-то особенно легким, игрушечным в его огромной, напряженно поднятой руке. Только они бросились по насыпи вверх, как с другой стороны, от будки у моста, оглушительно ударил пулемет. Панюшкин приказал Монголу взять остальных бойцов, оставшихся внизу, и вместе с ними захватить будку.

Вскоре, пробравшись под мостом через овраг на ту сторону, разведчики уже поднимались по насыпи к сторожевой будке. Они торопились, стреляли щедро, бешено. Панюшкин и Колосовский поддерживали их огнем, но немцы, видно, успели нырнуть в хлеба: когда бойцы вскочили в будку, она была уже пустой.

Еще воняло здесь вражьем логовом, валялись кучи закопченных горячих гильз, невыстрелянные пулеметные диски, запасные обоймы для автоматов...

— Улизнули! Теперь лови их!

В хлебах, далеко тянувшихся от будки, мелькнула чья-то согнутая фигура. Пальнули вслед, а догнать — куда там. Хлеба высокие, густые, а дальше — посадки, в тумане — сады какого-то села...

— Как же это мы их выпустили? — сокрушался Пограничник, оглядывая хлеба. — Теперь держись! Приведут целую псарню!

Несмотря на близость опасности, их охватила радость — мост захвачен! Разгоряченные, взбудораженные, собрались возле убитого часового. Белобрысый, с облезлым от загара носом, немец был вовсе не страшный, лежал, скрючившись, на пятнистой своей, мокрой от крови плащ-накидке. На сапогах — крепкие стертые подковы, которые прошли небось пол-Европы...

Быстро обыскав немца, бойцы забрали документы и столкнули труп с моста; он полетел вниз головой, тяжело плюхнулся в густо заросшее осокой болотце.

Они — хозяева моста. Даже не верилось: один натиск, несколько минут боя, и уже им принадлежит эта серебристая металлическая радуга, которая мощно высится в предраассветный час среди родных просторов! Все тут исправно, добротное, фермы аж гудят, рельсы еще не поржавели, поблескивают сталью — хоть сейчас пускай по ним поезд!

Удивительное чувство овладело Колосовским, хмельное чувство первой боевой удачи. Окруженные врагом, полками фашистскими, дивизиями, они, горстка советских бойцов, приступом отбили и удержали мост.

живают этот мост среди открытых полей, удерживают эти вот высокие серебристые фермы, которые поднимаются в утреннюю зарю, будто железное знамя бесстрашия и непокоренности!

Но где же саперы? Подойдут ли они сюда прежде, чем появится с подкреплением немецкая охрана, успевшая ускользнуть? Нет, саперы должны успеть, должны!

Залегли вдоль насыпи и стали с нетерпением ждать.

Панюшкин, лежавший в одной цепи с бойцами, рассматривал документы убитого. Не полагаясь на свое знание немецкого языка, он подозвал Колосовского, и Богдан, как мог, принялся переводить ему записи в солдатской книжке.

За сухими сведениями, которые оставил в своей книжке немецкий штабной писарь, Колосовскому хотелось разглядеть человеческую судьбу того, кто лежал сейчас там, под мостом, в болотной трясине. Кто он и как очутился на Руси? Сам пошел или заставили? Название части, год рождения да еще звучное имя Ernst — все это говорило мало. Как он жил, кто ждет его дома? Кому напишут, что такого-то нет, пропал без вести? Одурманенный фашистской пропагандой, может, и в самом деле представлял себя сверхчеловеком, был уверен, что дойдет до Урала, станет властелином мира? И вот теперь, отброшенный этим миром, валяется под мостом, как падаль, и уже не для него встает это погожее летнее утро...

— Да, этот больше не будет стрелять, — говорит Панюшкин, пряча документы убитого в карман. — А солнце, глянь, какое всходит!

Красное, сочное, выглянуло из утреннего тумана солнце за далекими садами, осветило хлеба, фермы моста и залегших у насыпи разведчиков. Сейчас, при свете дня, чувствовали они себя прямо-таки голыми подле этого моста, который возвышается среди просторов, как огромная мишень.

— Однако где же это наши? Не сбились ли они там?

Панюшкин нетерпеливо всматривался с насыпи в болотистый лозняковый край — оттуда должны были появиться саперы.

В этот миг сверху, по фермам моста, с металлическим звоном застучали пули.

— Каски в хлебах! — вскрикнул Пограничник, спрятавшийся на мосту за опорой.

Вскоре все уже видели, как, вынырнув из посадки, заблестели над хлебами немецкие каски. Автоматчики. Их много.

Рассыпавшись, идут медленно, вразброд, но с каждым шагом все ближе и ближе к мосту. С ходу ведут огонь, стреляют не целясь. Автомат в пузо — и нажимают, строчат, строчат перед собой, будто слепые. Металлический град все чаще цокает по фермам. Разведчики, притаясь, не открывают ответного огня.

А еще через минуту на полевой дорожке вдоль посадки затарахтели мотоциклы. Влетев в хлеба, они быстро приближались, уже видны были пулеметчики.

Наиболее тяжелое для разведчиков начиналось именно сейчас. Это каждый понимал. Захватить мост было делом не таким уж сложным, главное — удержать, во что бы то ни стало удержать вот теперь, до прихода саперов! Пули со звоном ударялись о рельсы, рыли землю на насыпи перед самыми лицами разведчиков.

— Без приказа не отходить, — предупредил Панюшкин. — Держаться, что бы ни было! Бить — прицельно! Только прицельно!

Автоматная трескотня нарастает.

Каски в хлебах все ближе. Видны оскалы ртов, черные от яростного крика.

Панюшкин, как и его соседи, приготовился к стрельбе лежа, рельс

служит ему опорой, но в последнее мгновение, вскочив, стал прицеливаться с колена.

— Прицельно!

И только успел он выстрелить, как рука его неестественно дернулась, и автомат, отлетев, пополз с насыпи вниз. Панюшкин, поникнув, остался лежать на месте.

Колосовский бросился к нему и, стащив ниже под насыпь, приподнял, потрянул за плечи.

— Товарищ командир! Товарищ политрук! — и неистово тряс, тряс его, словно хотел оживить.

Но в отяжелевшем, еще теплом теле уже не было жизни: он был убит наповал несколькими пулями; одна из них ударила в висок, пробива голову — брызги крови запеклись в светлом чубе.

Уложив политрука на траву, Богдан подхватил его автомат и снова бросился на насыпь. Все уже вели огонь. Колосовский с ходу лег на том же месте, где был убит Панюшкин, и с того самого рельса, откуда только что собирался вести огонь политрук, теперь уже он, Колосовский, стиснув зубы, выпустил длинную очередь по противнику. «Прицельно, прицельно! — упорно долбила мысль. — До последнего патрона!»

Живые фашистские каски в хлебах так близко — целься, не промахнись! С одного фашиста, по которому выстрелил Колосовский, слетела каска, и только после этого немец упал. Еще выстрел, и еще один упал, а он целился снова в эти ненавистные каски, видел, как падали враги, и это только распаляло его, каждую каску хотелось разбить, раздавить, расколоть, как скорлупу, вместе с черепом, который под нею прятался.

О себе Колосовский не думал. Пули вызванивали по фермам все злее, щелкали по рельсам, впивались в шпалы, но он не хотел их замечать, он люто презирал их, он впервые чувствовал в себе сейчас то, что отец его когда-то называл полнейшим презрением к смерти.

23

Мост этот, вероятно, имел какое-то особое значение; к тому же кто-то, видимо, чувствовал свою вину за то, что он достался врагу целым, — не потому ли из полка все время звонили по телефону на КП батальона, нервничали, настойчиво допытывались, как там, не возвратилась ли ночная разведка.

— Еще нету, нету, — отвечал комиссар Лещенко, и сам все более и более нервничал.

В углу подвала после бессонной ночи спал на расстеленной шинели комбат Краснопольский. У изголовья сидел Спартак Павлуценко и, следя за комиссаром, угадывал на его лице внутреннее беспокойство, с трудом скрываемую тревогу. Спартаку казалось, что он хорошо понимал состояние комиссара: ведь успех и неуспех разведки — на его совести. Сам подбирал людей, сам посоветовал Панюшкину взять из числа студбатовцев Колосовского. Павлуценко счел тогда своим долгом предостеречь Панюшкина, но тот не обратил внимания на его предостережение.

А зря. Ведь люди пошли в тыл врага! Там малейшая трещина может пропастью обернуться...

Отвечать за последствия должен, конечно, комиссар. Спартак решительно не мог понять того усиленного внимания, какое, начиная

с райкома, комиссар Лещенко проявлял к Колосовскому, к человеку, как бы там ни было, все же запятанному. Были моменты, когда Спартак чуть не начинал подозревать и самого комиссара: чем, в самом деле, объяснить это покровительство Колосовскому на каждом шагу? Стреляет хорошо? Но не один же он так стреляет! Храбр? Не один он храбр. Или, может быть, решение послать Колосовского продиктовано другими, какими-то высшими соображениями? Но ведь комиссар послал и Панюшкина, кадровика, коммуниста, любимца бойцов?

Все неясно, непонятно.

«Хорошо, что хоть документы у них отобрали, — думал о разведчиках Спартак, — а то враг мог бы еще и их комсомольскими билетами воспользоваться...»

Комиссар, прилегли в углу между связистами, снова с кем-то разговаривает по телефону. Похоже, опять с Девятым. Разговаривать с Девятым — мало в этом приятного. Крутой, бранчливый, он и сейчас, видимо, ругается вовсю, потому что Лещенко краснеет и, еле сдерживая себя, отвечает с подчеркнутой вежливостью; там, на другом конце провода, видно, тоже интересуются, что за люди пошли в разведку, достаточно ли проверены, надежны ли; Лещенко уверяет, что людей послали надежных.

— А я и сейчас считаю, что не все там такие, — решается возразить Спартак, когда комиссар, закончив разговор, кладет трубку и сосредоточенно смотрит на аппарат, продолжая о чем-то думать.

— Что вы сказали? — не придя еще в себя после разговора с Девятым, обернулся Лещенко к Спартаку.

Тот повторил. Комиссар помолчал.

— Это вы из соображений перестраховки?

— Нет, от души.

Лещенко пересел поближе к нему, глянул ему в глаза внимательнее:

— Кого вы имеете в виду?

— Вы же знаете. Я еще в райкоме предостерегал.

Комиссар встал, прошелся по подвалу и снова присел на ящике против Спартака.

— Товарищ комсорг, а в какой вы семье воспитывались?

— Семья здоровая. Отец завкадрами на оборонном заводе, мать — юрист...

Комиссар все пристальнее всматривался в Спартака.

— Вы никогда не думали, товарищ Павлущенко, что у вас чрезмерно развита подозрительность? Вам, студенту-гуманитарнику, у которого глаза должны быть открыты прежде всего на все самое светлое в людях, вам такая роль... к чему она? Вот вы, начиная с райкома, да верно еще и раньше, упрямо преследуете одного из своих сокурсников...

— Я не преследую. Я просто не до конца верю ему.

— У вас есть какие-нибудь основания не доверять Колосовскому?

— Я полагаю, товарищ батальонный комиссар, что логика тут может быть одна: человек, отец которого осужден советским судом на основе наших, советских законов, едва ли с такой уж охотой будет сражаться за эти законы, за наш строй. Во всяком случае, посылать такого человека во вражеский тыл...

— Ну, ну?

— Я ничего не сказал. Я только убежден, что не среди таких людей нужно искать подлинных, до конца преданных нашему делу патриотов.

— У вас, товарищ курсант, превратное понимание патриотизма,

в корне ошибочное, — возразил Лещенко твердо. — Вы, видимо, полагаете, что патриотизм, это священное чувство, доступно только избранным, только тем, к кому наша жизнь была повернута все время своей солнечной, своей самой щедрой стороной. Быть патриотом, когда жизнь тебя только по головке гладила, — это, я вам скажу, не велика штука. Нет, ты побудь вот в положении хотя бы того же Богдана Колосовского, когда сердце кровоточит, и с таким, кровью облитым сердцем сумеешь стать выше всех бед и обид! Это, по-моему, как раз она и есть, подлинная, священная любовь к своей Отчизне.

— Вы так говорите, будто сам я недостаточно обладаю этим чувством.

— Нет, товарищ Павлущенко, я знаю, что когда понадобится, вы тоже не пощадите себя для защиты того строя, который вам так много дал в жизни. Вы участник финской, теперь доброволец, ваш патриотизм вне всякого сомнения. Но вы должны понять меня, человека, который видел в жизни чуть-чуть больше, чем вы. Я знаю людей, которые, оказавшись, по несчастью, даже в заключении, не изменили своим убеждениям, не перестали быть ленинцами. Это прежде всего свидетельствует об огромной силе идей нашей партии. Колосовский тоже представляется мне таким человеком.

Сила убежденности чувствовалась в словах комиссара. Спартак сидел притихший, присмиривший. Вот он сказал тебе — гуманитарник...

Подумай хорошенько. А что, ежели ты и в самом деле был несправедлив в своем недоверии, в предубежденности своей к Богдану?

Что, если твоя линия в отношениях с людьми была действительно ошибочной и лишь теперь у тебя раскрываются на это глаза?

Связисты, проснувшись в своем углу, задымили сигарками и тоже завели разговор о судьбе ушедших в тыл к немцам. Один из них спросил комиссара:

— Если выполнят задание, товарищ комиссар... представите их к орденам?

Лещенко посмотрел в угол на связистов.

— Ордена их где-то там сейчас кровью запекаются, — сердито ответил Лещенко и резко поднялся.

Подойдя к узкому подвальному окну, стал смотреть на ту сторону, за Рось, будто пытался увидеть сквозь заросли тальника своих разведчиков, и тропинки, по которым они идут, и тот далекий, облитый солнцем железнодорожный мост, который они пошли отбить у врага и уничтожить.

День, белый день, а их нет, и можешь какие угодно делать предположения...

Стрельбы не было, и вдруг за рекой среди полуденной тишины громыхнул далекий, приглушенный расстоянием взрыв. Комиссар переглянулся с телефонистами, посмотрел на Павлущенко:

— Слыхали?

— Слышал.

— То-то и оно.

У комиссара, видно, сразу отлегло на душе. Заходил по подвалу, взволнованный, просветлевший.

Наконец они подали первую весточку о себе из вражеского тыла. Мост взорван! Моста больше нет!

Но выйдут ли, вернуться ли они после этого?

Ведь взрыв может означать и то, что разведчики живы, и совершенно противоположное — что их уже нет.

— Встать! Смирно! — гаркнул где-то у входа в подвал Гладун, и все, кто был в этот момент на КП, повскакивали и, вытянувшись, обратили взоры к двери. Последним вскочил на ноги майор Краснопольский.

По каменной лестнице, ведущей в подвал, спускался Девятый. Здоровый широкоплечий, с волевым, скуластым лицом, местами в пятнах румянца как бы от мороза. Несмотря на жару, он был в кожаной куртке нараспашку, из-под которой виднелся крепко закрученный орден Красного Знамени; все знали — орден у Девятого за финскую. Летами он значительно моложе Краснопольского, старого воина, участника гражданской. Однако разницы в возрасте в данном случае для Девятого, видимо, не существовало. Уставившись глазами на Краснопольского, который вытянулся перед ним, седой и взъерошенный после сна, с рубцом от чьей-то шинели на щеке, Девятый бесцеремонно набросился на него:

— Спите? Другие воюют, а вы дрыхнете?

Можно было возразить, что командир студбата прилег всего на часок после бессонной ночи и что впереди у него опять бессонная ночь, но сказать об этом Девятому означало вызвать еще большую бурю гнева и ругани, потому все промолчали.

Пройдя к отверстию окна, обращенного к реке, Девятый глянул туда, спросил, не возвратилась ли разведка.

— Разведчиков еще нет, — сказал комиссар Лещенко, — но думаем, что задание выполнено.

— Все думаете... Какие основания?

— Только что слышали оттуда огромной силы взрыв.

— Э, до черта теперь всяких взрывов! — махнул рукой Девятый, отходя от окна, и этим нетерпеливым резким движением как бы отбросил разведчиков куда-то в прошлое: о них, мол, и говорить больше не стоит.

Временно заменяя раненного командира полка, он теперь неистовствует вовсю.

— Не ударим лицом в грязь... Отомстим за командира... Надо только действовать, действовать! Хватит нам тут топтаться!..

Наступление. Перейти в наступление! — об этом он заговорил сейчас, широко шагая по подвалу, и только одно это, видать, владело теперь всеми его мыслями, на одно это была направлена вся его бурлящая энергия.

Приказал немедленно вызвать командиров рот и политруков — он сам объяснит им задачу, поднимет их боевой дух. Ходит из угла в угол этой каменной клетки КП, как лев, и все внушает Краснопольскому, что не так, мол, страшен черт, как его малюют, что там, за рекой, немцев — кот наплакал, а когда командиры и политруки собрались, заполнив подвал, мощный бас Девятого зазвучал еще сильнее, а серые глаза его, глубоко притаившиеся под надбровными дугами, возбужденно засверкали, будто уже видели перед собою кипение боя и поверженных врагов. Да! Он переходит сейчас на этом участке в наступление. Приказывает немедленно готовить атаку! По его данным, враг отводит отсюда свои части, может быть, там, за рекой, вообще уже никого нет, а мы, как суслики, зарылись в землю и только прислушиваемся, как гудит на других участках война. Он уже размахивал картой, выхваченной из планшета, тыкал пальцем в какие-то пункты: захватим этот, захватим тот, и к вечеру распроклятый железнодорожный мост уже будет в наших руках. Мост, потерю которого до сих пор не может простить нам старший хозяин. Воспламеняя

других, он распался и сам, видно было, что душа его искренно жаждет атаки, боя.

Спартак смотрел на Девятого с восторгом. Вот таких бы нам побольше! Прощал ему и грубость, и вспыльчивость, и даже мордобой, к которому, как он слышал, Девятый иногда прибегает, — все прощал за эту железную волю, неукротимую жажду броситься на врага, смять его, победить.

— У вас там кто, у шоссе? — обратился Девятый к Краснопольскому.

— Третья курсантская.

— Вот и поднимите ее для начала.

Краснопольский попытался было возразить, что сейчас, мол, не подходящее время для атаки, к тому же без артподготовки, среди бела дня, — не лучше ли провести ночную атаку, чтобы избежать лишних потерь? Но все его доводы не поколебали Девятого.

— А вы думали как? — набросился он на майора. — Война — и чтобы без потерь? От других батальонов остались рожки да ножки, а вы тут над своими все дрожите?

С первого же дня, едва прибыли на рубеж, майор Краснопольский и комиссар Лещенко почувствовали какую-то необъяснимую неприязнь к себе и к своему батальону со стороны этого человека, который тем не менее мог теперь распоряжаться ими, их судьбой.

«А мы что, хуже?» — это были первые слова, какие услышали они от Девятого, узнавшего, что в полк вливается батальон студентов-добровольцев. Девятому почему-то казалось, что командир и комиссар студбата претендуют на какое-то особое, исключительно бережное отношение к своим курсантам, поскольку все это люди, которые еще вчера сидели на студенческой скамье, а теперь вот по собственной воле сменили тишину аудиторий на фронтовой окоп. И хотя ни о каких привилегиях они вовсе не помышляли, Девятый, сам приписав им какие-то претензии, считал необходимым поскорее выбить из них несуществующий дух исключительности, подвергнуть их суровой закалке и жесточайшим испытаниям.

В боях, тяжелых, кровопролитных, полк потерял по дорогам отступления добрую половину личного состава. Подвергаясь с первых дней войны ударам моторизованных частей врага, зубами цепляясь за каждый рубеж, Девятый, насколько это было в его власти, не щадил бойцов, не щадил ни самого себя, ни ближайших помощников — а этих должен жалеть?

— Кто поведет?

Майора Краснопольского и комиссара Лещенко, которые тут же изъявили согласие, он будто бы и не услышал, отвернулся от них; командира роты — пожилого, узкогрудого лейтенанта из Чугуевских лагерей он тоже пропустил, и вдруг взгляд его упал на Павлуценка, который, вытянувшись в струнку, не мигая, смотрел на Девятого, исполненный восторга.

— Вы кто?

— Комсорг, товарищ подполковник...

— Вот вы, комсорг, и возглавите.

— Есть! — ответил Спартак, бледнея.

Гладун, затаившись у входа, видимо, молил сейчас всех богов, чтобы пронесли мимо него эту чашу, но боги не выняли его мольбам.

— А вы, старший сержант? Где ваша винтовка? — набросился на него Девятый. — Многовато вас тут болтается без дела! Тоже в атаку!

Через несколько минут Девятый с револьвером в руке уже стоял на самом солнцепеке под стеной исклеванного осколками дома, который выходил к шоссе недалеко от моста. Комиссар Лещенко и комбат

тоже стояли здесь, наблюдая, как из картофельной ботвы, из окопов, из садов выползают бойцы третьей роты, накапливаясь в кюветах для атаки. Их каски густо зеленели, тускло поблескивая; будто крупные арбузы.

Перед самой атакой Девятому доложили, что прибыло пополнение.

— Где оно? — крикнул он на поджарого капитана, который общил ему об этом.

— Вон там, в садах. Еще и окопаться не успели.

В глубине садов, под деревьями, группами расположились вновь прибывшие; где-то там была кухня, и у некоторых бойцов в руках дымилось только что отваренное мясо.

— Не успели пороха понюхать и уже жрут? Сюда их!

Капитан на миг замаялся.

— Это в основном колхозники, только что из военкоматов... Даже винтовки не у каждого.

— Винтовки добудут! Оружие в бою добывают! Сюда их!

Когда лейтенант побежал выполнять приказ, Девятый, обернувшись к Лещенко и Краснопольскому, бросил им укоризненно:

— Видите, сколько резервов? Людские резервы у нас неисчерпаемы, их только развороши!

Вскоре, пригибаясь в кюветах, к студбатовцам уже приближались бойцы из пополнения, удивленно, оторопело озирались по сторонам, доверчивые, послушные. У одного в руке была винтовка, у другого — граната, а у третьего и вовсе ничего не было, кроме горячего, только что полученного из походной кухни мосла, который он тут, на ходу, и обгладывал...

Когда людей набралось в кюветах порядочно, Девятый крикнул:

— Вперед!

Бойцы один за другим начали медленно подниматься, направляясь кюветом к мосту. Впереди твердой походкой шли командир роты и Спартак Павлущенко.

Тишина горячего лета окутывала вербы за Росью, ни одного выстрела не раздавалось оттуда; казалось, и в самом деле никого нет на том зеленом берегу; казалось, война — всего-навсего мираж, чья-то злая выдумка, о ее реальности напоминал лишь тяжелый, тошнотворный запах с моста, где под палящими лучами солнца громоздились трупы.

Подходя к мосту, бойцы сначала пригибались, ожидая, что противник вот-вот откроет огонь, но все было тихо, и передние, осмелев, выпрямились и уже в полный рост, гурьбой, бросились на деревянный настил продырявленного снарядами, но еще крепкого моста. Затаив дыхание, следили за ними сидевшие в окопах. Первые из атакующих уже приближались к середине моста, когда с противоположного берега по ним вдруг ударил длинной захлебывающейся очередью пулемет.

Мост, конечно, был хорошо пристрелян; из тальников справа и слева люто хлестал по нему перекрестный огонь, по шоссе трахнули первые мины.

Отсюда, из-за дома, где стоял Девятый, было видно, как падают на мосту атакующие, а те, что успели перебежать на ту сторону, спасаясь от шквального огня, скатываются под мост, пытаются перебраться к своим по воде. Пальба, крики, кровь раненых... Девятый будто и не видел всего этого, он ловил взглядом лишь тех, кто укрывался в кюветах, видимо ожидая, что он отменит атаку, вернет всех назад.

«Зачем? Кому нужна эта бессмысленная атака?» — стоя возле Девятого, едва сдерживал себя комиссар Лещенко. Сердце его обливалось кровью от того, что творилось на мосту. Даже отсюда слышны

были крики раненых, видно было, как бросаются они в воду, спасаясь от пуль и осколков, как то тут, то там уже выбираются из прибрежных зарослей назад, на берег...

Девятый не унимается.

— Вперед! Вперед! — размахивая револьвером, выкрикивает он, будто заклинание, тем, кто еще остался в кюветах. — Слышите: вперед!!

— Да что вы делаете? — не удержавшись, шагнул к нему комиссар Лещенко. — Прекратите эту мясорубку!

Девятый, оглянувшись, окинул его невидящим, помутневшим взглядом.

— Да, атака захлебнулась, — сказал он глухо, обращаясь к Краснопольскому: — что, будем кончать?

Краснопольского аж передернуло от негодования, а Лещенко ответил резко:

— Этого не нужно было и начинать.

— Отставить атаку! — кинул Девятый упавшим голосом и, засунув револьвер в кобуру, медленно зашагал в глубину сада, словно бы и не слыша пуль, которые посвистывали над ним, не обращая внимания на мины, которые зло, яро кромсали шоссе.

25

Потом опять стало тихо.

Только груды неподвижных тел на мосту да следы крови всюду: на картофельной ботве, на камнях шоссе, а больше всего — на подворье возле КП, где на скорую руку был устроен перевязочный пункт. Раненых тут не задерживали. Как только обстрел прекратился, их сразу же стали направлять через сады в тыл, на окраину городка, откуда их должны были забрать грузовики.

А из тыла в направлении к передовой снова шли маршевики, двигались растянутыми колоннами; командиры, которые вели их, не разрешали нарушать строй, и лишь один брел сбоку: это был Духнович.

В медсанбат он так и не попал. Немного придя в себя у артиллеристов, Духнович счел невозможным искать убежища где-то в тылу. Он решил непременно разыскать своих и искал их с упорством, неожиданным даже для самого себя.

Уже в городке, пробираясь по кювету вдоль садов, Духнович встретил Гладуна. Это было ошеломляюще. Гладун бежал навстречу, слепой от ужаса, бежал, пригнувшись (хотя тут и не стреляли), неестественно выставив вперед руку, неумело обмотанную набухшими кровью тряпками. Духнович обрадовался ему, как родному брату. Помкомвзвода здесь — значит, где-то тут должен быть и родной студбат! И как ни натерпелся от Гладуна в лагере, все сейчас простил ему и готов был броситься на шею.

— Товарищ командир!

Гладун остановился перед ним, запыхавшийся, какой-то затравленный, с бледными дрожащими губами. Нельзя было понять, узнал ли он Духновича, — в одичавших, безумных глазах его сейчас горело одно:

— Грузовиков не встречал? Грузовиков с ранеными, а? Меня вот тоже ранило, осколком ранило! — бормотал он, выставя руку в окровавленных тряпках. — У нас тут такое творилось! Ох, что творилось! — продолжал он, испуганно озираясь и переходя на доверительный тон. — Девятый среди бела дня на пулеметы погнался. Третьей роты

небось и половины нету. Еще одна-другая атака — и всем нам хана! Только тот и спасется, кто ранен! Так грузовиков там с нашими не встречал?

— Не встречал.

Духнович все смотрел, как кровь капает и капает под ноги с Гладунова тряпья.

— А как думаешь, будут грузовики? — Гладун перешел почти на шепот. — Говорят, уже в клещах мы, Умань и Белую Церковь немец захватил, а ведь это — рукой подать! На шее у нас веревочка — только затянуть!

Духнович глядел на него и не узнавал своего помкомвзвода. Гроза студбатовцев, да он ли стоит сейчас перед Духновичем, — этот охваченный ужасом, затравленный человек?

Для Гладуна Духнович будто и не существовал. Он и не заметил, что перед ним — курсант, на котором все, как в лагере, целехонькое: и противогаз, который другие уже давно бросили, и стеклянная фляжка в чехле, которую другие уже разбили, — все будто специально сохранено чтобы только порадовать Гладуна, недавно выдавшего Духновичу это добро со строгим наказом беречь как зеницу ока. Но сейчас Гладун был слеп ко всему, весь мир сосредоточился для него на раненой руке, на черных, толстых, с жесткими ногтями пальцах, торчавших из-под окровавленного тряпья, — он держал эту руку перед собой так бережно, как, наверное, первобытный человек держал последнюю тлеющую головешку.

— Теперь все, — хрипел он. — Теперь тут все ваши атаки — без меня.

В этом своем животном страхе он был бы отвратителен сейчас для Духновича, если бы не эти капли человеческой крови, которые медленно и тяжело срывались с его тряпья в кювет, на бурьян.

Где-то далеко застрочил пулемет, и Гладун содрогнулся.

— Ну, я побег!

Духнович задержал его вопросом:

— Где же наши? Студбат наш где?

— Дуй прямо и прямо, их не минуешь, — забормотал Гладун скороговоркой и, уже оставляя Духновича, вдруг глянул просветленным взглядом, кажется, только теперь сообразив, кого видит перед собой.

— Мы думали, ты за Днпром где-нибудь, в госпитале, на белых подушках... Не вышло, значит, а?

И, не дожидаясь ответа, низко пригнувшись, что есть духу побежал куда-то в сады.

Духнович еще некоторое время постоял, сумрачно разглядывая закапанный кровью Гладуна стебель травы. Потом поправил на себе скатку, ремень винтовки и, прихрамывая, зашагал дальше.

Студбатовцы первыми заметили его. Было предвечернее затишье, и они, выглядывая из окопов, еще издали увидели, что по обочине, вдоль садов одиноко пробирается человек, очень похожий на их Духновича. Ей-же-ей, это он, их факультетский Сковорода, ковыляет, идет воевать! Было странно, удивительно видеть Духновича тут, на передовой, когда все уже думали, что он для войны списан, не существует. И все-таки это был он, рыжий и конопатый Духнович, это он, сутулясь и прихрамывая, шагал навстречу войне, по-журавлиному вытянув вперед свою худую, жилистую шею, которая, казалось, еле выдерживает стальную тяжесть каски.

— Эй! Курсант Духнович!

Духнович растерянно оглянулся, не сразу сообразив, откуда доносится до него голос Степуры.

— Сюда заворачивай! — громко кричал из своего окопа Степура,

и Духнович в полный рост заспешил через картофельное поле к Степуре.

— Пригнись! Пригнись, дурень! — закричали на него какие-то уже незнакомые голоса. — Это тебе не парк культуры и отдыха! Здесь сразу причастят!

Подстегиваемый криками, Духнович поспешно нырнул к Степуре в окоп.

— Откуда ты взялся? — обрадованно рассматривал Степура его веснушчатое, покрасневшее от ходьбы лицо. — Как нога?

— Порядок. Народная медицина помогла.

— Знахарка какая-нибудь подлечила?

— Нет, артиллерист штыком проколел. Оперировал в настоящих, так сказать, полевых условиях... А потом еще и траву какую-то приложил...

Из ближних окопов приползли свои, университетские — заросшие, измазанные, только глаза блестят. Заметно похудели все, у Мороза еще больше скулы выпирают. Легли вокруг окопа, глядят на Духновича, с удивлением рассматривают его курсантскую амуницию, которая на нем в столь образцовом порядке.

— Гладун бы похвалил.

— А я его только что встретил. Раненный бежал.

— Раненный? Разве и он ходил в атаку? — Степура недоуменно глянул на Мороза и Подмогильного.

— Не знаю, — сказал Мороз. — Во всяком случае, среди первых его не видно было.

— Зато наш Спартак сегодня геройски вел себя, — отозвался Подмогильный.

— У нас тут ад сегодня... Хорошо, хоть ты не застал... — взволнованно начал рассказывать Степура Духновичу об атаке. — Видишь, вон куча тел на мосту? Если бы не комиссар Лещенко, то и мы, наверное, лежали бы там.

— Девятый тут такой у нас есть — настоящий самодур, — заговорил Мороз, а Лагутин, который только что подполз к ним из картофельной ботвы, громко объявил:

— Считайте, звезда Девятого закатилась.

Хлопцы посмотрели на Лагутина с удивлением:

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что сказал. Я сейчас с перевязочного, отправлял Яланского из геофака — он сам не добрался бы. Как раз там при мне на Девятого корпусной комиссар налетел. Ох, и давал же он ему за эту бессмысленную атаку... Так что Девятый свое, кажется, откомандовал.

— Но тех не поднимешь, — кивнул в сторону моста Степура.

— Аспирант Черный убит, литфаковец Скиба здорово покалечен, — глухо повествовал Духновичу Подмогильный.

— А Дробаху потеряли еще в тот день, когда ты отстал, — сказал Мороз. — Во ржи, среди открытого поля накрыло нас.

Духновича эти вести все больше подавляли.

— А где же Богдан, почему его не видно? — с тревогой спросил он и заметил, как хлопцы сразу нахмурились.

— Богдан там, — махнул Степура за Рось. — Еще ночью пошел в разведку и до сих пор нет.

Степура стоял понурый; ребята, нависая касками над его окопом, тоже мрачно молчали.

— А ну, что там за сборище? — послышался резкий голос командира роты откуда-то из-за яблонь. — Марш по окопам!

Через минуту Степура и Духнович остались одни.

— Нечем тебя и угостить,— оправдывался, шаря в окопе, Степура.— На вот, хоть сахарку поешь.

Достав из ниши, он подал Духновичу котелок, наполненный желтоватым влажным сахаром-песком.

Духнович присел, стал послушно жевать. Степура тем временем показывал ему свое нехитрое окопное хозяйство.

— Вот в этой нише гранаты, чтоб ты знал, а эта — продуктовая, а в этой — бутылки с горючей смесью...

— А я гляжу, что это там за кучи темных бутылок в садах...

— Только сегодня привезли.

Взяв из ниши одну бутылку с тяжелой темно-бурой жидкостью, взболтнув ее, Степура стал рассматривать ее на солнце.

— С этим навоюешь... Разве что поймашь фашиста да в горло ему нальешь.

— Мне тоже выдадут? — спросил Духнович.

— А их тут хватит. Видишь, целая батарея. Только бы не промахнулся...

Из-за реки громко ударил немецкий пулемет. Духнович, бросив котелок, вскочил, удивленный:

— О, да они тут совсем близко!

— А ты думал... Только Рось и разделяет.

Им были видны старый деревянный мост, заваленный трупами, роскошная зелень противоположного берега, густые вербы, облитые красноватым предзакатным солнцем. Где-то там притаились вражеские пулеметы, минометы, готовые в любую секунду ударить огнем.

— Представляешь, ведь надо же пройти туда, а потом выбраться оттуда,— заговорил Степура, глядя далеко за речку, и Духнович догадался, что он имеет в виду разведку, с которой пошел Богдан.— Всем несладко, но им горше всех.

— Богдану всегда выпадает самое трудное.

— Выпадает, потому что сам ищет.

То, что их друг первым из всего студбата взял на себя самое опасное задание, Духновича и Степуру нисколько не удивляло, они хорошо знали Богдана. Но чем это кончится? Жив ли он там или его уже нет? Отбивается где-нибудь с оружием в руках или, быть может, уже терзают его фашистские палачи, добываясь сведений, которых он им никогда не даст? Они уверены в нем, его друзья. Три года Богдан был душой их университетской дружбы. Родной университет не представлялся им без Богдана, как не представлялась им без него Таня, озорная, веселая его спутница. Как она будет без него? Никто ей никогда не заменит Богдана. А легко ли им самим потерять такого друга! Немного замкнутый, временами угрюмый, он сближался далеко не с каждым, но те, кто дружил с ним, пользовался его доверием,— те хорошо знали его глубокое и чистое сердце.

— Я жалею только,— глухо произнес Степура,— что не удалось пойти с ним вместе. Большое дело, когда в трудную минуту возле тебя верный товарищ...

— Может, еще вернется,— с надеждой сказал Духнович.— А когда возвратится, знаешь что, Андрей... Давайте так, чтобы не разлучаться. Конечно, вам от меня пользы немного, этот вечный неудачник Духнович всегда был для вас лишь обузой...

— Да что ты! — прервал его Степура.

— Но и я не пропащий,— продолжал Духнович.— Я вот, пока разыскивал вас, о многом передумал... Какие люди есть, Андрей, на свете!

Ночью война с ее опасностями проявляет себя здесь еще более зримо, возникая в образе ракетной метели и зловещих багрово-красных сполохов по горизонту. Пожары видны уже не только за Росью, но далеко слева и справа и даже где-то позади полыхают, смыкаясь огромным огненным кольцом. Смотришь на зарева, на огни ракет повсюду, и впрямь начинаешь верить слухам о надвигающейся угрозе быть отрезанными от днепровских переправ.

На горизонте пожары, а в садах над Росью темно, как в яме, только ракета время от времени вспыхнет, осветит все вокруг мертвенным светом, да полоска воды сверкнет перед настороженным взором тех, чьи окопы у самого берега.

Как и в прошлую ночь, опять посылали бойцов вытаскивать убитых с моста и с берега по-над Росью. К мосту противник не подпустил, сразу же отсек путь пулеметами, осветил ракетами, как днем. А подалее от моста удалось пробраться до самой воды. Среди тех, кто неслышно крался в прибрежных зарослях, были и Степура с Духновичем. Под покровом темноты они вытащили из воды неизвестного, у которого руки были уже негнущиеся, отвердевшие, точно из мрамора. Даже не разглядев, какой он, оттащили в картофельное поле, торопливо засыпали в пустом полуобвалившемся окопе.

Возня с трупом кончилась тем, что Духновичу стало плохо. Когда они вернулись к себе, его начало тяжело тошнить, выворачивать, и руки его, как он уверял, теперь «отдают смертью», как тщательно ни оттирал он их землей и листьями.

— Это нервы, это пройдет,— успокаивал его Степура, когда тот судорожно корчился, а потом, обессиленный, распластался ничком возле окопа.

— Это не пройдет, никогда не пройдет,— заговорил Духнович, когда ему стало немного легче.— Та рука, тот лоб, которого я нечаянно коснулся... Кто он? Зарыли, а что мы знаем о нем? И медальона-то не было...

— Чей-то отец. Чей-то сын,— в раздумье говорил Степура.— Еще один боец или командир.

— Не только это, не только! — нервно возразил Духнович.— Нечто большее пытаются уничтожить, разрушить, убить! Властелина планеты, высочайшее создание природы, самое мудрое из всего, что только есть во вселенной!

Услышали, как кто-то ползет к их окопу. Подполз, заглянул:

— Браточки, винтовки лишней нету?

— Тебе что здесь, склад? — вроде бы беспричинно вызверился на него Степура.

— Да, может, лишняя. Мы из пополнения. Обменялись бы... У нас бутылки есть горючие...

— Свои имеем,— буркнул Степура сердито, и тот пополз дальше, к другим окопам, уже где-то там спрашивая, нету ли винтовки лишней.

Ночь была темная, небо вызвездило, раскинулось над садами, над фронтом широкой полосой древнего Чумацкого шляха — Млечного пути.

Степура и Духнович, сняв каски, чтоб отдохнула голова, сидели в окопе, упершись коленями друг в друга; сидели, на небо смотрели. Из окопа оно казалось особенно звездным. Гроздь созвездий, мерцание светлой пороши неведомых Галактик...

— Вот такое же звездное небо,— размышлял вслух Степура,— было и над Гетее, и над Коперником, и над философами и поэтами

Эллады. Люди менялись, поколения за поколениями проходили, а оно было все таким же, мерцало и мерцало звездами, как вечность...

— Мерцало-то мерцало, — заметил Духнович, — видело много, но никогда, похоже, не видало оно столько пожаров на земле, столько крови, столько преждевременно оборванных жизней людских...

— Да, теперь насмотрится...

Где-то над Росью в небо взметнулись ракеты противника — даже в окопе стало светлее.

Степура поднялся. Его не покидала тревога за Богдана. Каждая ракета над Росью, казалось, преследует где-то там Богдана, каждый пулемет, что вдруг гулко вспарывает темноту, казалось, бьет по разведчикам.

На душе становилось все тоскливее, пока — где-то уже за полночь — над окопами не прозвучал вдруг знакомый голос сержанта Цоберябого:

— Где тут мой Корчма? Живой ли ты, Корчма? Живы ли да здоровы родичи гарбузовы?

А через минуту в Степурином окопе стоял и Богдан Колосовский, мокрый, пахнувший болотом.

— Выбрался? — обнял его Степура. — Рассказывай же!

Присев в окопе, Богдан, к удивлению Духновича, свернул толстенную сигарку, жадно затянулся махорочным дымом. Молчал. Что он им расскажет? Как из семнадцати их осталось пятеро? Ценою жизни товарищей они все-таки удержали мост до прихода саперов, удержали, пока те не подготовили взрыва, и только тогда отошли. Видели, как разламывается окутанная облаком взрыва серебристая их радуга, как где-то у самого солнца разлетаются разорванные взрывом фермы.

Противник вначале был ошеломлен этим огромной силы взрывом, но вскоре опомнился, начал преследование. То было страшнее самого боя. Разведчики чувствовали себя дичью, за которой гонятся охотники, которую разыскивают и вот-вот найдут. До вечера скрывались в камышах, погрузившись в теплую, кишащую лягушатами воду. Бег времени словно бы остановился для них. День казался вечностью, но в конце концов все же наступила ночь и вывела их куда нужно, и вот через сутки они снова вышли к подвалу КП. Возвращая Колосовскому комсомольский билет, комиссар Лещенко крепко пожал ему руку.

Это успешно выполненное задание было бы для Богдана самой большой радостью, если бы все семнадцать разведчиков возвратились оттуда, если бы не оставили навсегда у того моста столько товарищей, политрука Панюшкина, — он него перешел в наследство Богдану этот черный трофейный автомат, что висит у него сейчас на груди.

— Дружище, что же ты молчишь? — ласково тряхнул Богдана за плечо Духнович.

— В другой раз. В другой раз все расскажу, — сказал Богдан, выбираясь из окопа. — А сейчас пойду — глаза прямо слипаются. До смерти устал.

И через минуту он уже исчез в темноте.

Ощущать в окопе рядом с собой живую душу — истинное счастье. Может быть, нигде, ни в каком другом месте не сможешь так глубоко, по-настоящему оценить человека, друга, как тут. После блуждания по дорогам, после того неопределенного положения, когда Духнович словно бы болтался где-то между фронтом и тылом, ему сейчас окоп

Степуры казался таким уютным, таким надежным. Хорошо здесь, спокойно. Земля, правда, за воротник сыплется, и ноги немеют, нельзя их выпрямить, но и теснота тут не в тесноту; кажется, никогда Духновичу не было так просторно, как сейчас; по совету Степуры прилег на дне окопа, с головой закутавшись в раскатанную, наконец, шинель, отгородившись ею от всего тревожного мира. Впереди ночь, свободная от всяких забот, несколько часов отдыха — Степура настоял на своем и первым заступил на пост. Вот он насторожился в углу окопа, зоркий, недремлющий, а Духнович, согнувшись вниз, подложив под голову каску вместо подушки, может свободно предаться самым сладким воспоминаниям, подумать, поспать. Не беда, что тело как на прокрустовом ложе, важно, что в душе — простор и легкость, удивительная какая-то, почти детская безмятежность. Как все относительно в мире! Дивным, сказочным дворцом может стать для человека обыкновенный, тесный фронтной окоп. Только вот, на сколько дней и ночей будет он для тебя жильем и крепостью?..

С этими мыслями Духнович и уснул.

Когда засыпал, вокруг было совсем тихо, лишь кое-где за Росью срывались выстрелы, а вверху, где-то у застывших звезд, ветерок слегка покачивал ветви деревьев. А когда Степура разбудил его, с силой тормоша за плечо — «вставай! вставай!», — Духнович, очнувшись, увидел нечто фантастическое: огненный метеоритный дождь с шипением бушевал вокруг. Все было невероятным, ошеломляющим со сна — и ночь, и гомон людей, и всплески ракет, и этот дождь метеоритный, пока Духнович сообразил, что это трассирующими бьют по садам.

Из темноты, из-за реки, доносился непонятный грохот.

— Танки за речкой! — закричал кто-то от берега.

— Танки! Танки! К мосту идут!

— Без паники! Товарищи, без паники! — слышалось над окопами, и студбатовцы узнали напряженно-спокойный голос комиссара Лещенко. — Гранаты, бутылки у всех есть?

— Есть! Есть!

— Забирайте и — к мосту! Командиры, ведите людей!

Возня в садах, резкие окрики командиров, которые собирают в темноте своих бойцов, а за рекой — гул, гул...

Степура, выхватывая из ниши гранаты, бутылки, сунул бутылку и Духновичу.

— Бери! Бежим!

Пригибаясь под перекрестным ливнем трассирующих пуль, через окопы, через картофельное поле, бросились бежать туда, куда бежали все: к речке, к мосту.

Грохот за Росью нарастал. Небо над вербами заметно побледнело — начало светать.

В кюветах возле моста было уже полно людей.

— Ложись, ложись! — кричали командиры тем, кто подбегал, и Духнович со Степурой тоже упали, как и остальные, — головой к шоссе.

Лежали тут, плотно прижавшись друг к другу, студбатовцы и незнакомые, — видно, кадровики и резервисты; в предрассветной мгле лица их под касками были серые. Опершись подбородками на холодные камни шоссе, бойцы всматривались куда-то за реку. Духнович тоже высунулся и увидел по обе стороны шоссе, в кюветах, множество касок, множество человеческих голов, которые тускло поблескивали до самого моста и даже за мостом — и там сновали человеческие фигуры, копошились у самого берега — должно быть, какие-то смельчаки уже успели перебраться низом на ту сторону.

На том берегу росистые заросли верб были еще полны темноты, таинственности — оттуда, из уходившего в глубь зарослей шоссе, все слышнее надвигался тяжелый, грозный грохот.

Духнович почувствовал, как дрожь побежала по всему его телу. Почему он дрожит? Потому ли, что прохладой тянет от речки и остывших за ночь камней шоссе? Или бросает его в дрожь вот этот грохот, который медленно, неотвратно надвигается и от которого содрогается все заречье?.. «Но ведь я же не боюсь! — страстно убеждает он себя. — Мне не страшно, не страшно! Это, видимо, и есть то мгновение, когда даже самый обыкновенный, самый невоенный человек — и тот обретает силы на решительный поступок!..» Он чувствовал себя частицей этого застывшего в напряжении коллектива, и ему радостно было вдруг открыть, что он тоже не трус, и найти в себе уверенность, что он не отступит с этого места, не утратит самообладания, не падет ниц перед надвигавшейся на них черной силой. То надвигался фашизм, его вероломство, кровавая жестокость, дикость. Был в том грохоте сейчас для Духновича и лейпцигский процесс, и окровавленная Испания, и растоптанная Чехия, надвигались из-за плакучих верб истребление, надругательства, смерть миллионов людей на Западе и тут, на земле его Родины. Все это будет, если ты отступишь, не уничтожишь!..

Взгляд его упал на бутылку, которая маслянисто лоснилась, крепко зажата в руках Степуры. Посмотрел на свою и тоже крепче сжал ее и, сжимая, как бы ощутил весь заключенный в ней огонь.

— Вот он уже! — сказал кто-то. — Выползает!

Пепельно-серое, скрежещущее чудище появилось из густой тени верб, вырвалось из сумрака чащобы, будто из далеких веков, откуда-то из кайнозойской эры.

Фронт молчал, стрельбы не было, был только скрежет железа о камни, скрежет, который накатывался грозно, неумолимо.

— Приготовиться! — услышал Духнович неподалеку от себя юношеский голос командира взвода. А через минуту где-то уже возле моста прозвучал на высокой звенящей ноте голос комбата Краснопольского:

— За мной! В атаку! Вперед!

И все, вскочив, бросились из кюветов на мост.

Пули разрывали воздух, настил моста грохотал под ногами, а люди летели вперед, навстречу переднему лязгающему танку, и Духнович тоже бежал вместе с другими, спотыкаясь о падавших, бежал, что-то крича, забыв о страхе, желая лишь одного — добежать до фашистского танка и швырнуть в него огонь, зажатый в руке.

Какого-то бойца впереди Духновича охватило вдруг пламенем, — видимо, пуля попала в бутылку, и он, как живой костер, бежал еще дальше, пока кто-то не столкнул его с моста в воду. Будто на вулкан ворвались они — такой стоял тут грохот; передние уже сошлись с танком в смертельном поединке, видно было, как летят в него бутылки, бьют в башню, в борта, а он, окутываясь текучим пламенем, все ползет дальше на мост, блестя гусеницами. Стальная, наползающая гора была уже совсем близко, Духнович уже слышал смрадное дыхание горящего мазута, железа и краски, видел, как струящееся пламя ползет, обтекает башню, а бутылки все летят туда, плещут огнем на танке, и Духнович, боясь только одного — как бы не промахнуться, — швырнул и свою бутылку туда. Ударившись о башню, она лопнула легко, как ампула.

«Попал! Не промазал!» — радостно замерло сердце, и в этот миг будто кто камнем ударил его в бедро. Духнович почувствовал, что падает. Инстинкт самосохранения дал силу и цепкость его рукам, и скоро он был уже под мостом, запыхавшись, спускался куда-то вниз

по стропилам. Тут все уже было облеплено людьми; они лазали в полумраке — одни торопились куда-то, другие передыхали, ухватившись руками за металлические скобы, за стропила, за почерневшие от времени перекладыни. Духнович, чтобы перевести дух, тоже приник к одной из таких перекладын. Наверху еще все содрогалось, ходило ходунном, оттуда летели куски пламени — видимо, танк как раз проходил по мосту на ту сторону. Тот ли это, который горел, который подожгли, или уже другой,— только он прогромыхал, за ним снова лязг, грохот и снова куски пламени. Танки проходят. Их не остановили! Сквозь горящие бутылки, сквозь гранаты прорываются, сквозь всю отвагу и мужество их студбата! Кричать хотелось Духновичу от своего бессилия, от своей неспособности остановить врага.

Пробираясь между стропилами все ниже, Духнович впотьмах узнал студбатовца Чирву. Ухватившись за скобу, тот висел, будто подвешенный где-то в застенках инквизиции, хотел, видимо, прыгнуть вниз, но боялся напоротья в воде на сваю.

— Прыгай, прыгай! — крикнул ему кто-то внизу, и он прыгнул, а за ним плюхнулся в воду и Духнович.

Воды было по грудь, и она сразу же стала красной вокруг них, красной от крови.

— Тебя куда? — Чирва посмотрел на Духновича.

— В ногу, выше колена!

— А мне, кажись, ребро повредило... И все же мы его подбили! Это ж он горит!

Барахтаясь в воде, пробираясь к своему берегу, они увидели неподвижную глыбу пылающего танка. Рядом с ним, выглядывая башней из кювета, горел черным пламенем другой. А там, где тянулась их оборона, шел бой с третьим танком. Огромный, еще не подбитый, с черно-белым крестом на борту, он ходил по окопам, ломал деревья, а на него отовсюду из земли летели бутылки, лопались от удара, разбрызгивая желтое пламя, пока и этот, наконец, не вспыхнул; люк его тогда открылся, и из него показались поднятые костлявые руки фашиста.

Пройдет время, немецкие военные историки будут исследовать эти дни. Они напишут, что внезапные дожди помешали их танкам быстро овладеть Уманью, Белой Церковью, но мы-то будем знать, что не о дождях пойдет речь,— это будет сказано о тебе, пехота с бутылками горючей смеси, о тебе, небольшой курсантский студбат, о всех вас, кадровики и резервисты, известные и безвестные подвижники сорок первого года, кто насмерть стоял на пылающих своих рубежах.

*Авторизованный перевод с украинского
М. Алексеева и И. Карабутенко.*

(Продолжение следует)



Судьба полковника Кантуэлла

О романе Эрнеста Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев»

Столетиями пленяла людей легенда о том, как в старинном городе Венеции израненный в битвах чужеземный воин поведал о себе своей трудной жизни юной патрицианке, и... «она его за муки полюбила, а он ее — за сострадание к ним».

Вспоминал ли об этом Эрнест Хемингуэй, когда писал роман «За рекой, в тени деревьев»? Ведь на страницах романа вновь возникает старая Венеция и на ее фоне — любовь израненного в битвах солдата Ричарда Кантуэлла и юной патрицианки Ренаты. Хемингуэй не раз писал, что Шекспир — его любимый писатель, которого он перечитывает каждый год. Да, наконец, в романе есть и прямая ссылка на трагедию Шекспира: раздумывая о своей любви к Ренате, Ричард Кантуэлл вспоминает Отелло и Дездемону.

...Полковнику Кантуэллу пятьдесят один год, у него хватает мужества преодолеть свой возраст, но раны подорвали здоровье, сердце отказывается служить. Ему бы перейти на положение инвалида, спокойно жить, беречь здоровье. Но тогда он не был бы героем Хемингуэя. Как и другие герои писателя, Ричард Кантуэлл не сдается перед лицом смерти. До последнего часа он продолжает жить, как и жил, не отказы-

ваясь ни от любимых занятий, ни от своих привычек и, уж конечно, не отступив от своей последней, большой, всепоглощающей любви.

Ричард Кантуэлл называет себя неудачником. С точки зрения военной карьеры так оно и есть: дослужившись во время войны до генеральской должности, он не был утвержден в звании генерала. Но такой ли уж он неудачник? Его последние дни скрашены любовью Ренаты, дружбой с простыми и хорошими людьми, привязанностью к Венеции, чьи каналы и дворцы, площади и переулки так превосходно описывает Хемингуэй.

Но любовь и смерть не исчерпывают содержания этого своеобразного многопланового романа. «За рекой, в тени деревьев» — книга о войне и мире, книга о поколении, вынесшем на своих плечах две мировые схватки. Многочисленные публицистические отступления и, прежде всего, воспоминания Ричарда Кантуэлла о войнах, в которых он участвовал, его размышления об американской действительности занимают в романе видное место. Книга пронизана высоким гуманизмом и по-настоящему демократична. Мысли и воспоминания ее главного героя звучат как взволнованная исповедь самого писателя. Вероятно, тут

сказалось и состояние автора в дни, когда он писал роман: в то время, в 1950 году¹, он медленно выздоравливал от заражения крови после несчастного случая на охоте, и жизнь его еще была под угрозой.

Так или иначе, «За рекой, в тени деревьев» — книга о современности. В ней затронуты вопросы, волнующие в наши дни все человечество. Она написана почерком зрелого Хемингуэя.

Есть писатели, чья авторская манера с годами меняется. Книга «За рекой, в тени деревьев» написана в иной манере, чем, например, «Прощай, оружие!»; добавим, что и повесть «Старик и море» не похожа, скажем, на «И восходит солнце». Но все произведения как раннего, так и позднего Хемингуэя несут отпечаток большого таланта, высокой искренности, безукоризненной честности. Недаром Хемингуэю принадлежат слова о том, что писателю «надо иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже».

От романа «За рекой, в тени деревьев» тянется нить к роману тридцатилетней давности «Прощай, оружие!» И тот, и другой направлены против войны. И в том, и в другом действие происходит в Италии. Переживания юного лейтенанта Генри из романа «Прощай, оружие!» порой оживают в воспоминаниях полковника Ричарда Кантуэлла: в годы первой мировой войны молодой Ричард был, как и Генри, лейтенантом итальянской армии, он сражался на том же участке фронта, где воевал и Генри.

Читатель встретит снова названия рек, гор, населенных пунктов, которые знакомы ему по роману «Прощай, оружие!», — Пьяве, Карсо, Баинзицца... Пусть читатель не удивляется приверженности автора к этим обильно политым людской кровью местам: в 1918 году там побывал сам Эрнест Хемингуэй, там проли-

лась его собственная кровь, там он подлучил свое первое тяжелое ранение.

Две мировые войны, через которые прошел Ричард Кантуэлл, оставили в его душе тяжкий след. Память о них гложет его, не дает ему покоя. Он должен рассказать правду, всю правду о войне хотя бы одному человеку — юной Ренате. Восстанавливая эпизоды войны — в частности операцию Хертгенского леса, — Хемингуэй, как видно, широко пользуется своими записями военного корреспондента. Он рисует картины военной страды с суровым реализмом и с той силой мастерства, которая делает для читателя зримыми грязь, кровь, тяжкий труд солдата. Пусть полковник Кантуэлл наедине с самим собой не чужд и таких рассуждений: «Сколько можно рассказать таких историй? Уйму, но что проку? Расскажи их хоть тысячу — войны не предотвратишь». Сам Хемингуэй держится, как видно, иного мнения, чем его герой: ведь если он рассказывает «такие истории», — значит, видит в этом прок.

Как и его друзья итальянцы, ветераны войны, Кантуэлл испытывает «настоящую, хорошую ненависть ко всем, кто на ней наживается», — недаром друзья называют свой шуточный орден именем спекулянта-миллиардера, который только и делает, что «придумывает новые и еще более выдающиеся подлости». Эрнест Хемингуэй вообще не жалуется богачей; тех же, кто греет руки на военном пожарище, он ненавидит особенно остро.

Не терпит он и верхушку американской армии, всяких не нюхавших пороху дельцов и политиканов в генеральских мундирах типа Уолтера Беделла Смита. Им, для кого армия и война прежде всего — грандиозный бизнес, достается от автора в этом романе едва ли не больше всего. Быть может, отдельные характеристики, которыми Ричард Кантуэлл наделяет военных и государственных деятелей США, в известной мере субъек-

¹ Перевод романа сделан по исправленному автором изданию, опубликованному в 1958 году.

тивны, — в целом перед нами развертывается колоритная картина, ничуть не потерявшая своей актуальности с тех пор, как была написана.

С большой горечью отзывается Ричард Кантуэлл об официальной Америке. Хемингуэй вкладывает ему в уста слова: «Теперь нами правят всякие подонки. Отбросы вроде тех, которые остаются на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков. А помещение еще не проветрено и на разбитом роле бренчит тапер-любитель». Горечь Кантуэлла — горечь самого Хемингуэя.

Эрнест Хемингуэй остался верен и своей ненависти к фашизму — священной ненависти, которая побудила его когда-то не только поставить свое перо на службу правому делу республиканской Испании, но и — на собственный счет, набрав в издательствах авансы, — снарядить ей в помощь санитарную автоколонну. Нечего и говорить, что американская реакция не простила Хемингуэю его поддержки республиканской Испании, как не прощает ему сейчас его выступлений в защиту кубинской революции.

Роман «За рекой, в тени деревьев» был опубликован в год, когда началась война в Корее и достигла своего апогея холодная война, а маккартистская реакция в США превзошла самое себя в безудержном разгуле. Именно тогда Хемингуэй включил в свою книгу такой диалог американского полковника Ричарда Кантуэлла с одним из его итальянских друзей:

«— А как вы относитесь к русским, полковник, если это, конечно, не секрет?»

— Говорят, это наш будущий враг. Так что мне, как солдату, может, придется с ними драться. Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, больше похожего на нас».

Сказать за океаном такие слова о советском народе в ту глухую пору мог только наш друг.

Эрнест Хемингуэй один из признанных корифеев мировой литературы. Это придает его голосу на Западе особую силу. К нему прислушиваются широкие слои интеллигенции — и не только интеллигенции. Понятно, что это лишь обостряет неприязнь, которую вызывают у американской реакции неугодные ей произведения писателя.

Не надо поэтому удивляться, что американская критика встретила в штыки роман «За рекой, в тени деревьев». В десятках критических статей газеты и журналы издательских монополий хором объявили новый роман «провалом» Хемингуэя. Разумеется, роман ругали не за его антивоенное содержание и тем более не за горькие слова, сказанные автором в адрес Америки денежного мешка и Пентагона. Его поносили за мнимые художественные недостатки: так проще было разделаться с неугодной книгой. В частности, утверждали, что, поскольку новая книга Хемингуэя не похожа на его ранние произведения, она является шагом назад. Кричали, что Хемингуэй исписался, кончился.

Прием не новый!

Как мы уже отмечали, авторская манера Хемингуэя с годами меняется. Это, между прочим, отлично знает сам писатель. В одном из своих недавних интервью он, например, говорил: «...Я писал коряво; вот эту мою корявость и называли моим особенным стилем». Во всяком случае, нелепо отвергать Хемингуэя периода его творческой зрелости, ссылаясь на то, что он отошел от Хемингуэя раннего.

Мы не ставили себе задачу дать исчерпывающий анализ художественных достоинств этого романа. Несомненно одно: книга «За рекой, в тени деревьев» — важный этап в творчестве Хемингуэя, еще одно свидетельство его силы как художника слова, как человека, люто ненавидящего войну и фашистское мракобесие.

Эрнест Хемингуэй

ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

РОМАН

Глава первая

Они выехали за два часа до рассвета, и сначала им пришлось взламывать лед на канале, потому что впереди шли другие лодки. На каждой лодке стоял гребец с длинным кормовым веслом, в темноте их не было видно, и только слышался плеск воды. Охотник сидел на стульчике, укрепленном на крышке ящика, где лежали еда и патроны, а ружья — два или даже больше — были прислонены к груде деревянных чучел. В каждой лодке был мешок с парой подсадных уток или уткой и селезнем; в каждой лодке сидела собака, собаки дрожали и метались, слыша над головой шум крыльев пролетающих во тьме уток.

Четыре лодки пошли вверх по главному каналу на север к большой лагуне. Пятая свернула в боковой канал. А вот теперь и шестая лодка повернула к югу, в неглубокую лагуну, затянутую льдом.

Лед был сплошной; воду схватило в эту безветренную ночь, когда вдруг ударил мороз; упругий покров только гнулся под ударами кормового весла. Потом он лопался с треском, как оконное стекло, но лодка почти не двигалась.

— Дайте-ка весло, — сказал охотник в шестой лодке. Он встал и, сохраняя равновесие, расставил ноги. Ему было слышно, как в темноте пролетают утки, а в лодке шарахается с места на место собака. С севера доносился треск льда, который ломали другие лодки.

— Осторожно, — предупредил лодочник с кормы. — Не переверните лодку.

— Я в этом деле не новичок, — сказал охотник.

Он взял у лодочника длинное весло, наклонился и проткнул лед. Почувствовав твердое дно, он уперся грудью в широкую лопасть весла и, держа его обеими руками, оттолкнул лодку так, что весло очутилось возле самой кормы, а лодка двинулась вперед, ломая ледяную корку. Когда лодка врезалась в лед, а потом садилась на него днищем, лед раскалывался, как зеркальное стекло, и гребец на корме вел ее дальше по чистой воде.

Немного погодя охотник — он мерно, напряженно работал веслом и вспотел в теплой одежде — спросил лодочника:

— А где же наша бочка?

— Там, левее. В заливе рядом.

— Может, мне пора сворачивать?

— Воля ваша.

— Что значит «воля ваша»? Вы ведь знаете, какая здесь глубина. Хватит тут воды, чтобы прошла лодка?

— Кто его знает? Вода спала.

— Пока мы будем канителиться, совсем рассветет.

Лодочник молчал.

Ах ты, черт собачий,— подумал охотник.— Ничего, доедем. Мы уже проплыли две трети пути, а если тебе неохота разбивать лед, чтобы я мог пострелять уток, это просто подло с твоей стороны!

— А ну-ка поднатужься, хлюст ты этакий! — сказал он по-английски.

— Что? — спросил по-итальянски лодочник.

— Я говорю, что надо двигаться. Скоро рассветет.

Но уже светало, когда они, наконец, доплыли до большой дубовой бочки, врытой в дно лагуны. Бочку окружала покатая земляная насыпь, которую засадили камышом и осокой; охотник потихоньку ступил на нее и почувствовал, как мерзлые стебли ломаются у него под ногой. Лодочник вытащил из лодки складной стул с ящиком для патронов и передал охотнику; тот наклонился и поставил его на дно бочки.

На охотнике были высокие болотные сапоги и старая походная куртка с нашивкой на левом плече — никто не понимал, что это за нашивка, — и светлыми пятнышками на погонах, где раньше были звездочки; он спустился в бочку, и лодочник подал ему оба ружья.

Прислонив ружья к стенке бочки, он повесил между ними, на вбитых специально для этого крючьях, второй патронташ, а затем поудобнее расставил ружья по обе стороны патронташа.

— Вода есть? — спросил он у лодочника.

— Нет,— ответил тот.

— А воду из лагуны пить можно?

— Нет. От нее болеют.

Охотник устал, разбивая лед, ему хотелось пить, он чувствовал, что начинает злиться, но сдержался.

— Хотите, я помогу разбивать лед и ставить чучела?

— Не надо,— ответил лодочник и с остервенением толкнул лодку на тонкий лед, который под ее тяжестью треснул и раскололся. Лодочник стал колотить по льду веслом, а потом швырять деревянные чучела во все стороны.

Что это он ярится,— думал охотник.— Ведь он здоров, как бык. Я выбился из сил по дороге сюда, а он едва-едва нажимал на весло. Какая муха его укусила? Это же его работа!

Он приладил складной стул так, чтобы можно было свободно поворачиваться направо и налево, распечатал коробку с патронами и набил ими карманы, потом распечатал еще одну коробку, но оставил ее наготове, в патронташе. Перед ним в утреннем свете поблескивала стеклянная поверхность лагуны, а на ней виднелась черная лодка, крупное, могучее тело лодочника, разбивающего веслом лед и швыряющего за борт чучела так, словно он хотел поскорее избавиться от чего-то необходимого.

Рассвело, и охотник увидел низкие очертания ближней косы по ту сторону лагуны. Он знал, что за этой косой стоят еще две бочки, дальше опять идут болота, а за ними — открытое море. Он зарядил оба ружья и прикинул в уме расстояние до лодки, которая расставляет чучела.

Позади он услышал приближающийся шелест крыльев, присел, выглядывая из-за края бочки, взял правой рукой ружье справа от себя, потом встал, чтобы выстрелить по двум уткам, которые косо падали на чучела, притормаживая крыльями, — по двум черным уткам на фоне серого, тусклого неба.

Втянув голову в плечи, он широко занес ружье, вскинул ствол, целясь туда, куда летела утка, а потом, не глядя, попал он или нет, плавно поднял ружье, целясь выше и левее того места, куда летела другая утка, и, нажав курок, увидел, как, сложив на лету крылья, она упала среди чучел и осколков льда. Поглядев направо, он заметил и первую утку — черное пятно на том же льду. Он знал, что правильно выстрелил и в первую утку, взяв много правее лодки, да и во вторую тоже, высоко подняв ствол и отведя его влево, давал утке уйти повыше, левее и чтобы лодка не попала под огонь. Это был отличный дублет — аккуратный и точный, с должной заботой о безопасности лодки, и, перезаряжая ружье, он был очень доволен собой.

— Эй, послушайте, — крикнул ему лодочник. — А ну-ка, не стреляйте по лодке!

Ах, будь я трижды проклят! — сказал себе охотник. — Отныне и веки веков!

— Бросайте свои чучела! — крикнул он лодочнику. — И побыстрее! Я не буду стрелять, пока вы не кончите, разве что прямо вверх. Лодочник ответил что-то невнятное.

Чепуха! — сказал себе охотник. — Он ведь это дело знает. И знает, что по дороге сюда я работал не меньше его. В жизни не стрелял аккуратнее и точнее. Чего же он взъелся? Я ведь предлагал ему вместе ставить чучела. Да ну его ко всем чертям!

Справа лодочник все еще злобно колотил по льду и расшвыривал чучела уток, и каждое его движение было полно ненависти.

Нет, я не дам тебе испакостить мне утро, — подумал охотник. — Если солнце не растопит лед, много тут не настреляешь. Несколько штук — и все, так что я не дам тебе изгадить мне охоту! Кто его знает, сколько раз мне еще придется стрелять уток, — я не позволю, чтобы мне испортили эту охоту!

Он смотрел, как за длинной болотной косой светлеет небо, а потом, повернувшись в бочке, поглядел на замерзшую лагуну, на болота и на снежные горы вдаль. Он сидел так низко, что предгорий не было видно, и вершины отвесно поднимались над плоской равниной. Глядя на горы, он чувствовал, как в лицо ему тянет ветерком, и понял, что с восходом солнца задует ветер, потревожит птиц и они непременно прилетят сюда с моря.

Лодочник кончил расставлять чучела. Они плавали на воде двумя стайками: перед бочкой, чуть-чуть левее ее, в той стороне, откуда встанет солнце, и справа от охотника. Вот он выбросил за борт посадную утку вместе с привязью и якорем, и живой манок стал окунать голову в лагуну — высовывал, снова погружал и расплескивал у себя по спине воду.

— А не расколоть ли еще немножко льда по краям? — крикнул охотник лодочнику. — Слишком мало чистой воды, — они не сядут.

Лодочник ничего не ответил, но стал колотить веслом по рваной кромке льда. Ломать лед было не к чему, и лодочник это знал. Но охотник этого не знал и думал: непонятно, что с ним происходит. Я не дам ему испакостить мне охоту. Не желаю, чтобы ей что-нибудь помешало, и ему не дам! Каждый выстрел теперь, может быть, мой последний выстрел, и я не позволю какому-то сукиному сыну портить мне охоту! Спокойно, мальчик, только не злись, — говорил он себе.

Глава впорая

Но он уже не мальчик. Ему пятьдесят, и он полковник пехотных войск армии Соединенных Штатов. И для того чтобы пройти медицинский осмотр за день до поездки в Венецию на охоту, он проглотил столько нитроглицерина, сколько было нужно для того, чтобы... он и сам толком не знал для чего; для того чтобы пройти этот осмотр, уверял он себя.

Врач выслушивал его с явным недоверием. Но, дважды измерив давление, все же занес цифры в карточку.

— Понимаешь, какое дело, Дик, — сказал он. — Тебе это не рекомендуется; больше того, при повышенном внутриглазном и внутричерепном давлении это противопоказано!

— Не понимаю, — сказал охотник, который только собирался стать охотником и пока что был полковником пехотных войск армии Соединенных Штатов, а раньше занимал генеральскую должность.

— Я ведь не первый день вас знаю, полковник. А может, мне только кажется, что я вас знаю давно?

— Нет, тебе это не кажется, — сказал полковник.

— Что-то мы оба будто романс запели, — сказал врач. — Только, смотри же стукнись обо что-нибудь твердое и следи, чтобы в тебя не попала искра, раз ты так набит нитроглицерином! Хорошо бы на тебя навесить предохранительный знак, как на цистерну с горючим.

— А кардиограмма у меня в порядке? — спросил полковник.

— Кардиограмма у вас, полковник, замечательная! Не хуже, чем у двадцатипятилетнего. Да, такой кардиограмме позавидуешь и в девятнадцать лет!

— Тогда чего же тебе надо? — спросил полковник.

Когда наглотаешься нитроглицерина, иногда немного подташнивает; ему хотелось, чтобы осмотр поскорее кончился. Ему хотелось поскорее лечь и принять соду. Эх, я мог бы написать руководство по тактике обороны для взвода с высоким давлением, — подумал он. Жаль, что нельзя ему этого сказать. А почему бы в сущности не сознаться и не попросить у суда снисхождения? — Не сможешь, — сказал он себе. Так до конца и будешь твердить, что невиновен.

— Сколько раз ты был ранен в голову? — спросил врач.

— Ты же знаешь, — ответил полковник. — В формуляре сказано.

— А сколько раз тебе попадало по голове?

— О господи! — Потом он спросил: — Ты спрашиваешь официально или как мой личный врач?

— Как твой личный врач. А ты думал, что я хочу тебе подложить свинью?

— Нет, Вес, не думал. Прости меня, пожалуйста. Что ты спросил?

— Сколько у тебя было контузий?

— Серьезных?

— Когда ты терял сознание или ничего не мог вспомнить.

— Штук десять, — сказал полковник. — Считая и падение с лошади. А легких — три.

— Ах ты, старый хрен, — сказал врач. — Вы уж меня извините, господин полковник!

— Ну как, можно идти? — спросил полковник.

— Да, господин полковник, — сказал врач. — У вас все в порядке.

— Спасибо. Хочешь, поедем со мной, постреляем уток на болотах в устье Тальяменто? Чудная охота. Там именно одних славных итальянских мальчишек: я с ними познакомился в Куртине.

— А болота — это где стреляют куликов?

— Нет, в тех местах охотятся на настоящих уток. Парнишки очень славные. И охота чудная. Настоящие утки. Гоголи, шилохвостки, чирки. Даже гуси попадаются. Не хуже, чем у нас дома, когда мы были ребятами.

— Но я-то был ребенком в тридцатом году.

— Вот это подлость! Не ожидал от тебя.

— Да я совсем не то хотел сказать. Я просто не помню, когда у нас хорошо было охотиться на уток. К тому же я рос в городе.

— Вот это и плохо! Всем вам, городским мальчишкам, грош цена!

— Вы это серьезно, полковник?

— Конечно, нет. Какого черта ты спрашиваешь?

— Со здоровьем у вас все в порядке, полковник, — повторил врач. — Жалко, что я не могу с тобой поехать. Но я и стрелять не умею.

— Ну и черт с ним, — сказал полковник. — Какая разница? У нас в армии никто не умеет стрелять. Мне очень хотелось, чтобы ты со мной поехал.

— Я вам дам еще одно лекарство, добавок к тому, что вы принимаете.

— А разве есть такое лекарство?

— По правде говоря, нет. Хотя они там что-то придумывают.

— Ну и пусть придумывают, — сказал полковник.

— Весьма похвальная жизненная позиция, господин полковник.

— Иди к черту. Так ты не хочешь со мной ехать?

— С меня хватит уток в ресторане «Лоншан» на Медисон-авеню, — сказал врач. — Летом там кондиционированный воздух, а зимой тепло. Не надо вставать чуть свет и напяливать на себя теплые кальсоны.

— Ладно, городской пижон. Что ты понимаешь в жизни?

— И никогда не хотел понимать, — сказал врач. — А со здоровьем у вас все в порядке, господин полковник.

— Спасибо, — сказал полковник и вышел.

Глава трепья

Это было позавчера. А вчера он выехал из Триеста в Венецию по старой дороге, которая шла от Монфальконе до Латизаны и потом прямо по равнине. Шофер у него был хороший, и он спокойно привалился к спинке переднего сиденья, поглядывая на места, которые знал еще мальчишкой.

Сейчас они выглядят совсем иначе, — думал он. — Наверно потому, что расстояния кажутся другими. Когда стареешь, всё как будто становится меньше. Да и дороги теперь получше и пыли такой нету. Когда-то я проезжал здесь на грузовике. Но чаще мы ходили пешком. Все, о чем я тогда мечтал, — это найти хоть клочок тени для привала и колодец на крестьянском дворе. И, конечно, — канаву. Ну до чего же меня в те времена привлекали канавы!

Они свернули и переехали по временному мосту через Тальяменто. Берега зеленели, а на той стороне, где было поглубже, какие-то люди удили рыбу. Взорванный мост восстанавливали, гулко стучали клепальные молотки, а в восьмистах ярдах от моста стояли разрушенный дом и службы; по развалинам усадьбы, когда-то построенной Лонгеной¹, было видно, где сбросили свой груз средние бомбардировщики.

— Нет, вы подумайте, — сказал шофер. — У них что ни мост, что ни станция — кругом на целые полмили одни развалины.

¹ Лонгена Бальдассаре (1598—1682) — итальянский архитектор родом из Венеции.

— Отсюда мораль, — сказал полковник, — не строй себе дом или церковь и не нанимай Джотто писать фрески, если твоя церковь стоит в полумиле от моста.

— Я так и знал, господин полковник, что тут должна быть своя мораль, — сказал шофер.

Они миновали разрушенную виллу и выехали на прямую дорогу; в кюветах, обсаженных ивами, еще стояла темная вода, а на полях росли шелковицы. Впереди ехал велосипедист и читал газету, держа ее обеими руками.

— Если летают тяжелые бомбардировщики — другая мораль: отступи на целую милю, — сказал шофер. — Правильно, господин полковник?

— А если управляемые снаряды, — то не на одну, а на двести пятьдесят миль. Ну-ка, погудите велосипедисту!

Шофер погудел, и тот съехал на обочину, так и не взглянув на них и не притронувшись к рулю. Когда они проезжали мимо, полковник высунулся, чтобы поглядеть, какую он читает газету, но заголовка не было видно.

— По-моему, теперь вообще не стоит строить себе красивых домов или церквей и нанимать этого, как его — как вы его назвали? — писать фрески.

— Джотто. Но это мог быть и Пьеро делла Франческа и Мантенья. И даже Микеланджело.

— Вы, видно, здорово знаете всех этих художников?

Теперь они ехали по прямому отрезку дороги и, стараясь наверстать время, гнали так, что один крестьянский дом словно наплывал на другой; они почти сливались друг с другом, и видно было только то, что находилось далеко впереди и двигалось навстречу. За боковым стеклом тянулся безликий плоский пейзаж зимней равнины. Я, пожалуй, не так уж люблю быструю езду, — думал полковник. — Хорош был бы Брейгель, заставь его наблюдать натуру из мчащегося автомобиля!

— Художников? — переспросил он. — Да нет, Бернхем, не так уж много я про них знаю.

— Моя фамилия Джексон, господин полковник. Бернхема послали отдыхать в Кортину. Хорошее место, господин полковник.

— У меня, видно, память сдавать стала, — сказал полковник. — Простите, Джексон. Да, место там хорошее. Кормят недурно. Уход приличный. И никто к тебе не пристаёт.

— Это верно, господин полковник, — согласился Джексон. — Но я вас спросил о художниках из-за всех этих мадонн. Я решил, что и мне надо посмотреть картины, и пошел во Флоренции в самое большое заведение, какое у них там есть.

— Уффици? Питти?

— Понятия не имею, как оно называется. Но самое большое, какое там есть. Смотрел я, смотрел, пока меня от этих мадонн не замутило. Верно, тот, кто в этих картинах мало разбирается, только и видит что одних мадонн, и очень ему от этого мучительно! Знаете, что мне кажется? Вы, верно, заметили, как все они тут помешаны на этих своих бамбини¹, и чем меньше у них еды, тем больше у них бамбини, а им все мало! Вот я и думаю, что их художники тоже были большими любителями бамбини, как все итальянцы. Не знаю, те ли именно, кого вы назвали, и поэтому о них разговор особый, да вы меня поправите, если я что скажу не так. Но мне лично сдается, что все эти мадонны, — а я их, ей-богу, навидался досыта, — или, вернее сказать, все эти художники, которые только и знали что рисовать мадонн... у

¹ Bambini — дети (итал.).

всех у них только и было на уме что бамбини... не знаю, поймете вы меня или нет...

— Не надо забывать, что им приходилось писать на одни религиозные сюжеты.

— Это конечно, господин полковник. Значит, вы считаете, что взгляд мой правильный?

— Пожалуй. Только дело тут все же обстоит сложнее.

— Понятно, господин полковник. Взгляд мой на это дело еще не вполне окончательный.

— А у вас есть еще какие-нибудь взгляды насчет искусства?

— Нет, господин полковник. Пока что я додумался только насчет бамбини. Но чего бы мне хотелось, это чтобы они покрасивей нарисовали ту горную местность вокруг Кортины.

— Там родина Тициана, — сказал полковник. — Так по крайней мере считают. Я спустился в долину и видел дом, где, как говорят, он появился на свет.

— Шикарное место, господин полковник?

— Не очень.

— Ну что ж, если он рисовал картины с тех гор, — там такие скалы, ну прямо в цвет заката, сосны, кругом снег и остроконечные шпили...

— Campaniles, — сказал полковник. — Такие, как там впереди — в Чеджии. Колокольни.

— Ну что ж, если он в самом деле красиво срисовывал картины с той местности, я бы не прочь у него даже парочку купить.

— Он замечательно писал женщин, — сказал полковник.

— Вот если бы я держал кабак или трактир или постоялый двор, тогда мне пригодилась бы и женщина, — сказал шофер. — Но не дай бог я привезу домой картину с женщиной — моя старуха мне покажет! Костей не соберешь.

— Вы могли бы подарить картину местному музею.

— Господи, да что там у нас в музее? Наконечники стрел, боевые уборы из перьев, ножи для снятия скальпов, разные скальпы, рыбы окаменелости, трубка мира, фотографии Пожирателя Печенки Джонстона и шкура какого-то проходимца, — его сперва повесили, а потом какой-то доктор содрал с него шкуру. Картина с женщиной там уж совсем некстати.

— Видите campanile по ту сторону равнины? — спросил полковник. — Я вам покажу место, где мы воевали, когда я был мальчишкой.

— Вы разве и тут воевали, господин полковник?

— Да.

— А у кого в ту войну был Триест?

— У фрицев. Точнее говоря, у австрияков.

— Но мы его все же у них забрали?

— Только потом, когда кончилась война.

— А у кого были Флоренция и Рим?

— У нас.

— Ну что ж, тогда вам плакать было не о чем.

— «Господин полковник», — мягко поправил полковник.

— Простите, господин полковник, — пробормотал шофер. — Я был в тридцать шестой дивизии, господин полковник.

— Я видел у вас нашивку.

— Я как раз вспомнил Рапидо¹, господин полковник, а вовсе не хотел быть нахальным или грубить начальству.

¹ Река Рапидо, где в январе 1944 года были тяжелые бои при попытке союзных войск выйти к Риму, обойдя Кассино. Большие потери понесла 36-я пехотная дивизия США.

— Верю,— сказал полковник.— Вы просто вспомнили Рапидо. Но, имейте в виду, Джексон, у всякого, кто долго воевал, было свое Рапидо, и даже не одно.

— Ну, больше одного я бы не вынес, господин полковник.

Машина въехала в веселый городок Сан-Дона-ди-Пьяве. Его заново отстроили, но он от этого не стал уродливее любого городка Центрального Запада США. Он выглядит таким процветающим,— думал полковник,— а Фоссальта чуть выше по реке — такой нищей и унылой. Неужели Фоссальта так и не оправилась после первой войны? Но я ведь не видел ее до того, как ее разбомбили,— подумал он.— Город здорово обстреливали перед большим наступлением 15 июня 1918 года. А потом и мы по нему били перед тем, как взять обратно. Он вспоминал, как началась атака — от Монастые, через Форначе, — в этот зимний день он вспоминал о том, что случилось в то лето.

Несколько недель назад он проехал через Фоссальту и спустился к реке на то место, где его когда-то ранило. Место это нетрудно было найти — здесь у реки был изгиб; там, где когда-то стояли тяжелые пулеметы, воронка густо заросла травой. Козы или овцы выщипали траву, и впадина стала похожа на выемку для игры в гольф. Река текла медленно, она была мутно-синяя и заросла по берегам камышом; пользуясь тем, что кругом ни души, полковник присел на корточки и, глядя за реку с того берега, где раньше днем нельзя было и головы поднять, облегчился на том самом месте, где тридцать лет назад он, по его расчетам, был тяжело ранен.

— Не бог весть какое достижение,— сказал он реке и берегу, наполненным осенней тишиной и сыростью после обильных дождей.— Но зато лично мое.

Он встал и огляделся. Вокруг никого не было; машину он оставил на дороге перед крайним и самым унылым из новых домов Фоссальты.

— А теперь я дострою памятник,— сказал он, хотя слышать его могли одни мертвецы, и вынул из кармана старый золингенский складной нож, какие носят немецкие браконьеры. Нож щелкнул; повертев им, он выкопал в сырой земле аккуратную ямку. Обтерев нож о правый сапог, он сунул в ямку коричневую бумажку в десять тысяч лир, притоптал ямку и прикрыл дерном.

— Двадцать лет по пятьсот лир в год за *Medaglia d'Argento al Valore Militare*¹. За Крест Виктории, если не ошибаюсь, платят десять гиней. За «Отличную службу» не дают ни гроша. За «Серебряную Звезду» тоже. Ладно, сдачу я оставляю себе.

Вот, теперь все в порядке,— думал он.— Дерьмо, деньги и кровь; погляди только, как растет здесь трава; а в земле ведь железо, и нога Джино, и обе ноги Рандольфо и моя правая коленная чашечка! Прекрасный памятник! В нем есть все — залог плодородия, деньги, кровь и железо. Чем не держава? А где плодородная земля, деньги, кровь и железо — там родина. Но нам нужен еще и уголь. Надо достать немножко угля.

Потом он посмотрел за реку на вновь отстроенный белый дом, который тогда был грудой развалин, и плюнул в реку. Он стоял далеко от воды и доплюнул с трудом.

— Я никак не мог сплунуть в ту ночь и долго еще после этого,— сказал он.— Но теперь я не плохо плюю для человека, который не жует резинку.

Он медленно пошел назад к машине. Шофер спал.

¹ Серебряная медаль за военную доблесть.

— А ну-ка, проснитесь,— сказал он.— Разворачивайтесь, поедem по той дороге на Тревизо. В этих местах карта нам не нужна. Я скажу, где свернуть.

Глава четвертая

Теперь, по пути в Венецию, он держал себя в руках и старался не думать о том, как сильно его туда тянет, а большой бьюик миновал тем временем последние строения Сан-Доны и въехал на мост через Пьяве.

Они пересекли реку и очутились на итальянской стороне; он снова увидел старую дорогу с высокими откосами. Как и всюду вдоль реки, она была здесь ровная и однообразная. Но глаз его различал старые окопы. По обе стороны прямой, гладкой дороги, по которой они катили на полной скорости, текли обсаженные ивами каналы; когда-то в них плавали трупы. Наступление окончилось страшной бойней, солнце припекало, и чтобы расчистить позиции у реки и дорогу, кто-то приказал сбросить трупы в каналы. К несчастью, шлюзы в низовьях все еще находились в руках австрийцев и были на запоре.

Вода стояла почти без движения, и мертвые — их и наши — заправили каналы надолго, плавая лицом кверху или лицом книзу, пучась, раздуваясь и достигая чудовищных размеров. В конце концов, когда все поуспокоилось, рабочие команды стали по ночам вылавливать трупы и хоронить их у самой дороги. Полковник посмотрел, не видно ли на обочинах особенно пышной растительности, но ничего не заметил. А в каналах плавали утки и гуси, и вдоль всей дороги люди удили рыбу.

Да ведь их же всех вырыли,— подумал полковник,— и похоронили на том большом ossario¹ под Нервесой.

— Мы воевали тут, когда я был мальчишкой,— сказал полковник шоферу.

— Чертовски ровная местность, воевать здесь худо,— ответил шофер.— А реку держали вы?

— Да,— сказал полковник.— Мы держали ее, теряли и брали снова.

— Куда ни посмотришь, негде укрыться.

— В том-то и беда,— сказал полковник.— Приходилось цепляться за малейший бугорок, который не сразу и увидишь. За любую канаву, дом, откос на берегу канала, живую изгородь. Совсем как в Нормандии, только здесь еще ровнее. Наверно, так воевали в Голландии.

— Да уж, этой реке далеко до Рапидо.

— Тогда это была совсем не плохая речка,— сказал полковник.— Пока не построили все эти гидростанции, в верховьях воды было много. А когда она мелела, среди гальки вдруг открывались омуты, глубокие и коварные. Было там одно место — Граве-де-Пападополи,— вот где было особенно паршиво.

Он знал, что о чужой войне слушать очень скучно, и замолчал. Каждый смотрит на войну со своей колокольни,— подумал он.— Никто не интересуется войной отвлеченно, кроме разве настоящих солдат, а их немного. Вот, готовишь солдат, а лучших из них убивают. И потом, каждый так занят своими делами, что ничего не видит и не слышит. Думает только о том, что сам пережил, и пока ты говоришь, прикидывает, как бы похитрее ответить и добиться повышения или каких-нибудь выгод. Зачем же надоедать этому парню, который, не смотря на свою нашивку фронтовика, медаль за ранение и другие

¹ Кладбище (итал.).

побрякушки, вовсе не солдат; на него против воли напялили военную форму, а теперь он, видно, решил остаться в армии по каким-то своим соображениям.

— Чем вы занимались до войны, Джексон? — спросил полковник.

— Мы с братом держали гараж в Ролинсе, штат Вайоминг.

— Собираетесь туда вернуться?

— Брата убили на Тихом, а парень, на которого мы оставили гараж, оказался бездельником, — сказал шофер. — Мы потеряли все, что туда вложили.

— Обидно, — сказал полковник.

— Еще бы, черт его дери, не обидно, — сказал водитель и добавил: — господин полковник.

Полковник поглядел вперед на дорогу.

Он знал, что скоро будет перекресток, которого он ждал и никак не мог дожидаться.

— Глядите в оба и на первом развилке сверните влево на проселок, — сказал он шоферу.

— А вы уверены, что наша машина пройдет по этой низине?

— Посмотрим, — сказал полковник. — Какого черта, ведь дождей не было уже три недели.

— Что-то я не доверяю здешним проселкам. Кругом болота.

— Если мы застрянем, волю нас вытащат.

— Да я ведь беспокоюсь только о машине.

— А вы побеспокойтесь лучше о том, что я сказал, и сверните влево на первый же проселок, если он будет выглядеть мало-мальски сносно.

— Вот, кажется, и он, там, где изгородь, — сказал шофер.

— За нами дорога пустая. Остановитесь у самого развилка, а я выйду погляжу.

Он вылез из машины, перешел на другую сторону широкого асфальтированного шоссе и посмотрел на узкую грунтовую дорогу, на быстрое течение идущего вдоль нее канала и густую живую изгородь на том берегу. За изгородью виднелся приземистый красный крестьянский дом с большим амбаром. Дорога была сухая. Даже телеги не выбили на ней колеи. Он вернулся к машине.

— Бульвар, а не дорога, — сказал он. — Можете не беспокоиться.

— Слушаюсь, господин полковник. Машина-то ведь ваша.

— Верно, — сказал полковник. — Я еще до сих пор за нее не расплатился. Скажите, Джексон, вы всегда так переживаете, когда сворачиваете с шоссе на проселок?

— Нет, господин полковник. Но ведь одно дело виллис, а другое — машина с такой низкой посадкой, как эта. Вы же знаете, она может сесть на дифер. Можно и раму повредить.

— У меня в багажнике лопата и цепи. Вот когда выедем из Венеции, там действительно будет о чем беспокоиться.

— А мы поедem и дальше на этой машине?

— Не знаю. Посмотрим.

— Подумайте о крыльях, господин полковник.

— На худой конец подрежем крылья, как это делают индейцы в Оклахоме. Крылья у нее чересчур большие. Все у нее больше, чем надо, кроме мотора. Мотор у нее, Джексон, настоящий.

— Еще бы, господин полковник. Вести такую мощную машину по хорошему шоссе — одно удовольствие. Вот я и не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось.

— Это вы молодец, Джексон. Ну, а теперь бросьте переживать.

— Я не переживаю, господин полковник.

— Вот и отлично, — сказал полковник.

Сам он забыл обо всем, потому что как раз в эту минуту увидел парус, который мелькал впереди, за купой коричневых деревьев. Это был красный парус, косо и круто уходивший вниз, он медленно плыл за деревьями.

Почему всегда сжимается сердце, когда видишь, как вдоль берега движется парус? — подумал полковник. — Почему у меня сжимается сердце, когда я вижу больших, неторопливых, светлых быков? Дело, верно, в их поступи, во всем их виде, величине и окраске.

Но меня трогают и красивый крупный мул, и цепочка холеных вьючных мулов. И койот, всякий раз, когда я его вижу, и волк, который движется иначе, чем все другие звери, серый и такой уверенный в себе, гордо несущий свою тяжелую голову с недобрыми глазами.

— А вы видали когда-нибудь волков в окрестностях Ролинса, Джексон?

— Нет, господин полковник. С волками покончили, когда меня еще не было на свете; их всех потравили. Зато койотов у нас сколько угодно.

— Вам нравятся койоты?

— Я люблю слушать их по ночам.

— Я тоже. Больше всего на свете. Да еще — смотреть на парусные лодки, плывущие между берегов.

— Вон как раз идет такая лодка, господин полковник.

— По каналу Силе, — сказал полковник. — Этот парусник плывет в Венецию. Ветер дует с гор, и лодка идет довольно быстро. Если ветер не стихнет, ночью подморозит и уток будет видимо-невидимо. Сверните-ка налево и поезжайте вдоль канала. Дорога тут хорошая.

— В наших местах редко охотятся на уток. А вот в Небраске на реке Платт уток сколько угодно.

— Хотите поохотиться там, куда мы едем?

— Пожалуй, не стоит. Стрелок я неважный, лучше поваляюсь подольше. У меня ведь спальный мешок с собой. Завтра-то воскресенье.

— Это верно, — сказал полковник. — Можете валяться хоть до полудня.

— Я захватил порошок от клопов. Сосну как следует.

— Порошок, пожалуй, не понадобится, — сказал полковник. — А вы консервов из пайка захватили? Еда ведь там будет только итальянская,

— Как же, запаса. И самим хватит, и других угостить сможем.

— Вот и отлично, — сказал полковник.

Теперь он смотрел вперед: дорога, бежавшая вдоль канала, снова должна была выйти на шоссе. Он знал, что в такой ясный день, как сегодня, с развилка все будет видно. На болотах, бурых, как болота зимой в устье Миссисипи, вокруг Пайлоттауна, резкие порывы северного ветра пригибали к земле тростник; а вдали была видна квадратная башня церкви в Торчелло и высокая campanile в Бурано. Море было синевато-серым, как сланец, и он насчитал двенадцать парусников, плывущих по ветру в Венецию.

Придется подождать, пока переедем мост через Дезе под Ногерой, — сказал он себе, — тогда все будет видно, как на ладони. Подумать только — целую зиму мы защищали этот город тут, на канале, и ни разу его не видали. Но однажды я был в тылу, у самой Ногеры, день стоял холодный и ясный, как сегодня, и я впервые его увидел на той стороне залива. Но так туда и не попал. А все же это мой город, — я воевал за него еще мальчишкой, а теперь, когда мне полвека от роду, они знают, что я за него воевал, и я для них желанный гость.

Ты думаешь, что ты поэтому для них желанный гость? — спросил он себя.

Может быть. А может быть, потому, что я штабное начальство из армии победителей. Хотя вряд ли. Надеюсь, что нет. Это ведь тебе не Франция, — подумал он.

Там ты дерешься за какой-нибудь город, который тебе дорог, и дрожишь, как бы чего в нем не попортить, а потом, если только у тебя есть голова на плечах, ты и носа туда больше не покажешь: непременно напорешься на какого-нибудь воюку, который тебе не простил, что ты брал этот город. *Vive la France et les pommes de terre frites. Liberté, Venalité et Stupidité!*¹ Уж эта мне великая *clarté*² французской военной мысли. Не было у них ни одного военного мыслителя со времен дю Пика. Да и тот был несчастным полковником, вроде меня. Манжен³, Мажино⁴ и Гамелен⁵. Выбирайте по своему вкусу, господа! Три школы военной мысли. Первая: дам-ка я им в морду. Вторая: спрячусь за эту штуковину, хоть она у меня и левого фланга не прикрывает. Третья: суну голову в песок, как страус, и понадеюсь на военную мощь Франции, а потом пущусь наутек.

Пуститься наутек — это еще деликатно сказано. Впрочем, — подумал он, — справедливости ради не стоит слишком упрощать. Вспомни хороших ребят из Сопротивления, вспомни Фоша, — он ведь и воевал и сколачивал армию; вспомни, как прекрасно держались люди. Вспомни добрых друзей и вспомни погибших. Вспомни многое, еще разок вспомни самых лучших друзей и самых лучших ребят, которых ты знал. Не злись и не валяй дурака. И нечего тебе все сваливать на солдатское ремесло. Хватит, сказал он себе. Ты ведь поехал развлекаться.

— Джексон, — сказал он, — вам здесь нравится?

— Да, господин полковник.

— Отлично. Сейчас мы подъедем к одному месту, которое я хочу вам показать. Вы на него только разок поглядите, и все. Вся операция пройдет для вас совершенно безболезненно.

Чего это он на меня взъелся, — подумал шофер. — Вот воображает! Конечно, был важной шишкой! Но хороший генерал генералом бы и остался. Видно, его на войне так исколошматили, что все мозги вышибли.

— Вот посмотрите, Джексон, — сказал полковник. — Поставьте машину на обочину и давайте поглядим отсюда.

Полковник и шофер перешли через дорогу и посмотрели на другую сторону лагуны, — воду ее хлестал резкий, холодный ветер с гор, и контуры строений казались четкими, как на чертеже.

— Прямо перед нами Торчелло, — показал полковник. — Там жили люди, согнанные с материка вестготами. Они-то и построили вон ту церковь с квадратной башней. Когда-то тут жило тридцать тысяч человек; они построили церковь, чтобы почитать своего бога и воздавать ему хвалу. Потом, после того как ее построили, устье реки Силе занесло илом, а может, сильное наводнение погнало воду по новому руслу, всю эту землю, по которой мы сейчас ехали, затопило, расплодился комары, и люди стали болеть малярией. Они мерли, как мухи. Тогда собрались старейшины и решили переселиться в здоровую местность, которую можно оборонять с моря и куда вестготы, ломбардцы

¹ Да здравствует Франция и жареная картошка. Свобода, Продажность и Глупость! (франц.).

² Ясность (франц.).

³ Манжен Шарль — французский генерал (1866—1925).

⁴ Мажино Андре — французский военный министр, организатор сооружения «линии Мажино» (1877—1932).

⁵ Гамелен Морис — французский генерал, в начале второй мировой войны главнокомандующий французской армией (1872—1958).

и прочие разбойники не смогут добраться потому, что у этих разбойников нет морских судов. А ребята из Торчелло все были отличными моряками. Вот они и разобрали свои дома, камни погрузили на барки вроде той, какую мы сейчас видели, и выстроили Венецию.

Он замолчал.

— Вам не скучно это слушать, Джексон?

— Нет, господин полковник. Я и понятия не имел, кто пришел сюда первый, как наши пионеры.

— Люди из Торчелло. Это были лихие ребята, и строили они хорошо, с большим вкусом. Они вышли из деревушки Каорле, там выше по побережью, а во время нашествия вестготов к ним сбежалось все население окрестных городов и сел. И один парень, который возил оружие в Александрию, нашел там тело святого Марка и вывез его, спрятав под свиными тушами, чтобы мусульманские таможенники не нашли. Он тоже был из Торчелло. Этот парень привез тело в Венецию, и теперь святой Марк — их покровитель, и они построили ему собор. Но к тому времени они уже торговали с далекими восточными странами, и архитектура у них стала, на мой взгляд, слишком византийской. Никогда они не строили лучше, чем в самом начале, в Торчелло. Вот оно, Торчелло.

— А площадь Святого Марка это там, где много голубей и где стоит такой громадный собор, вроде шикарного кинотеатра?

— Вот именно, Джексон. Это вы точно подметили. Все ведь зависит от того, как на что посмотреть. А теперь поглядите туда, за Торчелло, видите ту красивую *сампаниле* на Бурано? У нее почти такой же наклон, как у падающей башни в Пизе. Бурано — густо населенный островок, женщины там плетут прекрасные кружева, а мужчины делают бамбини, днем они работают на стекольных заводах вот на том островке по соседству с другой *сампаниле*, это — Мурано. Днем они делают прекрасное стекло для богачей всего мира, а потом возвращаются домой на маленьком *вароетто*¹ и делают бамбини. Однако не все они проводят каждую ночь в постели с женой. По ночам они еще охотятся на уток по кромке болот в этой лагуне; они охотятся на плоскодонках с длинными ружьями. В лунную ночь выстрелы слышны до самого утра.

Он умолк.

— А там, за Мурано, — Венеция. Это мой город. Я бы мог еще много вам тут показать, да, пожалуй, пора ехать. Но вы все же взгляните еще раз хорошенько. Отсюда все видно, и можно понять, как родился этот город. Только никто с этого места на него не смотрит.

— Вид очень красивый. Спасибо, господин полковник.

— Ладно, — сказал полковник. — Поехали.

Глава пятая

Но сам он продолжал смотреть, и город казался ему таким же прекрасным и волновал ничуть не меньше, чем тогда, когда ему было восемнадцать и он увидел его впервые, ничего в нем не понял и только почувствовал, как это красиво. Зима в тот год стояла холодная и горы за равниной совсем побелели. Австрийцам надо было во что бы то ни стало прорваться в том месте, где река Силе и старое русло Пьяве создавали естественную преграду.

Если удержишь старое русло Пьяве, в тылу остается Силе, за которую можно отступить, когда прорвут первую линию обороны.

¹ Пароходик (итал.).

За Силе не было уже ничего, кроме голой, как плешь, равнины и густой сети дорог; они вели в долины Венето и Ломбардии, и австрийцы всю зиму атаквали снова, снова и снова, чтобы выбраться на эту отличную дорогу, по которой машина катила теперь прямо в Венецию. В ту зиму у полковника — тогда он был лейтенантом и служил в иностранной армии, что потом всегда казалось чуть-чуть подозрительным в его собственной армии и порядком испортило его карьеру, — болело горло. Болело оно потому, что приходилось без конца торчать в воде. Обсушиться не удавалось при всем желании, и лучше было поскорее промокнуть до нитки да так и оставаться мокрым.

Австрийские атаки были плохо организованы, но шли одна за другой с большим ожесточением; сперва обрушивался артиллерийский огонь, который должен был подавить сопротивление, потом он прекращался, и можно было оглядеть свои позиции и сосчитать людей. Позаботиться о раненых было некогда: начиналась атака, — и тогда убивали австрийков, которые наступали по болоту, поднимая над водой винтовки и бредя еле-еле, как только и можно брести по пояс в воде.

Не знаю, что бы мы делали, если бы они не прекращали обстрела перед атакой, — часто думал полковник, бывший в то время лейтенантом. Но перед самой атакой они всегда прекращали его и переносили огонь вглубь.

Если бы мы потеряли старое русло Пьяве и отошли к Силе, противник перенес бы огонь на вторую и третью линии обороны, хотя и ту, и другую все равно невозможно было удержать, и австрийцам следовало бы подтянуть всю артиллерию поближе и бить, не переставая, во время самой атаки, пока не прорвутся. Но слава богу, — думал полковник, — командует всегда какой-нибудь высокопоставленный оболтус, вот они и действовали несогласованно.

Всю ту зиму он болел тяжелой ангиной и убивал людей, которые шли на него с гранатами, пристегнутыми к ремням португали, тяжелыми ранцами из телячьей кожи, в касках, похожих на котелок. Это был враг.

Но он никогда не питал к ним вражды, да и вообще каких бы то ни было чувств. Он командовал, обвязав горло старым носком, смоченным в скипидаре, и они отбивали атаки ружейным огнем и огнем пулеметов, которые еще были целы после очередного артиллерийского налета. Он научил своих людей стрелять — редкое в европейских войсках искусство, научил их глядеть в лицо наступающему врагу, и, поскольку всегда выпадают минуты затишья, когда можно спокойно поучиться, они стали отличными стрелками.

Но после артиллерийского обстрела всякий раз приходилось считать — и считать быстро, — сколько у тебя стрелков. Его самого трижды ранило в ту зиму, но раны все были удачные — легкие ранения в ткани, не задевшие костей, и это внушило ему твердую веру в свое бессмертие, — ведь его давно должны были убить во время одного из ураганных обстрелов перед какой-нибудь атакой. В конце концов и ему попало как следует, на всю жизнь. Ни одна из его ран не оставила такого следа, как это первое тяжелое ранение. Наверно, — думал он, — я тогда потерял веру в бессмертие. Что ж, в своем роде это немалая потеря.

Этот край был ему дорог, дороже, чем он мог или хотел кому-нибудь признаться, и теперь он был счастлив, что еще полчаса — и они будут в Венеции. Полковник принял две таблетки нитроглицерина; он был мастер плевать, только тогда, в восемнадцатом году, у него не хватало слюны, чтобы проглотить таблетку, ничем не запивая.

— Как дела, Джексон? — спросил он.

— Отлично, господин полковник.

— Сверните у развилка на Местре влево — мы увидим лодки на канале, да и движение там потише.

— Слушаюсь, господин полковник. Вы мне покажете этот развилок?

— Конечно, — сказал полковник.

Они быстро приближались к Местре, и он снова испытал то чувство, какое у него было, когда он впервые подъезжал к Нью-Йорку, а тот весь сверкал — белый и красивый. Тогда там еще не все было затянуто дымом. Мы подъезжаем к моему городу, — думал он. — Господи, какой это город!

Свернув влево, они поехали вдоль канала, где стояли у причалов рыбацьи лодки, и полковник наслаждался, глядя на коричневые сети, и плетеные садки, и строгую, красивую форму лодок. Нет, живописными их не назовешь. Живописность — это дерьмо. Они просто дьявольски красивы.

Машина миновала длинную вереницу лодок; эти медленные воды канала текли из Brentы, и он вспомнил берег Brentы, где стоят знаменитые виллы с лужайками и садами, с платанами и кипарисами. Вот если бы меня там похоронили, — думал он. — Я ведь так хорошо знаю те места. Но вряд ли это можно устроить. А впрочем, кто его знает. Найдутся же люди, которые дадут похоронить меня на своей земле. Спрошу у Альберто. Да нет, он еще решит, что я нытик.

Он уже давно подумывал о разных красивых местах, где бы ему хотелось быть похороненным, о тех краях, частью которых он хотел бы стать. Смердишь и разлагаешься не так уже долго, зато станешь чем-то вроде навоза, даже кости и те пойдут в дело. Я бы хотел, чтобы меня похоронили где-нибудь подальше, на самом краю усадьбы, но чтобы оттуда был виден милый старый дом и высокие тенистые деревья. Вряд ли это доставит им так уж много хлопот. Я бы смешался с той землей, где по вечерам играют дети, а по утрам, может быть, еще учат лошадей брать препятствия, и их копыта глухо стучат по дерну, а в пруду прыгает форель, охотясь за мошками.

Теперь, от Местре, они ехали по мощеной дороге, мимо уродливого завода Бреда, который с тем же успехом мог быть заводом Хаммонда в штате Индиана.

— А что они здесь делают, господин полковник? — спросил Джексон.

— В Милане эта фирма строит паровозы, — ответил полковник. — Тут они производят разные изделия из металла, всего понемножку.

Отсюда вид на Венецию был неказистый, полковник не любил эту дорогу; зато путь был намного короче и можно было поглядеть на каналы и бакены.

— Этот город сам себя кормит, — сказал он Джексону. — Когда Венеция была владычицей морей, народ здесь лихой, не боится ни бога, ни черта, такого больше нигде не встретишь. Люди здесь вежливые, но Венеция, если приглядеться, бедовое местечко — похуже, чем Шайенн.

— Никогда бы не сказал, что Шайенн — бедовое местечко.

— Во всяком случае более бедовое, чем Каспер.

— Вы думаете, господин полковник, что Каспер бедовый?

— Это нефтяной город. Славный город.

— Да, но бедовым я бы его не назвал. Да и прежде ничего бедового в нем не было.

— Ладно, Джексон. Может, мы с вами видим там разных людей. А может, называем одно и то же разными именами. Так или иначе, Венеция, где все на редкость вежливые и обходительные, — такое же

бедовое местечко, как Кук-Сити в штате Монтана, когда старожилы в свой праздник напьются до зеленого змия.

— Вот Мемфис — это, на мой взгляд, город бедовый.

— Далекое ему до Чикаго, Джексон. В Мемфисе беда одним только неграм. А в Чикаго — всем и каждому, он бедовый и с севера, и с юга, и с запада, а с востока там озеро. Да и люди там не очень-то вежливые. А вот тут, в Италии, если хотите узнать, что такое по-настоящему бедовое место, — поезжайте в Болонью. И кормят там замечательно.

— Никогда там не был.

— Ну, вот и гараж, где мы поставим машину, — сказал полковник. — Ключ можете сдать в контору. Здесь не крадут. Я пока зайду в бар. И чемоданы здесь есть кому поднести.

— А ничего, что мы оставим в багажнике ваше ружье и снаряжение?

— Ничего. Здесь не крадут. Я ведь вам уже сказал.

— Я беспокоюсь о вашем имуществе, господин полковник. И хотел принять меры.

— Вы такой умник, что меня иногда просто тошнит, — сказал полковник. — Продуйте уши и слушайте, что вам говорят.

— Я слышал, господин полковник, — сказал Джексон.

Полковник пристально на него посмотрел, привычным уничтожающим взглядом.

Вот сукин сын, — думал Джексон, — а ведь прикидывается таким милягой.

— Выньте наши чемоданы, поставьте машину вон там, проверьте горячее, воду и крышки, — сказал полковник и направился по залитой маслом цементной дорожке прямо в бар.

Глава шестая

В баре, за первым столиком у входа, сидел разбогатевший во время войны миланец — толстый, но жесткий, как камень, такими бывают только миланцы, — и его роскошная, в высшей степени соблазнительная любовница. Они пили *negroni* — двойную порцию сладкого вермута с сельтерской, — и полковник подумал: сколько же миланцу пришлось утаить налогов, чтобы заплатить за такую холеную даму в длинном норковом манто и за спортивную машину, которую шофер только что погнался по эстакаде в гараж? Парочка воззрилась на него, как и положено невоспитанным людям этой породы, и полковник небрежно отдал им честь.

— Простите, что я в военной форме, — сказал он по-итальянски. — Но, увы, это мундир, а не маскарадный костюм!

Не дожидаясь ответа, он повернулся к ним спиной и подошел к стойке. Оттуда можно было следить за своими пожитками, как это делали *pescesani*¹.

Он, наверно, *commendatore*², — подумал полковник. — А она — красивая, бессердечная дрянь. Но чертовски красивая. А мог бы я, если бы у меня когда-нибудь были деньги, купить себе такую, как эта, и одеть ее в норку? Да пропади она пропадом! Хватит мне и того, что у меня есть.

Бармен пожал ему руку. Он был анархист, но не осуждал полковника за то, что тот — полковник. Наоборот, его это даже грело, ему это льстило, словно теперь и у анархистов был свой полковник; за те не-

¹ Акулы (итал.)

² Здесь — воротила (итал.).

сколько месяцев, что они были знакомы, у бармена возникло чувство, будто он сам выдумал этого полковника или по меньшей мере произвел его в чин; он гордился этим, словно построил какую-нибудь *campanile* или старинную церковь в Торчелло.

Бармен слышал разговор, вернее замечание, которое полковник отпустил у столика, и был очень доволен.

Он уже послал подъемник за джином и кампари.

— Сейчас,— сказал он,— мне пришлют ваш джин. Как дела у вас в Триесте? ¹

— Да примерно так, как вы себе представляете.

— А я не очень-то хорошо их себе представляю.

— И не напрягайтесь,— сказал полковник. — Не то наживете геморрой.

— Не возражаю, если меня за это сделают полковником.

— Вот и я не возражал.

— Смотрите, чтобы вас не скрутило, как от слабительного!

— Только ради бога, не рассказывайте досточтимому Паччарди,— сказал полковник.

Это была любимая шутка у них с барменом: досточтимый Паччарди занимал пост министра обороны Итальянской республики. Ему было столько же лет, сколько полковнику, он храбро сражался в первую мировую войну, воевал в Испании, где был командиром батальона, и полковник познакомился с ним, будучи сам военным наблюдателем. Серьезность, с какой министр обороны относился к своим обязанностям в этой неспособной к обороне стране, смешила и полковника и бармена. Оба они были людьми практичными, и мысль о досточтимом Паччарди — защитнике Итальянской республики — их очень забавляла.

— Там у нас довольно весело,— сказал полковник.— Так что ничего, жить можно.

— Надо бы малость механизировать досточтимого Паччарди. Дайте ему атомную бомбу.

— Я везу в багажнике целых три. Последняя ручная модель с запасными частями. Его надо как следует вооружить. Снабдить хотя бы бактериями.

— Да, досточтимого Паччарди мы не подведем! — сказал бармен.— Лучше один час прожить львом, чем всю жизнь ягненком.

— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях,— добавил полковник.— Впрочем, бывает и так, что мигом хлопнешься на брюхо, если хочешь выжить.

— Полковник, прекратите эти разговорчики!

— Мы задушим их голыми руками,— продолжал полковник.— Наутро под ружье встанет миллионная армия защитников родины!

— А кто им даст ружья? — спросил бармен.

— Все необходимые меры будут приняты. Это только первый этап грандиозного плана обороны!

Вошел шофер. Полковник отметил, что, пока они перебрасывались шутками, он перестал следить за дверью, а всякая потеря бдительности его всегда злила.

— Какого дьявола вы там возились, Джексон? Хотите выпить?

— Нет, спасибо, господин полковник.

Ах ты чертова ханжа! — подумал полковник.— Но хватит мне его шпынять,— сказал он себе.

— Сейчас поедем,— объяснил он шоферу.— Я тут учусь у моего приятеля говорить по-итальянски.

¹ Порт в Италии на Адриатическом море. После второй мировой войны долгое время был оккупирован американскими и английскими войсками.

Он оглянулся на миланских спекулянтов, но их уже не было.

Ты потерял быстроту реакции,— подумал он.— Смотри, еще попадешься кому-нибудь в лапы. Может, даже досточтимому Паччарди.

— Сколько с меня? — сухо спросил он бармена.

Итальянец назвал сумму, поглядывая на него своими умными глазами; теперь они больше не смеялись, хотя от них по-прежнему разбегались веселые морщинки. Надеюсь, что у него все в порядке,— думал бармен.— Дай бог, или кто там еще есть, чтобы с ним не стряслось никакой беды!

— До свиданья, полковник,— сказал он.

— Ciao¹ — ответил полковник.— Джексон, мы сейчас пойдем по длинной эстакаде прямо на север, туда, где пришвартованы маленькие моторки. Их тут покрывают лаком. А вот и носильщик с нашими чемоданами. Придется дать ему отнести вещи, у них тут такое правило.

— Слушаюсь, господин полковник,— сказал Джексон.

Оба, не оглядываясь, вышли из бара.

На imbarcadero² полковник заплатил человеку, который поднес их чемоданы, и стал высматривать знакомого лодочника.

Он не узнал человека в первой моторке, но тот сказал:

— День добрый, полковник. Сейчас моя очередь.

— Сколько до «Гритти»?

— Вы же знаете не хуже моего, полковник! Мы не торгуемся. Такса у нас постоянная.

— Какая же это такса?

— Три тысячи пятьсот лир.

— Мы можем поехать на пароходике за шестьдесят.

— Вот и езжайте,— сказал пожилой лодочник с красным, но добродушным лицом.— До самого «Гритти» он вас не довезет, вы сойдете на imbarcadero за «Гарри» и можете позвонить оттуда, чтобы прислали за вашими чемоданами.

Что я куплю на дерьмовые три с половиной тысячи? А он славный старик...

— Хотите, я пошлю с вами вон того человека? — Лодочник показал на дряхлого старика, которого на пристани гоняли по всяким поручениям; он всегда был готов оказать непрошеную помощь — подсадить или ссадить под локоток пассажира, который в этом совсем не нуждался,— а потом с поклонами стоял, протягивая старую фетровую шляпу.— Он сведет вас на пароходик. Следующий отходит через двадцать минут.

— Черт с ним,— сказал полковник.— Отвезите нас сами до «Гритти».

— Con piacere³.

Полковник и Джексон спустились в лодку, похожую на гоночный катер. Она сияла лаком, была любовно надраена и оснащена крошечным двигателем «Фиат»,— он явно отслужил свой век на машине какого-нибудь провинциального доктора, был куплен на свалке автомобильного старья (что-то, а эти кладбища механических ископаемых теперь найдешь возле любого населенного пункта!), переделан и переоборудован для новой жизни на каналах Венеции.

— Мотор хорошо работает? — спросил полковник. Он слышал, как мотор чихает, словно подбитый танк или самоходное орудие, только звук был гораздо слабее, потому что силенок у него было меньше.

¹ Привет (итал.).

² Пристань (итал.).

³ С удовольствием (итал.).

— Да так себе,— признался лодочник, помахав свободной рукой.
— Вам бы надо достать маленькую модель «Универсал». Самый надежный и самый легкий морской двигатель, какой я знаю.

— Мало ли что мне надо достать! — сказал лодочник.

— Может, год выдаться хороший.

— Дай-то бог. Из Милана на Лидо приезжает много pescesani играть в рулетку. Но разве кто захочет сесть в эту лодку во второй раз? А лодка хорошая. Прочная, удобная. Конечно, нет у нее такой красоты, как у гондолы. Но ей нужен мотор.

— Постараюсь достать вам мотор с виллиса. Из тех, что были списаны,— вы сможете его перебрать?

— Чего зря говорить? — сказал лодочник.— Разве это возможно? Я и думать об этом не хочу.

— Почему же? — сказал полковник.— Я знаю, что говорю.

— И не шутите?

— Нисколько. Правда, голову наотрез не дам. Но постараюсь. У вас много детей?

— Шестеро. Два мальчика и четыре девочки.

— Видно, вы не очень-то верили в фашистскую власть. Всего шестеро!

— А я и не верил.

— Вы мне голову не морочьте,— сказал полковник.— Ничего удивительного, если вы в нее и верили. Думаете, теперь, когда мы победили, я вас стану этим попрекать?

Ну вот мы и проехали самую унылую часть канала — она тянется от Пьяццале Рома до Ка'Фоскари; впрочем, и тут нет ничего унылого,— подумал полковник.

Нельзя же, чтобы повсюду были одни дворцы и церкви. А вот здесь уж никак не уныло! Он поглядел направо — по правому борту, поправил он себя. Ведь мы на судне! Они плыли мимо длинного, низкого, приветливого здания; рядом с ним стояла trattoria¹.

Эх, хорошо бы здесь поселиться! Пенсии мне вполне хватит. Конечно, не в «Гритти-Паласе». Снять бы комнату в доме вроде этого и смотреть на приливы, отливы и проплывающие мимо лодки. По утрам читать, до обеда гулять по городу, каждый день ходить в Accademia смотреть на Тинторетто и в Scuola San Rocco, есть в хороших дешевых ресторанчиках за рынком, а вечером хозяйка, может, и сама сготовит что-нибудь на ужин.

Обедать лучше не дома, чтобы и после обеда можно было пройтись. В этом городе хорошо гулять. Наверно лучше, чем где бы то ни было. Когда бы я тут ни бродил, мне всегда бывает приятно. Я бы мог как следует его изучить, и тогда мне будет еще интереснее.

Какая она путаная, эта Венеция,— искать тут какое-нибудь место куда занятнее, чем решать кроссворды. Да, мы мало чем можем похвастаться — но вот ее мы, слава богу, ни разу не бомбили. А им дает честь, что и они отнеслись к ней с уважением.

Господи, как я ее люблю,— думал он,— я рад, что помогал ее защищать, когда был еще совсем сопляком, и плохо знал язык, и даже толком ее не видел до того ясного зимнего дня, когда пошел в тыл, чтобы перевязать пустяковую рану, и вдруг увидел, как она встает из моря.

Черт возьми,— думал он,— а мы ведь неплохо дрались той зимой возле перекрестка!

Жаль, что нельзя перевоевать ту войну сначала,— думал он.—

¹ Ресторан (итал.).

С моим опытом и с тем, что у нас сейчас есть. Но и у них теперь есть не меньше, а трудности все те же, если нет превосходства в воздухе.

Раздумывая об этом, он смотрел, как крутой нос сверкающей лачком, изящно отделанной медью лодки — медные части ее сияли — резал бурю воду и ловко обходил препятствия.

Они прошли под белым мостом и под еще не достроенным деревянным мостом. Красный мост они оставили справа и миновали первый высокий белый мост. За ним показался черный ажурный мост из чугуна на канале, ведущем к Рио Нуово, и они миновали два столба, скованные цепью, но не касавшиеся друг друга. Совсем как мы с ней, — подумал полковник. Он смотрел, как вырывает столбы прибой и как глубоко врезались в дерево цепи с той поры, когда он первый раз их увидел. Совсем как мы, — думал он. — Это памятник нам. Сколько же памятников стоит нам в каналах этого города!

Они шли медленно, пока не добрались до громадного фонаря по правую руку от входа в Большой Канал; там мотор стал испускать металлические хрипы, от которых скорость чуть-чуть увеличилась.

Дальше они поплыли под зданием Академии, между сваями, и чуть было не столкнулись с черным дизелем, тяжело груженным пиленным лесом. Бруски эти шли на отопление сырых домов Морского Града.

— Это береза, правда? — спросил полковник у лодочника.

— Береза и какое-то другое дерево, подешевле, не припомню, как оно называется.

— Береза для камина все равно что антрацит для плиты. А где они рубят эту березу?

— Я в горах не жил. Но, по-моему, ее привозят из-за Бассано, с дальнего склона Граппы. Я как-то ездил на Граппу поглядеть, где похоронен мой брат. Из Бассано мы поехали с экскурсией на большое ossario. А возвращались через Фельтре. И когда мы спускались в долину, я видел, что другой склон зарос лесом. Ехали мы по военной дороге и откуда-то везли много дров.

— В каком году убили вашего брата на Граппе?

— В восемнадцатом. Он был патриот, и уж очень зажгли его речи д'Аннунцио. Пошел добровольцем, хотя его год еще не призвали. Мы к нему и привыкнуть толком не успели, больно быстро он от нас ушел.

— А сколько вас было братьев?

— Шестеро. Двоих убили за Изонцей, одного — на Баинзицце и одного у Карста. Потом на Граппе мы потеряли того брата, о котором я говорю, и я остался один.

— Я достану вам этот проклятый виллис со всеми потрохами, — сказал полковник. — А пока что не будем думать о мертвых, давайте лучше посмотрим, где живут мои друзья.

Они плыли по Большому Каналу, и здесь было хорошо видно, где живут друзья.

— Вот дом графини Дандоло, — показал полковник.

Он, правда, не сказал вслух, а только подумал: ей ведь уже за семьдесят, а она все еще живая, как девчонка, и совсем не боится смерти. Волосы красит в ярко-рыжий цвет, и ей это очень к лицу. С ней всегда весело, она — прелестная женщина.

И палатко у нее удобный; стоит в глубине, перед ним сад с собственным причалом, куда в разные времена приставало множество гондол и высаживались самые разные люди: веселые, добродушные, грустные и потерявшие веру в жизнь. Но, главным образом, веселые, — ведь они ехали в гости к графине Дандоло.

Они с трудом двигались по каналу, навстречу холодному ветру с гор, наслаждаясь древней магией города и его красотой; очертания домов были четки и рельефны, как в зимний день, а день и в самом

деле был зимний. Но для полковника прелесть была еще и в том, что он знал многих обитателей этих палат, а если там сейчас никто и не жил, — знал судьбу этих зданий.

Вот дом матери Альварито, — подумал он, но промолчал.

Она здесь теперь почти не живет и редко выезжает из имения возле Тревизо, где растет много деревьев. Ее угнетает, что в Венеции совсем нет деревьев. Она потеряла хорошего мужа, и теперь ее мало что интересует, кроме хозяйства.

В свое время ее семья уступила этот дом Джорджу Гордону, лорду Байрону, и в его кровати с тех пор никто не спит; не спят и в другой кровати, двумя этажами ниже, где он проводил ночи с женой гондольера. И не потому, что кровати эти — святыня или реликвия. Это просто лишние кровати, которыми не пользуются по разным причинам, а может, — из уважения к лорду Байрону, которого тут в городе очень любили, несмотря на все его ошибки. Тут, видно, надо быть парнем бедовым, чтобы тебя полюбили. Они ведь так и не признали ни Роберта Браунинга, ни мадам Браунинг, ни их собаку. Эти трое так и не стали венецианцами, как бы хорошо они ни писали о Венеции. А что значит «бедовый»? — спросил себя полковник. — Я так часто употребляю это слово, что должен бы знать его смысл. Сорви-голова? Скорее тот, кто умеет все поставить на карту и не выйдет из игры, сколько бы ни проиграл. Или просто тот, кто готов играть до конца. И речь идет отнюдь не о театре, — думал он. — Как бы я ни любил театр.

Так ли? — подумал он, увидев маленькую виллу над самой водой, ничуть не менее уродливую, чем любой домишко в предместье Парижа, который видишь из окна поезда, по дороге из Гавра или Шербурга. Вокруг нее густо росли плохо ухоженные деревья, и по доброй воле вы бы в ней жить не стали. Но там жил он.

А вот его любили за талант, за пороки и за смелость. Нищий еврейский мальчик, он покорила страну своим талантом и своим красноречием. Я не встречал человека более жалкого и более подленького. Но тот, с кем бы я мог его сравнить, не рисковал всем, что у него было, и сам не воевал, а Габриэле д'Аннунцио (интересно, как его звали на самом деле, кому могут дать имя д'Аннунцио¹ в такой земной стране, как эта; может, он и не был евреем, да и какая разница, был он им или не был) перепробовал разные рода войск, так же как перепробовал любовь разных женщин.

Ни один род войск не утруждал его службой, походы его были молниеносны, он всегда выходил сухим из воды. Полковник помнил, как д'Аннунцио потерял глаз, когда разбился самолет, на котором он летал не то над Триестом, не то над Пулой, и как он потом всегда носил черную повязку, а люди, не знавшие, где это произошло, ибо тогда этого еще никто как следует не знал, думали, что глаз ему выбили под Велики, или Сан-Микеле, или еще в каком-нибудь злосчастном месте по ту сторону Карста, где все либо полегли, либо стали калеками. Для д'Аннунцио война была только воинственной жестикуляцией. У пехотинца — свое особое ремесло, не похожее на другие. Габриэле летал, но он не был летчиком. Он служил в пехоте, но не был пехотинцем, он и там соблюдал одну видимость.

И полковник вспомнил, как однажды, когда он командовал взводом первого эшелона, а погода стояла дождливая, как всегда в те бесконечные зимы или уж во всяком случае во время всех парадов или военных смотров, д'Аннунцио, с черной повязкой вместо глаза и мучнисто-белым лицом, белым, как брюхо у камбалы, только что пере-

¹ Благовест (итал.).

вернутой на сковороде, сырым боком кверху, и с таким видом, будто он уже вторые сутки мертвый, кричал им: «Morìre non è basta!»¹ — и полковник, бывший тогда лейтенантом, подумал: Какого рожна им от нас еще надо?

Он слушал речь, и в конце, когда подполковник д'Аннунцио, писатель и национальный герой, очевидный и патентованный, раз уж нужны герои, — а полковник в героев не верил, — попросил минуту помолчать в память о павших героях, лейтенант покорно вытянулся. Но взвод его, который не слышал речи, потому что тогда еще не было громкоговорителей, а ветер относил слова оратора в сторону, как только наступило молчание в честь павших героев, единодушно и раскатисто рявкнул: «Evviva d'Annunzio!»²

Д'Аннунцио не раз поздравлял их с победами и взывал к ним перед поражениями, и они знали, что им кричать, когда оратор делает паузу.

Полковник, который тогда был лейтенантом и любил свой взвод, крикнул вместе с ними, словно отдавая команду: «Evviva d'Annunzio!» — тем самым выгораживая тех, кто не слышал этого призыва или речи, и пытаясь скромно, как и положено лейтенанту (если только речь не идет о защите безнадежной позиции или инициативе в бою), разделить с ними вину.

А вот теперь лодка проезжает мимо дома, где этот старый греховодник жил со своей великой, печальной и не очень любимой актрисой³, и полковник вспоминает ее поразительные пальцы и волшебное преображающееся лицо, — оно не было красивым, зато умело передать всю любовь, все величие, все восторги и всю боль на свете, — вспоминает, как легкий взмах ее руки надрывал ему сердце, и думает: господи, ведь оба они уже умерли, а я понятия не имею даже, где их похоронили. Но от души надеюсь, что в этом доме им все-таки бывало хорошо.

— Джексон, — сказал он. — Эта маленькая вилла слева принадлежала Габриэле д'Аннунцио. Он был великий писатель.

— Так точно, господин полковник, — сказал Джексон. — Спасибо, что вы мне сказали. Никогда о нем не слышал.

— Я вам скажу, что он написал, если вам захочется его прочесть. Он неплохо переведен на английский.

— Спасибо, господин полковник, — ответил Джексон. — С удовольствием прочитаю, если будет время. Домик у него подходящий. Как, вы говорите, его фамилия?

— Д'Аннунцио, — сказал полковник, — писатель.

Он добавил мысленно, не желая путать Джексона и его стеснять, как делал уже сегодня не раз, — писатель, поэт, национальный герой, фашистский фразер и полемист, эгоист и певец смерти, авиатор, полководец, участник первой атаки торпедных катеров, подполковник пехотных войск, толком не умевший командовать ротой и даже взводом, большой, прекрасный писатель, которого мы почитаем, автор «Notturmo»⁴ и хлюст.

Впереди, у Санта Мария дель Джильо, был перекресток двух каналов, а за ним деревянный причал «Гритти».

— Вот и наша гостиница, Джексон.

Полковник показал на небольшой розоватый трехэтажный дворец, выходящий прямо на Канал. Раньше это был филиал «Гранд-Отеля», но теперь стал самостоятельной и очень хорошей гостиницей. В го-

¹ Умереть — это еще не все (итал.).

² Да здравствует д'Аннунцио! (итал.).

³ Речь идет об Элеоноре Дузе.

⁴ Ноктюрн (итал.).

роде, где столько прекрасных отелей, это, пожалуй, самый лучший, если вы не любите, когда перед вами угодничают, заискивают и не дают вам самому шагу ступить.

— Местечко, по-моему, приличное,— сказал Джексон.

— Вполне приличное.

Моторная лодка с шиком подошла к деревянным сваям причала. Каждое ее движение,— думал полковник,— это подвиг изношенного механизма. У нас теперь нет боевых коней, таких как знаменитый «Путник» или «Лизетта» генерала Марбо¹, воевавшая при Эйлау. Теперь мы почитаем стойкость изношенных рычагов, которые нипочем не хотят ломаться, и головок цилиндров, которые не выходят из строя, хотя давно имеют на это право.

— Причалили, господин полковник,— сказал Джексон.

— Конечно, причалили! А что нам еще делать? Ну-ка, прыгайте, а я расплачусь с этим гонщиком.

Повернувшись к лодочнику, он спросил:

— С меня ведь три с половиной тысячи, а?

— Так точно, полковник.

— Насчет списанного виллиса я не забуду. Получайте и купите своей лошадке овса.

Швейцар, который брал у Джексона чемоданы, засмеялся:

— Нет такого ветеринара, который возьмется вылечить его лошадь.

— Но она еще бегаёт! — сказал лодочник.

— А вот призов на скачках уже не берет. Как поживаете, полковник?

— Лучше не бывает. А как члены Ордена?

— Все в порядке.

— Хорошо,— сказал полковник.— Пойду повидаюсь с Гроссмейстером.

— Он вас ждет.

— Ждать мы его заставлять не можем. Джексон, пройдите в холл с этим джентльменом и попросите меня отметить. Позаботьтесь, чтобы сержанту дали комнату,— сказал он швейцару.— Мы только на одну ночь.

— Вас спрашивал барон Альварито.

— Я увижусь с ним у «Гарри».

— Хорошо, господин полковник.

— А где Гроссмейстер?

— Сейчас я его разыщу.

— Скажите, что я буду в баре.

Глава седьмая

Бар в «Гритти» был сразу за холлом, хотя холл,— подумал полковник,— неподходящее слово для зала с таким благородством пропорций. Кажется, Джотто дал определение круга? Нет, это один математик. Из анекдотов о Джотто ему нравился вот какой: «Это так просто!» — сказал художник, начертив безукоризненный круг. Кто и где, черт побери, ему это рассказывал?

— Добрый вечер, Тайный Советник,— сказал он бармену, тот был только кандидатом в члены Ордена, но полковнику не хотелось его обижать.— Чем могу служить?

¹ Марбо Антуан — франц. генерал (1782—1854).

— Выпейте рюмочку, полковник.

Полковник поглядел через окно и стеклянную дверь на Большой Канал. Он увидел высокий черный столб, к которому причаливают гондолы, и отсвет вечернего зимнего солнца на беспокойной от ветра воде. На той стороне стоял старинный дворец, а по каналу двигалась деревянная баржа, черная и широкая, разводя тупым носом волну, хотя ветер был попутный.

— Дайте мне сухого мартини,— сказал полковник.— Большую рюмку.

Тут вошел Гроссмейстер. На нем был фрак, как и положено метрдотелю. Он был по-настоящему, по-человечески красив,— изнутри: улыбка его шла от самого сердца или от того, что зовут душой человека, а потом весело и открыто выходила на поверхность, то есть освещала лицо.

Лицо у него было лукавое, с длинным прямым носом, как у всех уроженцев этой части Венето, с добрыми, веселыми, правдивыми глазами и седыми волосами, приличествующими его возрасту — он был на два года старше полковника.

Он подошел с сердечной улыбкой, хотя и с видом заговорщика — ведь у них было немало общих тайн,— и протянул свою руку, большую сильную руку с длинными пальцами, холеную, как и подобало человеку в такой должности, а полковник протянул ему свою, дважды простреленную и чуть-чуть скрюченную. Так встретились два старожилы Венето, двое мужчин, два брата из рода человеческого — единственного клуба, в который тот и другой платили взносы, братья в своей любви к этой древней стране, издавна бывшей яблоком раздора, но победоносной даже в поражении, к стране, которую оба они защищали мальчишками.

Короткое рукопожатие, только чтобы ощутить близость и радость встречи: потом метрдотель сказал:

— Здравствуйте, полковник.

— Здравствуйте, Gran Maestro¹,— сказал полковник.

Полковник пригласил Gran Maestro выпить с ним рюмочку за компанию; метрдотель ответил, что он на работе. Пить на работе не полагается, да и запрещено.

— Ну их к разэтакой матери с их запрещениями,— сказал полковник.

— Само собой,— сказал Gran Maestro,— но обязанности свои надо выполнять, правила у нас разумные, их надо выполнять, особенно мне, раз я должен подавать пример.

— Но вы же все-таки Gran Maestro! — сказал полковник.

— Ну что ж, дайте мне рюмочку *carpano punto e mezzo*²,— сказал Gran Maestro бармену, который все еще не был принят в Орден по какой-то пустяковой, неясной и скрытой причине.— Я выпью за Ordine³.

Так, нарушая порядки и правила поведения старшего по званию, который должен служить примером, Gran Maestro и полковник опрокинули по рюмке. Они не торопились, и Gran Maestro был спокоен. Опрокинули по рюмке, и все тут.

— А теперь давайте обсудим дела Ордена,— сказал полковник.— Как, сессия у нас секретная?

— Да,— сказал Gran Maestro.— Я объявляю ее секретной.

— Продолжайте,— сказал полковник.

Орден, чистейший плод их фантазии, был основан во время бесед

¹ Гроссмейстер (итал.).

² Аперитив.

³ Орден (итал.).

Gran Maestro с полковником. Он назывался El Ordine Militar, Nobile y Espirituoso de los Caballeros de Brusadelli¹. И полковник и метрдотель говорили по-испански, а поскольку, если вы хотите основать Орден, этот язык самый подходящий, они им и воспользовались, присвоив своему Ордену имя известного миланского спекулянта-миллиардера, уклонявшегося от уплаты налогов; на бракоразводном процессе, во время спора из-за раздела имущества, он публично обвинил молодую жену в том, что своим необычайно страстным темпераментом она довела его до умственного расстройства.

— Gran Maestro, что слышно о нашем патроне, благословенно имя его? — спросил полковник.

— Ничего. Он что-то в последнее время притих.

— Должно быть, думает.

— Должно быть.

— Видно, придумывает новые и еще более выдающиеся подлости.

— Вероятно. Он мне ничего не сообщал.

— Но на него можно положиться.

— До последнего вздоха. Потом пусть черти жарят его в аду, а мы будем благословлять его память.

— Джорджо, — сказал полковник, — принесите Gran Maestro еще рюмку карпано.

— Если это приказ, — сказал Gran Maestro, — мне остается только повиноваться.

Они чокнулись.

— Джексон! — крикнул полковник. — В этом городе вы гость. Харчи бесплатные, только счет подпишите. Будьте завтра в одиннадцать ноль-ноль в холле, а до тех пор чтоб глаза мои вас не видели, но смотрите, как бы с вами чего не стряслось. Деньги у вас есть?

— Да, господин полковник, — сказал Джексон и подумал: старый хрыч и вправду рехнулся. Чем орать во все горло, мог меня подозвать вежливо.

— Убирайтесь с глаз долой, — повторил полковник.

Джексон стоял перед ним, вытянувшись в струнку.

— Вы мне надоели, вы все хлопчете и не умеете жить в свое удовольствие. Господи боже мой, поживите вы хоть день в свое удовольствие!

— Слушаюсь, господин полковник.

— Вы поняли, что я сказал?

— Да, господин полковник.

— Повторите.

— Рональду Джексону, личный номер 100678, явиться в холл гостиницы «Гритти» в одиннадцать ноль-ноль, завтра, числа не помню, а до тех пор не показываться полковнику на глаза и жить в свое удовольствие. И приложить к этому все усилия, — добавил он.

— Простите, Джексон, — сказал полковник. — Я просто дерьмо.

— Разрешите возразить, господин полковник? — сказал Джексон.

— Спасибо, Джексон, — сказал полковник. — Может, я и не дерьмо. Хорошо, если вы правы. А теперь сматывайтесь. Комнату вам уже дали или должны дать, и харчи вам тут обеспечены. Постарайтесь пожить в свое удовольствие.

— Слушаюсь, господин полковник, — сказал Джексон.

Когда он ушел, Gran Maestro спросил:

— Что он за парень? Из породы мрачных американцев?

¹ Военный, аристократический и духовный орден кавалеров Брусаделли (исп.).

— Да,— сказал полковник.— Господи, сколько их у нас развелось! Мрачные, добродетельные, раскормленные и недоразвитые. В том, что они недоразвиты, есть и моя вина. Но у нас попадают и хорошие ребята.

— Вы думаете, они держались бы на Граппе, на Пасубио и на Пьяве, как мы?

— Хорошие ребята держались бы. Может, даже и лучше нас. Но, знаете, у нас в армии не ставят к стенке даже самострелов.

— Господи! — сказал Gran Maestro.

И он и полковник, оба знавали людей, которые ни за что не хотели умирать, забывая о том, что тот, кто умрет в четверг, уже не должен умирать в пятницу; они помнили, как один солдат привязывал мешок с песком к ноге другого, чтобы не осталось пороховых ожогов, и стрелял в товарища с такой дистанции, с какой, по его расчетам, мог попасть в голень, не задев кости, а потом разика два палил в воздух, изображая перестрелку. Да, оба они это знали, и в память о войне, а также из настоящей, хорошей ненависти ко всем, кто на ней наживается, они и основали свой Орден.

Они помнили — эти двое, любя и уважая друг друга, — как бедные солдатики, ни за что не хотевшие умирать, делились друг с другом содержимым спичечной коробки, чтобы заразиться и не ходить в очередную кровавую атаку.

Они знавали и таких ребят, которые засовывали себе под мышку большие медные монеты, чтобы вызвать желтуху. И ребят побогаче, которым впрыскивали парафин под коленную чашечку, чтобы им все не пришлось воевать.

Они знали, как применять чеснок, чтобы увильнуть от участия в атаке, знали все или почти все уловки — ведь один из них был сержантом в пехотной части, а другой лейтенантом, и оба сражались на трех ключевых участках — на Пасубио, на Граппе и на Пьяве,— а уж где, как не там, стоило увильнуть!

Еще раньше они прошли сквозь бессмысленную мясорубку на Изонце и на Карсге. Им было стыдно за тех, кто ее устроил, и они старались не думать о ней, об этой позорной, дурацкой затее — поскорее бы ее забыть. Правда, полковник вспоминал ее иногда, поскольку она могла послужить уроком в других войнах. Вот они и основали Орден Брусаделли — аристократический, военный и духовный,— насчитывающий всего пять членов.

— Что слышно в Ордене? — спросил полковник.

— Шеф-повара ресторана «Манифик» мы произвели в командоры. В день, когда ему стукнуло пятьдесят, он трижды показал себя мужчиной. Я принял его заявление к сведению без проверки. Он никогда не лгал.

— Верно. Он никогда не лгал. Но в этом вопросе люди склонны преувеличивать.

— Я поверил ему на слово. На нем лица не было.

— А ведь бедовый был парнишка, любил девке подол задрать. Я помню.

— Anch'io¹!

— У вас есть какие-нибудь планы работы Ордена на зиму?

— Нет, Верховный Магистр.

— А вам не кажется, что следует устроить манифестацию в честь досточтимого Паччарди?

— Как прикажете.

— Давайте отложим этот вопрос,— сказал полковник.

¹ Я тоже (итал.).

Он подумал и заказал еще рюмку сухого мартини.

— А не устроить ли нам в честь нашего великого патрона Брусарделли, благословенно имя его, шествие и манифестацию в каком-нибудь из исторических мест — на площади Святого Марка или у старой церкви в Торчелло?

— Сомневаюсь, чтобы в данный момент это разрешили церковные власти.

— Тогда давайте откажемся на эту зиму от публичных манифестаций и будем действовать на благо Ордена нашими собственными силами.

— По-моему, это самое разумное, — сказал Gran Maestro. — Мы перестроим свои ряды.

— Ну, а вы-то сами как поживаете?

— Отвратительно, — сказал Gran Maestro. — Пониженное кровяное давление, язва желудка и долги.

— Но вы не жалуетесь на жизнь?

— Никогда, — сказал Gran Maestro. — Я очень люблю свою работу, мне приходится иметь дело с необыкновенными, прелюбопытнейшими людьми и с великим множеством бельгийцев. Они тут в этом году как саранча. Прежде у нас бывало много немцев. Как это Цезарь сказал? «И храбрейшими из них были белги». Но отнюдь не самыми элегантными. Верно?

— В Брюсселе, я видел, они одеваются прилично, — сказал полковник. — Сытая, веселая столица.

— Вот бы нам повоевать в старину во Фландрии.

— В старину нас на свете не было, — сказал полковник. — Поэтому мы никак не могли там воевать.

— Жаль, что мы не воевали при кондотьерах, стоило тебе тогда перехитрить противника, и он сдавался. Вы бы придумывали разные хитрости, а я бы передавал ваши приказы.

— Сперва пришлось бы взять несколько городов, чтобы запугать противника нашими хитростями.

— Но если бы города вздумали сопротивляться, мы бы их разграбили, — сказал Gran Maestro. — Какие города вы бы взяли?

— Только не этот, — сказал полковник. — Я бы взял Виченцу, Бергамо и Верону. Может быть, сперва Верону или Бергамо.

— Мало. Надо взять еще два города.

— Верно, — сказал полковник. Теперь он снова стал генералом и блаженствовал. — Я думаю, что Брешию можно оставить у себя в тылу. Она бы сдалась сама.

— Ну, а как ваше здоровье? — спросил Gran Maestro; он понимал, что взятие городов для него слишком сложное дело. Он чувствовал себя как дома в своем Тревизо, на берегу быстрой речки под старыми городскими стенами. Течение шевелило водоросли, а под ними неподвижно стояла рыба и всплывала в сумерках, когда на воду садились мошки. Он чувствовал себя как дома и на войне, но если в деле участвовало не больше роты; тогда он разбирался в операции не хуже, чем в сервировке маленького банкетного зала, да и большого банкетного зала тоже.

А когда полковник снова превращался в генерала и начинал орудовать понятиями такими же темными для метрдотеля, как интегралы — для человека, знающего только арифметику, тогда ему становилось не по себе, одиноко, ему хотелось поскорей вернуть полковника к той поре, когда один из них был лейтенантом, а другой сержантом.

— А как бы вы поступили с Мантуей? — спросил полковник.

— Не знаю. Я понятия не имею, с кем вы воюете, какие у них силы и какие у вас.

— Вы сами, по-моему, сказали, что мы кондотьеры. И базируемся либо здесь, в Венеции, либо в Падуе.

— Полковник,— сказал Gran Maestro, ничуть не приукрашивая истины,— честно говоря, я понятия не имею о кондотьерах. И о том, как они воевали. Я ведь только пожалел, что в те времена не воевал под вашим командованием.

— Те времена ушли и не вернуться,— сказал полковник, и воздушного замка как не бывало.

А ну их к дьяволу все эти воздушные замки,— думал полковник,— может, их никогда и не было. А ну тебя самого к дьяволу,— сказал он себе.— Не валяй дурака и будь человеком, ведь тебе уже полста.

— Еще рюмочку карпано,— предложил он.

— Вы мне позволите отказаться? У меня язва.

— Да, да. Конечно. Эй, как вас там зовут, Джорджо? Еще рюмку сухого мартини. *Secco, molto secco e doppio*¹.

Разрушать воздушные замки — это не мое ремесло,— думал он.— Мое ремесло — убивать вооруженных солдат. Воздушный замок должен превратиться в крепость, чтобы я стал его разрушать. Но мы убивали не одних только вооруженных солдат. Ладно, разрушитель замков, заткнись.

— Gran Maestro,— сказал он.— Вы все равно Gran Maestro, и ну их к разэтакой матери, всех этих кондотьеров.

— Они давным-давно там, Верховный Магистр.

— Так точно,— сказал полковник.

Но воздушный замок все-таки рухнул.

— Увидимся за ужином,— сказал полковник.— Есть что-нибудь хорошее?

— Все, что хотите, а чего у нас нет, я достану.

— Свежая спаржа найдется?

— Вы же знаете, что сейчас для нее не сезон. Ее привозят из Басано в апреле.

— Ладно,— сказал полковник.— Тогда придумайте что-нибудь сами. Я съем все, что вы подадите.

— Вы будете один? — спросил метрдотель.

— Нас будет двое,— сказал полковник.— Когда закрывается ваш *bistro*?²

— Мы будем вас ждать, когда бы вы ни пришли.

— Постараюсь быть вовремя,— сказал полковник.— До свиданья, Gran Maestro,— он улыбнулся и протянул Gran Maestro искалеченную руку.

— До свиданья, Верховный Магистр,— сказал Gran Maestro, и воздушный замок вырос снова, будто он и не был разрушен.

Но чего-то не доставало, и полковник это чувствовал, он подумал: отчего я такой ублюдок, отчего я не могу бросить свое военное ремесло и быть добрым и хорошим, каким мне хочется быть.

Я всегда стараюсь быть справедливым, но я резок и груб, и дело не только в том, что я не хочу ни перед кем пресмыкаться и это слугит мне защитой против начальства и против всего света. Жить осталось немного, и мне бы следовало быть подобнее, унять свой нрав. Попробуем сегодня вечером. Да, но с кем и где? — подумал он.— Дай только бог не сорваться!

— Джорджо,— подозвал он бармена. Лицо у Джорджо было белое, как у прокаженного, но без бугров и без серебристого налета.

¹ Сухого, очень сухого, большую рюмку (итал.).

² Кабачок (франц.).

Джорджо недолюбливал полковника, а быть может, он просто был из Пьемонта и никого не любил, разве можно этого требовать от холодных людей из пограничной провинции? Пограничные жители — народ недоверчивый, полковник это знал, он не ждал от людей того, чего они не могут дать.

— Джорджо, — сказал он бледному бармену, — пожалуйста, запишите все на мой счет.

Он вышел из бара привычной походкой, шагая чуть тверже, чем надо, и, помня о своем неуклонном стремлении вести себя любезно, скромно и добросердечно, поздоровался со своим приятелем швейцаром и с помощником управляющего, который умел говорить на суахили и был военнопленным в Кении; это был очень приветливый человек, молодой, жизнерадостный, с хорошей внешностью. И, хотя он еще не был членом Ордена, горя на своем веку он уже хлебнул.

— А где же управляющий, *cavaliere ufficiale*¹? — спросил полковник. — Где мой друг?

— Его нет, — ответил помощник управляющего. — Разумеется, в данный момент, — добавил он.

— Передайте ему привет, — сказал полковник. — И пусть меня кто-нибудь проводит в мой номер.

— Мы вам отвели ваш обычный номер. Он вам еще не надоел?

— Ничуть. А о сержанте позаботились?

— Да, конечно.

— Отлично, — сказал полковник.

Он отправился в свой номер в сопровождении рассыльного, который нес его чемодан.

— Прошу вас, — сказал рассыльный, когда лифт остановился, чуть-чуть не дотянув до верхнего этажа.

— Неужели вы не можете как следует управлять лифтом? — спросил полковник.

— Не могу, полковник, — ответил рассыльный. — С током у нас неладно.

Глава восьмая

Полковник ничего не сказал и пошел по коридору впереди рассыльного. Коридор был длинный, просторный, с высоким потолком и по-барски большими промежутками между номерами, выходящими на Большой Канал. И так как раньше это был дворец, из всех номеров открывался прекрасный вид, если не считать, конечно, бывших людских.

Путь показался полковнику длинным, хотя идти было совсем недалеко, и когда, наконец, появился коридорный — низенький, черноволосый, с поблескивающим в левой глазнице стеклянным глазом, — и, сдерживая широкую улыбку, стал ворочать в скважине большим ключом, полковник никак не мог дожидаться, чтобы дверь поскорее открылась.

— Отворяйте же, — сказал он.

— Сейчас, сейчас, — сказал слуга. — Вы знаете, какие тут замки.

Да, — подумал полковник, — знаю. Но я хочу, чтобы он отпер побыстрее.

— Как поживают ваши домашние? — спросил он коридорного, когда тот, наконец, распахнул дверь. Полковник вошел и очутился в комнате с высоким, потемневшим, но хорошо полированным гардеро-

¹ Кавалер на службе (итал.). Кавалер — почетное звание, присваиваемое президентом республики.

бом, двумя удобными кроватями и большой люстрой; через еще закрытые окна открывался вид на исхлестанную ветром воду Большого Канала.

В ущербном свете зимнего дня канал был серый, как сталь, и полковник попросил:

— Арнальдо, откройте, пожалуйста, окна.

— Сегодня сильный ветер, а комната плохо натоплена — не хватает электричества.

— А для электричества не хватает дождей, — сказал полковник. — Откройте окна. Все окна.

— Сию минуту, полковник.

Слуга растворил окна, и в комнату ворвался северный ветер.

— Будьте добры, соединитесь с портье и попросите позвонить по этому телефону.

Слуга позвонил, пока полковник был в ванной.

— Графини нет дома. Но там думают, что вы найдете ее у «Гарри».

— Чего только не найдешь у «Гарри»!

— Да, полковник, кроме счастья.

— Ну его-то я, черт возьми, тоже найду! — заверил его полковник. — Счастье, сами знаете, понятие относительное.

— Это вы правы. Я принес горькую настойку и бутылку джина. Смешать вам кампари и джин с содовой?

— Вы славный малый, — сказал полковник. — Откуда вы это принесли, из бара?

— Нет. Купил, пока вас не было, чтобы вам не пришлось переплачивать в баре. Больно уж там все дорого.

— Верно, — согласился полковник. — Зря только вы вкладывали свои деньги в такую аферу.

— Риск — благородное дело. А мы оба рисковали не раз. Джин стоил 3200 лир, он не контрабандный. Кампари — 800.

— Вы очень славный малый, — сказал полковник. — Как вам понравились утки?

— Жена до сих пор их вспоминает. Нам еще не приходилось есть диких уток, — они ведь дорого стоят, такое лакомство не для нас. Но один сосед рассказал ей, как их готовить, а потом мы вместе с этими соседями их и съели. Ну до чего же вкусно! В жизни не думал, что на свете бывает такая еда! Возьмешь в рот кусочек — ну просто сердце тает!

— И для меня тоже ничего нет вкуснее этих жирных уток из-за железного занавеса. Они летят через громадные поля Дунайской равнины. У нас тут утки делают короткие перелеты, но прилетают к нам всегда по одному и тому же пути, с тех времен, когда еще и ружей не было.

— Я плохо разбираюсь в охотничьих делах, — сказал слуга. — Мы для этого слишком бедны.

— Но в Венето охотятся не только денежные люди.

— Да. Оттуда всю ночь доносится стрельба. Но мы еще беднее их. Мы беднее, чем вы себе представляете.

— Почему же, я вполне могу себе представить.

— Не знаю, — сказал слуга. — Жена даже все перья собрала, она просила вас поблагодарить.

— Если послезавтра нам повезет, мы настроеляем много дичи. Больших селезней с зелеными головами. Скажите жене, что если нам повезет, она получит очень вкусных уток — жирных, как поросята, — они здорово отъелись у русских, — и с красивыми перьями.

— А как вы относитесь к русским, полковник, если это, конечно, не секрет?

— Говорят, это наш будущий враг. Так что мне как солдату, может, придется с ними воевать. Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на нас.

— Мне ни разу не посчастливилось с ними встретиться.

— Не горюйте, все у вас еще впереди. Встретитесь. Разве что досточтимый Паччарди задержит их на реке Пьяве, в которой, правда, больше не осталось воды. Ее разбирают гидростанции. Может, господин Паччарди решит драться с ними там. Но не думаю, чтобы бой очень затянулся.

— А я даже не знаю, кто он такой, этот господин Паччарди.

— Зато я знаю. А теперь попросите портье позвонить к «Гарри» и спросить, нет ли там графини. Если нет, пусть опять позвонит домой.

Полковник проглотил смесь, приготовленную Арнальдо, коридорным со стеклянным глазом. Пить ему не хотелось, и он знал, что ему это вредно.

Но онпил с тем же упорством дикого кабана, с каким жил всю жизнь, и когда он шел к открытому окну, движения его были по-кошачьи мягки, хотя это был уже довольно старый кот; он поглядел на Большой Канал, который серел на глазах, словно его написал Дега в один из своих самых серенских дней.

— Большое спасибо, Арнальдо,— сказал полковник. Тот разговаривал по телефону и только кивнул, блеснув в улыбке стеклянным глазом.

Жаль, что ему пришлось вставить стеклянный глаз,— думал полковник.— Жаль,— подумал он,— что я люблю только тех, кто воевал или был искалечен.

Среди остальных тоже есть славные люди, я к ним отношусь хорошо и даже с симпатией; однако настоящую нежность я питаю только к тем, кто был там и понес ту кару, которая постигает всех, пробывших там достаточно долго.

Ну да, любой калека может меня обдурить,— думал он, допивая джин, который ему не хотелось пить.— Любой сукин сын, если только ему как следует попало,— а кому же не попадает из тех, кто там долго пробыл? Вот таких я люблю.

Да,— согласилась другая, лучшая сторона его природы.— Таких ты любишь.

А зачем мне это надо? — думал полковник.— Зачем мне кого-то любить? Лучше бы поразвлечься напоследок.

Но и поразвлекься — говорила лучшая сторона его природы — ты не сможешь, не любя.

Ладно, ладно, вот я и люблю как последний сукин сын,— сказал себе полковник, правда, не вслух.

А вслух он сказал:

— Ну как, дозвонились, Арнальдо?

— Чиприани еще не пришел,— сказал слуга.— Его ждут с минуты на минуту, а я не кладу трубку, на случай если он сейчас появится.

— Дорогое удовольствие,— сказал полковник.— Ну-ка, доложите, кто там есть, и не будем терять время попусту. Я хочу знать точно, кто там сейчас есть.

Арнальдо что-то вполголоса произнес в трубку.

Потом он прикрыл трубку рукой:

— Я разговариваю с Этторе. Он говорит, что барона Альварито еще нет. Граф Андреа там, он довольно пьян, но, как говорит Этторе, не так пьян, чтобы вы не могли с ним повеселиться. Там все

дамы, которые обычно бывают после обеда, ваша знакомая греческая княжна и несколько человек, с которыми вы не знакомы. И разная шушера из американского консульства — они сидят там с полудня.

— Пусть позвонит, когда эта шушера уберется, — я тогда приду.

Арнальдо сказал что-то в трубку, а потом повернулся к полковнику, который смотрел в окно на купол Доганы:

— Этторе говорит, что он бы их выпроводил, но боится, не рассердится ли Чиприани.

— Скажите, чтобы он их не трогал. Раз им сегодня после обеда не нужно работать, почему бы им и не напиться, как всяким порядочным людям? Но я не хочу их видеть.

— Этторе говорит, что он позвонит. Он просит передать, что, по его мнению, они сами сдадут позиции.

— Поблагодарите его, — сказал полковник.

Он смотрел, как гондола с трудом движется по каналу против ветра, и думал, что если уж американцы пьют, их с места не сдвинешь. Я ведь понимаю, им здесь скучно. Да, здесь, в этом городе. Им тут очень тоскливо. Здесь холодно, платят им маловато, а топливо стоит дорого. Жены их молодцы, они мужественно делают вид, будто живут не в Венеции, а у себя в Киокаке, штат Айова, а дети уже болтают по-итальянски, как маленькие венецианцы. Но сегодня, Джек, мне не хочется разглядывать любительские снимки. Сегодня мы обойдемся без любительских снимков, без полупьяных откровений, назойливых уговоров выпить и скучных неурядиц консульского быта.

— Нет, Арнальдо, мне сегодня что-то не хочется ни второго, ни третьего, ни четвертого вице-консулов.

-- В консульстве есть очень милые люди.

— Да, — сказал полковник. — В девятьсот восемнадцатом тут был чертовски симпатичный консул. Его все любили. Сейчас вспомню, как его фамилия.

— Вы любите уходить далеко в прошлое, полковник.

— Так дьявольски далеко, что меня это даже не веселит.

— Неужели вы помните все, что было когда-то?

— Все, — сказал полковник. — Его фамилия была Керрол.

— Я о нем слышал.

— Вас тогда еще и на свете не было.

— Неужели вы думаете, что надо вовремя родиться, чтобы знать все, что тут происходит?

— Да, вы правы. Неужели все тут знают всё, что происходит в городе?

— Не все. Но почти все, — сказал слуга. — В конце концов простыни есть простыни, кто-то должен их менять, кто-то должен их стирать. Я не говорю, конечно, о постельном белье в таком отеле, как наш.

— Мне случалось совсем неплохо обходиться и без постельного белья.

— Еще бы! Но гондольеры — хотя они и самые компанейские люди и самые, на мой взгляд, у нас порядочные — любят поболтать.

— Я думаю!

— Потом священники. Они хоть никогда и не нарушают тайны исповеди, но тоже любят почесать языки.

— Еще бы!

— А их домоправительницы — посплетничать друг с другом.

— Это их право.

— Теперь — официанты. Люди разговаривают за столиком так, словно официант — глухонемой. У официанта есть правило никогда не подслушивать беседы клиентов. Но уши-то ведь себе не заткнешь!

У нас, между собой, тоже идут разговоры, — конечно, не в таком отеле, как этот... И так далее.

— Да, теперь понятно.

— Я не говорю уже о парикмахерах!

— Какие новости на Риальто?

— Вам расскажут у «Гарри», — все, кроме того, в чем замешаны вы сами.

— А я в чем-нибудь замешан?

— Все обо всем знают.

— Ну что ж, меня это только украшает.

— Кое-кто не понимает той истории в Торчелло.

— Да будь я проклят, если я сам что-нибудь понимаю!

— А сколько вам лет, полковник, простите за нескромность?

— Пятьдесят, да еще один. Почему вы об этом не спросили портье? Я всегда заполняю листок для квестуры¹.

— Я хотел это услышать от вас самих и поздравить.

— О чем это вы? Не понимаю.

— Разрешите вас все-таки поздравить.

— Не могу, раз не знаю, с чем.

— Вас очень любят у нас в городе.

— Спасибо. Вот это мне приятно слышать!

В эту минуту зазвонил телефон.

— Я возьму трубку, — сказал полковник и услышал голос Этторе:

— Кто говорит?

— Полковник Кантуэлл.

— Позиция сдана, полковник.

— Куда они пошли?

— В сторону Пьяццы.

— Хорошо. Я сейчас буду.

— Приготовить вам столик?

— В углу, — сказал полковник и положил трубку. — Я пошел к «Гарри».

— Счастливой охоты.

— Охотиться я буду на уток послезавтра поутру в botte² на болотах.

— Ну и холодно же там будет!

— Наверно, — сказал полковник, надел плащ и поглядел на себя в большое зеркало, надвигая фуражку. — Ну и уродина! — сказал он в зеркало. — Вы когда-нибудь видели более уродливое лицо?

— Да, — сказал Арнальдо. — Мое. Каждое утро, когда бреюсь.

— Нам обоим лучше бриться в темноте, — сказал полковник и вышел.

Глава девятая

Когда полковник Кантуэлл шагнул за порог гостиницы «Гритти-Палас», солнце уже заходило. На той стороне площади еще было солнечно, но там дул холодный ветер, и гондольеры предпочли укрыться под стенами «Гритти», пожертвовав остатками дневного тепла.

Отметив это про себя, полковник пошел направо по площади до угла мощеной улицы, сворачивавшей тоже вправо. Там он задержался и поглядел на церковь Санта Мария дель Джильо.

¹ Полиция.

² Бочка (итал.).

Какое красивое, компактное здание, а в то же время так и кажется, что оно вот-вот оторвется от земли. Никогда не думал, что маленькая церковь может быть похожа на Р-47¹. Надо выяснить, когда она была построена и кто ее строил. Ах, черт, жаль, что я не могу всю жизнь бродить по этому городу. Всю жизнь? — подумал он. — Вот умора! Умереть можно от смеха. Подавиться от смеха. Ладно, брось, — сказал он себе. На похоронной кляче далеко не уедешь.

К тому же, — думал он, разглядывая витрины, мимо которых шел (charcuterie² с сырами пармезан, окороками из Сан-Даниеле, колбасками alla cacciato³, бутылками хорошего шотландского виски и настоящего джина Гордон; лавок ножовых изделий; антиквара со старинной мебелью, старинными гравюрами и картами; второсортного ресторана, пышно разукрашенного под первосортный), а потом приближаясь к первому мостику через один из боковых каналов, где ему надо было подняться по ступенькам, я не так уж плохо себя чувствую. Вот только этот шум в ушах. Помню, когда он у меня появился, я думал, что в лесу гудят цикады; мне тогда не хотелось спрашивать молодого Лаури, но я все-таки спросил. Он ответил: «Нет, генерал, я не слышу ни кузнечиков, ни цикад. Ночь совсем тихая, и слышно только то, что слышно всегда».

Потом, поднимаясь по ступенькам, он почувствовал боль, а спускаясь с моста, увидел двух красивых девушек. Они были хороши собой и одеты бедно, но с природным шиком; они с жаром о чем-то болтали, а ветер трепал их волосы, когда они взбегали по лестнице на длинных, стройных, как у всех венецианок, ногах. Полковник подумал, что ему, пожалуй, не стоит глазеть на витрины, — ему ведь надо взобраться еще на один мост, пройти еще две площади, свернуть направо, а потом идти все прямо, пока он, наконец, не дойдет до «Гарри».

Он так и поступил, с трудом преодолев боль, двигаясь обычным размашистым шагом и только изредка поглядывая на прохожих. В этом воздухе много кислорода, — думал он, подставляя лицо ветру и глубоко вдыхая.

Но вот он отворил дверь в бар «Гарри» и вошел туда — он и на этот раз добрался благополучно — и, наконец, был дома.

Возле стойки он увидел высокого, очень высокого человека с помятым, но породистым лицом, веселыми синими глазами и длинным, разболтанным телом, как у поджарого волка.

— Привет, о мой маститый, но нечестивый полковник, — сказал он.

— Привет, мой беспутный Андреа.

Они обнялись, и рука полковника почувствовала грубую домо-тканую шерсть нарядного пиджака Андреа, который тот носил вот уже лет двадцать.

— У вас прекрасный вид, Андреа.

Это была ложь, что оба они отлично знали.

— Еще бы, — сказал Андреа, платя ему той же монетой. — Никогда не чувствовал себя лучше. Но и вы прекрасно выглядите.

— Спасибо. Ох и здоровы же мы, черти и всей земли наследники!

— Прекрасно сказано! Я бы не прочь получить в наследство хоть клочок земли!

— Что вы канючите! Дадут вам не меньше ста девяноста сантиметров земли.

¹ Марка самолета.

² Колбасная (франц.).

³ По-охотничьи (итал.).

— Мой рост сто девяносто пять,— сказал Андреа.— Ах вы, безбожник! Ну как, все еще тянете ляжку *la vie militaire*¹?

— Тяну, но не надрываюсь,— сказал полковник.— Приехал поохотиться у Сан-Релахо.

— Знаю. Альварито вас искал. Просил сказать, что еще вернется.

— Хорошо. А ваша милая жена и дети здоровы?

— Вполне, просили передать вам привет, если я вас увижу. Они сейчас в Риме. Вот идет ваша девушка. Или одна из ваших девушек.

Он был такой высокий, что ему было видно даже то, что делается на улице; там уже стемнело; правда, эту девушку можно было узнать и в полной темноте.

— Пригласите ее выпить с нами у стойки, прежде чем уведете в угол, к своему столику. А ведь хороша, верно?

— Да.

И вот она вошла — во всей своей красе и молодости, — высокая, длинноногая, со спутанными волосами, которые растрепал ветер. У нее была бледная, очень смуглая кожа и профиль, от которого у тебя щемит сердце, да и не только у тебя; блестящие темные волосы падали на плечи.

— Здравствуй, чудо ты мое,— сказал полковник.

— Здравствуй! — сказала она.— А я уж боялась, что тебя не застану. Прости, что я очень поздно.

Голос у нее был низкий, нежный; она старательно выговаривала английские слова.

— Сiao, Андреа,— сказала девушка.— Как Эмили и дети?

— Наверно не хуже, чем в полдень, когда вы задали мне этот же самый вопрос.

— Пожалуйста, простите,— сказала она и покраснела.— Я почему-то ужасно волнуюсь и потому я всегда говорю невпопад. А что мне надо было спросить? Ах да, вы весело провели здесь день?

— Да,— сказал Андреа.— Вдвоем со старым другом и самым нелицеприятным судьей.

— А кто он такой?

— Шотландское виски с содовой.

— Ну что ж, если он хочет меня дразнить, пусть дразнит,— сказала она полковнику.— Но ты не будешь меня дразнить, правда?

— Ведите его к тому столику в углу и разговаривайте с ним там. Вы оба мне надоели.

— А вы мне еще не надоели,— сказал полковник.— Но мысль у вас правильная. Давай, Рената, лучше сядем за столик, ладно?

— С удовольствием, если Андреа не рассердится.

— Я никогда не сержусь.

— А вы с нами выпьете, Андреа?

— Нет. Ступайте к вашему столику. Мне тошно, что он пустой.

— До свиданья, саго!² Спасибо за компанию, хотя вы и не хотите с нами посидеть.

— Сiao, Рикардо,— коротко сказал Андреа. Он повернулся к ним сухой, длинной, нервной спиной, поглядел в зеркало, которое всегда висит за стойкой, чтобы видеть, когда выпьешь лишнего, и решил, что лицо, которое на него оттуда смотрит, ему не нравится.— Этторе,— сказал он,— запишите эту мелочь на мой счет.

Он спокойно дождался, чтобы ему подали пальто, размашисто су-

¹ Солдатской жизни (франц.).

² Дорогой (итал.).

нул руки в рукава, дал на чай швейцару ровно столько, сколько полагалось, ялос двадцать процентов, и вышел.

За столиком в углу Рената спросила:

— Как ты думаешь, он на нас не обиделся?

— Нет. Тебя он любит, да и ко мне хорошо относится.

— Андреа — очень милый. И ты тоже очень милый.

— Официант! — позвал полковник, а потом спросил: — Тебе тоже сухого мартини?

— Да. Пожалуйста.

— Два самых сухих мартини «Монтгомери».

Официант, который воевал в пустыне, улыбнулся и отошел, а полковник обернулся к Ренате.

— Ты милая. И к тому же очень красивая. Ты — мое чудо, и я тебя люблю.

— Ты всегда так говоришь, — я, правда, не очень понимаю, что это значит, но слушать мне приятно.

— Сколько тебе лет?

— Почти девятнадцать. А что?

— И ты еще не понимаешь, что это значит?

— Нет. А почему я должна понимать? Американцы всегда так говорят, когда собираются уехать. У них, наверно, так принято. Но я тебя тоже очень люблю.

— Давай веселиться, — сказал полковник. — Давай ни о чем не думать.

— С удовольствием. Вечером я все равно не умею как следует думать.

— Вот и наши коктейли, — сказал полковник. — Помни, когда пьешь, нельзя говорить «ну, поехали»!

— Я уже помню. Я теперь никогда не говорю «ну, поехали», или «раздавим по маленькой», или «пей до дна».

— Надо просто поднять бокалы и, если хочешь, можно чокнуться.

— Да, хочу, — сказала она.

Мартини было холодное, как лед, настоящее «Монтгомери», и, чокнувшись, они почувствовали, как веселый жар согревает им грудь.

— А что ты без меня делала? — спросил полковник.

— Ничего. Я все жду, когда мне надо будет ехать в школу.

— В какую теперь?

— А бог ее знает. Куда-нибудь, где я выучусь по-английски.

— Будь добра, поверни голову и подыми подбородок.

— Ты надо мной смеешься?

— Нет. Не смеюсь.

Она повернула голову и вскинула подбородок, без тени кокетства, без малейшего тщеславия. И полковник почувствовал, как сердце у него в груди перевернулось, словно спавший в норе зверь перевалился с боку на бок, приятно напугав спавшего с ним рядом другого зверя.

— Ах, ты, — сказал он, — ты ни разу не пыталась попасть в царяцы небесные?

— Что ты, разве можно так богохульничать?

— Наверно нельзя, и я снимаю свое предложение.

— Ричард, — начала она. — Нет, не скажу.

— Скажи!

— Не хочу.

Полковник подумал: Сейчас же скажи, я приказываю! И она сказала:

— Не смей никогда на меня так смотреть!

— Прости! Я нечаянно. Вспомнил свое ремесло.

— А если бы мы были с тобой — как это говорят? — замужем, ты бы и дома занимался своим ремеслом?

— Нет! Клянусь, что нет. Дома, нет. Душой, во всяком случае.

— Ни с кем?

— С людьми твоего пола — нет.

— Мне не нравится, как ты это говоришь: «твоего пола». Это опять оттуда, из твоего ремесла.

— Плевал я на мое ремесло. Хочешь, я выброшу его в Большой Канал?

— Видишь, — сказала она, — вот ты опять берешься за свое ремесло!

— Ладно, — сказал он. — Я тебя люблю и могу вежливо распротиться с моим ремеслом.

— Дай я подержу твою руку, — попросила она. — Ну вот. Теперь можешь опять положить ее на стол.

— Спасибо, — сказал полковник.

— Не смейся. Мне надо было ее потрогать потому, что всю неделю, каждую ночь или почти что каждую ночь она мне снилась. Сон был такой странный, мне снилось, что это рука нашего Спасителя.

— Нехорошо! Такие вещи не должны сниться.

— Конечно. Но чем я виновата, что мне это снилось?

— А ты чего-нибудь не нанюхалась, а?

— Не понимаю, и, пожалуйста, не смейся, когда я говорю правду. Мне это на самом деле снилось.

— А как вела себя рука?

— Никак. Ну, это, может, и не совсем правда. Но почти все время это была просто рука.

— Такая, как эта? — спросил полковник, с отвращением глядя на искалеченную руку и вспоминая те два дня, которые ее такой сделали.

— Не *такая*, как эта, а эта самая. Можно мне ее чуть-чуть потрогать, если тебе не больно?

— Нет, не больно. У меня болят только голова, ноги и ступни. А рука, по-моему, вовсе ничего не чувствует.

— Неверно, Ричард, — сказала она. — Эта рука все отлично чувствует.

— Я не люблю на нее смотреть. Давай-ка лучше закроем на нее глаза.

— Давай. Но тебе она не снится.

— Нет. Мне снятся другие сны.

— Да. Наверно. А вот мне последнее время снится эта рука. Теперь, когда я ее потрогала, мы можем поговорить о чем-нибудь веселом. О чем бы это веселом нам с тобой поговорить?

— Давай смотреть на людей, а потом будем о них разговаривать.

— Чудно! — сказала она. — Но мы не будем говорить о них гадости. Только чуть-чуть посмеемся. Мы ведь это умеем, правда? И ты и я.

— Ладно, — сказал полковник. — Официант! Ancora due martini¹.

Ему не хотелось громко произносить слово «Монтгомери», потому что за соседним столиком сидела какая-то пара, явно англичане.

А вдруг этот англичанин был ранен в пустыне? — подумал полковник. — Хотя что-то непохоже. Но не дай мне бог вести себя по-свински. Посмотри лучше, какие глаза у Ренаты, — думал он. — Это самое красивое из всей ее красоты, и таких длинных ресниц я ни у кого не видел, и глазок она не строит, а смотрит всегда прямо и открыто. Она замечательная девушка, но я-то что делаю? Ведь это подло! Она

¹ Еще два мартини! (итал.).

твоя последняя, настоящая и единственная любовь, — думал он, — и ничего тут подлого нет. Это просто твоя беда, вот и все. Неправда, это — счастье, тебе очень посчастливилось.

Они сидели за маленьким столиком в углу, а справа от них, за столом побольше, сидело четверо женщин. Одна из них была в трауре, но траур выглядел так театрально, что напомнил полковнику Диану Маннерс, игравшую монахиню в «Чуде» Макса Рейнгардта. У женщины было миловидное, пухлое, веселое от природы лицо, и траур выглядел на ней нелепо.

У другой женщины за этим же столиком волосы в три раза белее, чем обыкновенная седина, — думал полковник. — Лицо у нее тоже симпатичное. Лица остальных двух женщин ему ничего не говорили.

— По-твоему, они лесбийки? — спросил он Ренату.

— Не знаю. Но они очень милые.

— По моему, лесбийки. А может, просто подруги. Или и то и другое. Мне-то все равно, я их не осуждаю.

— Я люблю, когда ты добрый.

— Как ты думаешь, слово «доблестный» произошло от слова «добрый»?

— Не знаю, — сказала девушка и кончиками пальцев погладила его искаленную руку. — Но я люблю тебя, когда ты добрый.

— Тогда я постараюсь быть добрым, — сказал полковник. — А кто, по-твоему, вон тот сукин сын, который сидит за ними?

— Ненадолго же хватает твоей доброты, — сказала девушка. — Давай спросим Этторе.

Они поглядели на человека, сидевшего за третьим столиком. У него было странное лицо, напоминавшее увеличенный профиль обиженного судьбою хорька или ласки, а кожа испещрена оспинами и пятнами, как поверхность луны, на которую смотришь в дешевый телескоп; полковник подумал, что человек этот похож на Геббельса, если бы у герра Геббельса загорелся самолет и он не смог оттуда вовремя выбраться.

Над лицом, которое беспрерывно во что-то вглядывалось, словно все на свете можно узнать — стоит только разглядеть или выспросить как следует, торчали черные волосы, но совсем не такие, как у людей. Казалось, будто с него сняли скальп, а потом наклеили волосы обратно. Занятный тип, — думал полковник. Неужели он мой соотечественник? Похоже, что да.

Когда тот, прищурившись, разговаривал с пожилой, цветущей дамой, сидящей рядом, в уголках его рта выступала слюна. А эта женщина похожа на американских матерей, которых изображают в «Лэдис хоум джорнэл»¹. «Лэдис хоум джорнэл» регулярно выписывали для офицерского клуба в Триесте, и полковник всегда его просматривал. Превосходный журнал, — думал он, — половой вопрос наряду с самой изысканной кулинарией. Возбуждает и тот и другой аппетит.

Но кто же он такой, этот тип? Чем не карикатура на американца, которого наскоро пропустили через мясорубку, а потом окунули в кипящее масло. Что-то я, кажется, опять не очень добрый, — подумал полковник.

К их столику подошел Этторе, — лицо у него было аскетическое, но он любил пошутить и не верил ни в бога, ни в черта. Полковник его спросил:

— Кто эта одухотворенная личность?

Но Этторе только развел руками.

Человек был невысокий, смуглый, глянцевитые чер-

¹ Дамский журнал, выходит в США.

ные волосы удивительно не шли к его странному лицу. У него такой вид, — думал полковник, — будто он забыл переменить парик, когда постарел. Но лицо поразительное. Похоже на холмы вокруг Вердена. Не думаю, чтобы это был Геббельс, зачем бы он выбрал себе такое лицо в те дни, когда все они разыгрывали «Сумерки богов»? *Komm, süsßer Tod*¹. Ну что ж, в конце концов — все они отхватили по большому, сочному ломтю этой самой *süsßer Tod*.

— Не хотите ли бутерброд с *süsßer Tod*, мисс Рената?

— Пожалуй, нет, — сказала она. — Хотя я люблю Баха и знаю, что Чиприани мог бы приготовить мне такой бутерброд.

— А я ничего и не говорю против Баха.

— Знаю.

— Черт подери! — сказал полковник. — Бах ведь, в сущности, был нашим союзником. Как и ты, — добавил он.

— Ну, меня ты, пожалуйста, не трогай!

— Дочка, — сказал полковник, — когда же ты поймешь, что мне можно над тобой шутить — ведь я тебя люблю!

— Я это поняла. Но, знаешь, гораздо веселее, когда шутки не очень грубые.

— Хорошо. И я понял.

— Сколько раз ты думал обо мне на этой неделе?

— Все время.

— Нет, скажи правду!

— Все время. Правда.

— Ты думаешь, у нас с тобой это такой тяжелый случай?

— Почему я знаю, — сказал полковник. — Как я могу знать?

— Надеюсь все-таки, что у нас с тобой это не такой уж тяжелый случай. Я никак не думала, что это будет такой тяжелый случай!

— А теперь думаешь?

— Да, теперь я вижу, — сказала девушка. — Теперь, и навсегда, и во веки веков. Я правильно сказала?

— Довольно и одного «теперь». Скажите, Этторе, а этот тип с обаятельным лицом, рядом с ним сидит такая симпатичная женщина, — он не в «Гритти» живет, а?

— Нет, — сказал Этторе. — Он живет поблизости, но иногда ходит в «Гритти» обедать.

— Великолепно, — сказал полковник. — Теперь я знаю, на что мне смотреть, когда нападёт тоска. А кто ему эта женщина? Жена? Мать? Дочь?

— Увы! Не знаю! — сказал Этторе. — Мы тут в Венеции почему-то за ним плохо следили. Он у нас почему-то не вызвал ни любви, ни ненависти, ни страха, ни подозрений. Но вас он в самом деле интересует? Я могу расспросить Чиприани.

— Давай-ка лучше закроем на него глаза, — сказала девушка. — Ты так, кажется, говоришь?

— Что ж, давай закроем.

— Ну да, раз у нас так мало времени, Ричард. Зачем на него тратить время?

— Я смотрел на него, как на рисунок Гойи. Лица ведь — те же картины.

— Смотри на мое лицо, а я буду смотреть на твое. Давай на него закроем глаза, хорошо? Он ведь пришел сюда просто так и никому не мешает.

— Давай я буду смотреть на твое лицо, а ты на мое не смотри.

¹ «Приди, сладостная смерть» (нем.) — Бах, Духовная песня, мелодия 59.

— Нет,— сказала она.— Это нечестно. Мне ведь твое лицо надо запомнить на целую неделю.

— Ну, а что ж тогда мне прикажешь делать? — спросил ее полковник.

К ним опять подошел Этторе,— это был отчаянный заговорщик, и, быстро, как истый венецианец, наведя справки, он сообщил:

— Мой товарищ, который работает в той гостинице, говорит, что он выпивает три-четыре рюмки виски, а потом садится писать и пишет очень длинно и бегло далеко за полночь.

— Представляю, как это увлекательно будет читать!

— Да, и я себе представляю,— сказал Этторе.— Данте, наверно, работал иначе.

— Данте был тоже vieux con¹,— сказал полковник.— Как мужчина, а не как писатель.

— Вы правы,— признал Этторе.— Никто из знатоков, кроме флорентийцев, не будет этого отрицать.

— Начхать нам на Флоренцию,— сказал полковник.

— Ну, это не так-то просто,— сказал Этторе.— Многие пытались, но редко кому это удавалось. А чем она вам, полковник, не нравится?

— Трудно объяснить. Когда я был мальчишкой, там был сборный пункт моего полка,— он сказал по-итальянски — *deposito*.

— Тогда понятно. У меня тоже есть причины ее не любить. А вы знаете какие-нибудь хорошие города?

— Да,— сказал полковник.— Этот. Кое в чем Милан, Болонья. И Бергамо.

— Чиприани припас много водки на случай, если придут русские,— сказал Этторе. Он любил отпустить крепкую шуточку.

— Они привезут свою водку. И пошлины платить не будут.

— А Чиприани все же подготовился к их приходу.

— Ну тогда он — единственный, кто к этому готов. Посоветуйте ему не брать от младших офицеров чеков на Одесский банк, и спасибо вам за сведения о моем соотечественнике. Больше я не буду отнимать у вас время.

Этторе отошел. Девушка заглянула в старые стальные глаза полковника и положила обе свои руки на его искалеченную руку.

— Ты сегодня довольно добрый,— сказала она.

— А ты ужасно красивая, и я тебя люблю.

— Ну что ж, это приятно слышать!

— Где мы будем ужинать?

— Мне надо позвонить домой и спросить, можно ли мне не ужинать дома.

— А почему ты стала грустная?

— Разве я грустная?

— Да.

— И совсем я не грустная. Такая же веселая, как всегда. Честное слово, Ричард. Но, ты думаешь, приятно, если тебе девятнадцать лет и ты влюбилась в человека, которому за пятьдесят, и ты знаешь, что он скоро умрет?

— Ну, зачем так прямо? — спросил полковник.— Но когда ты это говорила, ты была очень красивая!

— Я никогда не плачу,— сказала девушка.— Никогда. У меня даже есть такое правило — никогда не плакать. Но сейчас я заплачу.

— Не плачь,— сказал полковник.— Ведь я сегодня добрый, правда? А что до всего прочего,— ну его к дьяволу!

— Скажи еще раз, что ты меня любишь.

¹ Старый хрен (франц.).

- Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя.
- А ты постарайся не умирать?
- Да.
- Что говорил доктор?
- Да ничего особенного...
- Но хуже тебе не стало?
- Нет, — солгал он.
- Тогда выпьем еще по одному мартини. Ты знаешь, я до тебя никогда не пила мартини.
- Знаю. Но теперь здорово пьешь.
- А лекарство тебе принимать не пора?
- Пора, — сказал полковник. — Лекарство пора принять.
- Можно, я тебе его дам?
- Да, — сказал полковник. — Можно.

Они всё сидели за столиком в углу, и какие-то люди входили в бар, а другие выходили. У полковника от лекарства слегка закружилась голова, и он ждал, пока это пройдет. Каждый раз одно и то же, — думал он. — Черт бы его побрал, это лекарство!

Он видел, что девушка наблюдает за ним, и улыбнулся. Это была привычная, испытанная улыбка, которой он пользовался вот уже пятьдесят лет с тех пор, как улыбнулся впервые, и она до сих пор ему не изменяла, как дедушкино охотничье ружье. Ружье, наверно, взял старший брат. Что ж, он всегда стрелял лучше меня, — думал полковник, — ружье принадлежит ему по праву.

— Слушай, дочка, — сказал он. — Ты только из-за меня не расстраивайся.

— Я и не расстраиваюсь. Ни чуточки. Но я тебя люблю.

— Тоже не бог вещь какое занятие, правда? — Он сказал *oficio* вместо «занятие», — когда им надоедало говорить по-французски, а по-английски при посторонних разговаривать не хотелось, они иногда разговаривали по-испански. Испанский — язык грубый, — думал полковник, — иной раз грубее кукурузной кочерыжки. Но зато всегда можно точно выразить свою мысль, и она запомнится.

— *Es un oficio bastante malo*, — повторил он, — любить меня.

— Да. Но это единственное мое занятие.

— А стихов ты больше не пишешь?

— Ну, это были школьные стихи. Так же, как и мое рисование.

У всех у нас в детстве бывают таланты.

В каком же возрасте у них тут стареют? — думал полковник. — В Венеции не бывает стариков, но мужают здесь очень быстро. Я и сам быстро возмужал в Венеции и никогда уж потом не был таким взрослым, как в двадцать один год.

— Как мама? — спросил он ласково.

— Очень хорошо. Она никого не принимает и почти не видит людей, у нее ведь такое горе.

— Как ты думаешь, она очень расстроится, если у нас будет ребенок?

— Трудно сказать. Она очень умная. А мне все равно придется за кого-нибудь выйти замуж. Но очень не хочется.

— Мы могли бы с тобой пожениться.

— Нет, — сказала она. — Я подумала и решила, что лучше не надо. Это — такое же решение, как насчет того, что не нужно плакать.

— А что, если ты решила неверно? Видит бог, я тоже принимал неверные решения, и очень много людей погибло из-за того, что я ошибался.

— По-моему, ты преувеличиваешь. Не верю, чтобы ты часто ошибался.

— Не часто. Но бывало,— сказал полковник.— В моем деле трех раз больше чем достаточно, а я ошибся целых три раза.

— Расскажи, как это было.

— Тебе будет скучно,— сказал ей полковник.— Мне самому до смерти тошно, когда я вспоминаю, а другим — тем более.

— А я разве другая?

— Нет. Ты — моя любовь. Моя последняя, единственная и настоящая любовь.

— А ты их принял, эти решения, давно или недавно?

— Одно — давно. Другое попозже. А третье недавно.

— Может, ты мне все-таки расскажешь? Я тоже хочу заниматься твоим скверным ремеслом вместе с тобой.

— А ну его к дьяволу! — сказал полковник.— Ошибки были сделаны, и я заплатил за них сполна. Беда только в том, что расплатиться за них невозможно.

— Расскажи, как это было и почему невозможно.

— Не хочу,— сказал полковник. И переубедить его было нельзя.

— Тогда давай веселиться.

— Давай,— сказал полковник.— Жизнь-то ведь у нас только одна.

— А вдруг не одна? Вдруг будут еще другие?

— Не думаю,— сказал полковник.— Ну-ка, повернись ко мне в профиль, чудо мое!

— Вот так?

— Так,— сказал полковник.— Именно так.

Ну вот,— подумал полковник,— начался последний раунд, а я даже не знаю, какой он по счету. Я любил в своей жизни только трех женщин и трижды их терял.

Женщину теряешь так же, как теряешь свой батальон,— из-за ошибки в расчетах, приказа, который невыполним, и немислимо тяжелых условий. И еще — из-за своего скотства.

Я потерял в своей жизни три батальона и трех женщин, а теперь у меня четвертая, самая красивая из всех, и чем же, черт подери, это кончится?

А ну-ка объясните, генерал,— ведь у нас сейчас не военный совет, а свободный обмен мнениями по поводу создавшейся обстановки,— ответьте мне, генерал, на вопрос, который вы мне сами не раз задавали: *где же ваша кавалерия, генерал?*

Ну вот, так я и думал — сказал он себе.— Командир не знает, где его кавалерия, а кавалерия не разбирается ни в своем положении, ни в своих задачах, и часть ее, ровно столько, сколько для этого нужно, изгадит все дело, как гадила кавалерия во всех войнах, с тех самых пор, как ее посадили на коней.

— Чудо ты мое,— сказал он.— *Ma très chère et bien-aimée*¹. Я очень скучный человек, ты уж меня, пожалуйста, прости.

— Мне с тобой никогда не скучно, я ведь тебя люблю. Мне только хочется, чтобы сегодня мы были повеселее.

— Будь я проклят, но сегодня мы будем веселые,— сказал полковник.— А ты не знаешь чего-нибудь особенно веселого?

— А мы сами разве не веселые, да и все, что творится тут в городе... Ты ведь часто бываешь веселый.

— Да,— признал полковник,— бывал.

¹ Самая дорогая и любимая (франц.).

— Неужели мы не можем еще раз повеселиться?
— Конечно. Можем. Отчего же...
— Видишь того молодого человека с волнистыми волосами, — он их не завивает, он их только аккуратно укладывает, чтобы казаться покрасивее.

— Вижу.

— Это очень хороший художник, но передние зубы у него фальшивые. Он был раньше *pédèraste*, но другие *pédèrastes* как-то раз напали на него на Лидо во время полнолуния.

— Сколько тебе лет?

— Скоро будет девятнадцать.

— Откуда же ты все это знаешь?

— Мне рассказывал один гондольер. Этот молодой человек по нашим временам очень хороший художник. Теперь ведь настоящих художников не бывает. Но подумай, ходить с фальшивыми зубами в двадцать пять лет — это просто смешно!

— Я тебя очень люблю, — сказал полковник.

— И я тебя очень люблю. Я только не знаю, что это значит по-вашему, по-американски. Но я люблю тебя и по-итальянски, хотя это против моих взглядов и против моего желания.

— Нельзя так чертовски много желать, — сказал полковник, — не то, смотри, желание возьмет да исполнится!

— Верно, — сказала она. — Но я бы очень хотела, чтобы мое теперешнее желание исполнилось.

Оба помолчали, потом девушка сказала:

— Этот молодой человек, — он теперь уже мужчина и ухаживает за женщинами, чтобы скрыть, что он такое, — написал мой портрет. Хочешь, я тебе его подарю?

— Спасибо. Я буду очень рад, — сказал полковник.

— Там все так поэтично! Волосы куда длиннее, чем у меня на самой деле; и кажется, будто я выхожу из моря, даже не намочив головы! А когда выходишь из воды, волосы прилизанные, концы у них слипшиеся, и вся ты похожа на дождливую крысу. Но папа щедро заплатил за портрет, и хотя это совсем не я, но такой ты бы хотел меня видеть.

— Я часто себе представляю, как ты выходишь из моря.

— Ну да. Ужасное уродство!.. Может, ты все-таки возьмешь этот портрет на память?

— А твоя мама возражать не будет?

— Нет, мама возражать не будет. По-моему, она будет даже рада от него избавиться. У нас есть картины получше.

— Я очень люблю вас обоих — и тебя и твою маму.

— Я ей это непременно скажу.

— Как ты думаешь, этот конопатый хлюст правда писатель?

— Да. Этторе ведь тебе сказал. Этторе любит пошутить, но никогда не врет. Ричард, что такое хлюст? Только ты надо мной не смейся.

— Боюсь, что это трудно объяснить. По-моему, хлюст — это человек, который никогда всерьез не занимался своим делом (*oficio*), и только раздражает всех своим нахальством.

— Мне надо научиться правильно употреблять это слово.

— Не стоит употреблять его вообще. — Потом он спросил: — А когда я получу твой портрет?

— Если хочешь, сегодня. Я попрошу, чтобы его упаковали и послали тебе. Где ты его повесишь?

— У себя дома.

— А туда никто не придет и не будет надо мной смеяться и говорить гадости?

— Нет. Пусть только попробуют. И потом я им скажу, что это — портрет моей дочери.

— А у тебя когда-нибудь была дочь?

— Нет, но мне всю жизнь хотелось, чтобы она была.

— Но я могу быть тебе и дочерью тоже.

— Тогда это будет кровосмешением.

— В таком старинном городе, как наш, это никого не испугает. Чего тут только не видали!

— Послушай, дочка...

— Вот хорошо, — сказала она. — Мне очень нравится.

— Ну и слава богу, — сказал полковник. Его голос звучал чуть-чуть хрипло. — Мне тоже нравится.

— Теперь ты понимаешь, за что я тебя люблю, хотя и знаю, что этого не надо?

— Послушай, дочка... Где мы будем ужинать?

— Где хочешь!

— Давай поужинаем в «Гритти»?

— Давай.

— Тогда позвони домой и спроси разрешения.

— Не хочу. Я не буду просить разрешения, я просто им скажу, где я ужинаю, чтобы они не беспокоились.

— Но ты в самом деле хочешь ужинать в «Гритти»?

— Конечно. Это очень хороший ресторан, и ты там живешь, и все могут нас там видеть.

— С каких пор ты стала такой?

— А я и была такая. Мне всегда было все равно, что обо мне думают. И потом, я никогда не делала того, чего бы надо было стыдиться, разве что врала, когда была маленькая, и грубила.

— Эх, как бы я хотел, чтобы мы могли пожениться и родить пятерых сыновей, — сказал полковник.

— Я тоже, — сказала девушка. — И разослать их в пять разных концов света.

— А разве у света пять концов?

— Не знаю, — сказала она. — Пока я говорила, мне казалось, что да. Ну вот видишь, мы опять веселимся, правда?

— Да, дочка.

— Ну-ка, скажи еще раз. Повтори, как ты сказал.

— Да, дочка.

— Ах! — сказала она. — Почему у людей все так сложно? Можно мне подержать твою руку?

— Она такая уродливая, мне самому противно на нее смотреть.

— Ты даже не понимаешь, какая у тебя рука!

— Это, конечно, дело вкуса, — сказал он. — Но ты, дочка, все же не права.

— Может быть. Но, видишь, мы опять веселимся, а то плохое, что у нас было на сердце, теперь ушло.

— Ушло, как туман из низины, когда над холмами встает солнце, — сказал полковник. — И ты это солнце.

— А мне хочется быть похожей на луну.

— Ты и луна тоже. И любая другая планета, какая тебе нравится, и я даже могу тебе точно сказать, где эта планета находится. Господи Иисусе, дочка, да если хочешь, будь хоть целым созвездием!

— Нет, лучше я буду луной. У нее тоже есть свои неприятности.

— Да. Невзгоды и к ней приходят в положенный срок. Но прежде чем луне пойти на убыль, всегда бывает полнолуние.

— Она мне кажется иногда такой грустной там, над Каналом, что у меня даже сердце щемит.

— Ей немало досталось на ее веку.

— Как ты думаешь, мы можем заказать еще по одному «Монтгомери»? — спросила девушка. И только тут полковник заметил, что англичане уже ушли.

Он ничего не видел, кроме ее лица. Смотри, тебя еще убьют, если так будешь зевать, — сказал он себе. С другой стороны, это своего рода сосредоточенность. Но так вести себя чертовски неосторожно!

— Конечно. Почему же нет?

— Мне от них делается очень приятно, — сказала девушка.

— У Чиприани их здорово готовят, они действуют даже на меня.

— Чиприани ужасно умный!

— Мало этого — он еще и мастер своего дела.

— Когда-нибудь он приберет к рукам всю Венецию.

— Не всю, — возразил полковник. — Тебя он не получит.

— Нет. Ни он и никто другой, пока ты меня хочешь.

— Я хочу тебя, дочка. Но я не хочу прибирать тебя к рукам.

— Знаю. Я тебя люблю и за это тоже.

— Давай позовем Этторе и попросим его позвонить к тебе домой. Ты им скажешь насчет портрета.

— Правильно. Если хочешь получить портрет сегодня, я попрошу дворецкого его упаковать и отправить. А потом я позову к телефону мамочку, скажу ей, где мы будем ужинать, и, если нужно, спрошу у нее разрешения.

— Не надо, — сказал полковник. — Этторе, дайте нам два самых лучших «Монтгомери» с мелкими оливками и, пожалуйста, позвоните домой к этой даме. Скажите нам, когда там кто-нибудь подойдет к телефону. И сделайте все побыстрей.

— Слушаюсь, полковник.

— Ну, а теперь, дочка, давай опять веселиться!

— Мы ведь уже начали, когда ты с ним заговорил, — сказала она.

*Перевод с английского
Е. Гольшиевой, Б. Изакова*

(Продолжение следует)



НИКОЛАЙ АНЦИФЕРОВ

ШАХТЕРСКИЕ СТИХИ

Н а этом доме не прикрепят
Мемориального квадрата.
Прохожего не бросит в трепет
Напоминая,
Что когда-то
Здесь жил шахтер:
Слова и даты.
Подумаешь, какая драма!

* * *

Я как шахтер не претендую,
Чтобы расходовали мрамор
На незначительность такую.
И горевать об этом нечего.
Нас вообще обидеть нечем.
Не надо нас увековечивать,
Шахтер и так увековечен.

* * *

С ижу,
Ищу на солнце пятна,
Сижу,
Считаю облака,
Сижу, —
И каждому понятно,
Что в ожидании гудка
Сижу, валяю дурака.
Идти не хочется от солнца.
Гудок-дружище, задержись!
Вдруг слышу голос незнакомца:
— Давайте застрахуем жизнь.
Он не спеша приводит факты,
Закрыв глаза, он говорит:
— Вот не подниметесь из шахты...
И делает серьезный вид.

Его освистывают птицы
И солнце жжет сильнее огня.
А собеседник грустнолицый
Все агитирует меня.
Чтоб не обидеть человека,
Я говорю:
— Послушай, брат.
Ей-ей, спешу.
Через полвека
Зайди.
Смертельно буду рад.
Мне улыбалось солнце мая,
Я, улыбаясь, шел в забой,
А он, плечами пожимая,
Все говорил с самим собой.

В ЛАВЕ

Я работаю, как вельможа,
Я работаю только лежа.
Не найти работенки краше,
Не для каждого эта честь.
Это — только в забое нашем:
Только лежа — ни встать, ни сесть.
На спине я лежу, как барин.
Друг мой рядом — упрямый
парень —
Комбайнер — говорит: — Ребята,
Поднажмем, говорит, веселей!

Веселей..
А ведь уголь не вата:
Малость крепче и тяжелей.
Эх, ты угольная перина!
Не расскажешь о ней в стихах.
Извиваешься, как балерина,
Но лопата играет в руках.
Отдохнуть бы минуту, две бы,
Отдыхаешь, когда простой.
Семьянин говорит о хлебе,
О любви говорит холостой.

Но промчится пара минут —
И напарник мой тут как тут.
Шепчет: «Коля, давай, давай...
Вместе взялись, не отставай!»

На спине снова пляшет кожа.
Я дружку отвечаю: — «Есть!»
Я работаю, как вельможа,
Не для каждого эта честь.



Была красавицею первой
На нашем руднике она.
Ей офицер носил консервы,
Не появлялся без вина —
С надменной миной на лице
Завоеватель-офицер.
Да, я судья ее морали.
Но дальше так пошли дела:
Завоеватели удрали,
Она мальчишку родила.
Родив мальчишку, умерла.
Соседи парня приютили.

Он рос, как все, — и груб и мил,
Его мальчишки колотили,
И он мальчишек колотил.
О прошлом друга понаслышке
Узнали — слухам нет границ.
И как-то бросили мальчишки
Ему презрительное: — «Фриц»...
Он, погасив обиды вспышку,
Побрел домой, сутуловат...
Растет на руднике мальчишка,
Растет строитель и солдат.

ПОДАРОК

Бывают в жизни огорченья.
Был женский день,
Была суббота,
Был у подруги день рожденья,
Была подруга на работе.
Ну что подарить ей, бедовой?
Одеколон, цветов корзину?
На глубине километровой
Еще не строят магазины.
В забоях далеки от моды,
Нет тяги к лайковым перчаткам.
Я небольшой кусок породы
Нашел с редчайшим отпечатком:
Цветок!

Без красок, аромата —
Рисунок — след цветка на камне,
Искусно сделанный веками.
А может быть, уже когда-то
Подарен был цветок вот этот?
Прообраз нашего букета —
Цветок — живой, пахучий,
зримый —
Герой вручал своей любимой?
А может...
Нет, гадать не будем.
Я отыскал в потемках штрека
На зависть современным людям
Подарок каменного века.

УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ

Она полезна ли, вредна ли, —
О том пусть думают врачи.
Еще в пеленках мы узнали,
Что пыль, конечно, не харчи.
Но под землей ее вдыхая,
Совсем не думаем о том,
Что — ах, какая пыль плохая!

Что с нами станется потом?!
От пыли мы страшны, как черти.
Но на здоровье жалоб нет.
Не знаю точно, сколько лет —
Но будем жить
До самой смерти.



АННА АХМАТОВА

МАРТОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Прошлогодных сокровищ моих
Мне надолго, к несчастью, хватит,
Знаешь сам, половины из них
Злая память никак не истратит;
Набок сбившийся куполок,
Грай вороний и вопль паровоза,
И как будто отбившая срок,
Ковылявшая в поле береза.
И огромных библейских дубов
Полуночная тайная сходка,
И из чьих-то приплывная снов,
И почти затонувшая лодка.
Побелив эти пашни чуть-чуть,
Здесь предзимье уже побродило,
Дали все в непроглядную муть
Ненароком оно превратило.
И казалось, что после конца
Никогда ничего не бывает...
Кто же бродит опять у крыльца
И по имени нас окликает,
Кто приник к ледяному стеклу
И рукою, как веткою, машет?..
А в ответ в паутинном углу
Зайчик солнечный в зеркале пляшет.

1960- Ленинград

●

АНАТОЛИЙ КУПРИН

ИЗ ДЕТСТВА

КОЛЮХА

Подснежная ягода клюква
Бока подставляет дождю.
Опять я из детства Колюха
У старой ветлы подожду.
Придет он растрепанным,
Рыжим,
Промокшим от челки до пят,
И в лес,
Под зеленую крышу,
Войдем по воде мы опять.
На ягоде теплые капли
Попробуем снова на вкус.
Сломаем руками на сабли
Ракитовый сабельный куст.
И скатится дождик несмело
По листьям
На стежи,
В траву...
С березы,
Забравшись умело,
Потрогаем веткою белой
Промытых небес синеву.

От имени детской отваги
В ольховую полночь весны
Пройдем по болотным корягам
По синему следу луны.
Увидим,
Как броско,
Картинно,
До самой полоски земли
Под нами
В зеленую тину
Кувшинки по горло зашли.
И станут у нас за плечами
Всю ночь токовать глухари,
Чтоб мы глухарей замечали
И ломкую кромку зари...
Подснежная ягода клюква
Бока подставляет дождю.
Прошло наше детство,
Колюха,
И я тебя здесь
Не дождусь...

АЛЕНКА

Вор сосновый.
И дом сосновый.
Для меня этот мир ветвяной
И далекий, как мыс Дежнёва,
И, как ветер в ракигах,
Родной.

Тут, шатаясь по росам
И кочкам,
Ежевикою вымазав рот,
Повстречал я лесничего дочку
У сосновых
Тесовых ворот.

И такую прохладной,
Хорошей
В дом входила,
С цветами в косе,—
А на платье веселый горошек
Вымок весь
В этой крупной росе.
А потом над водой с камышами,
Где качались пожары зари,
Слушать песню ее
Мне мешали
И лягушки и глухари.
Поднимались на цыпочки травы,
Уходили на дно караси.
Я, мальчишка курносый и бравый,
Эту песню по лесу носил...

А однажды,
Следя за Аленкой,
Я над заводами нашел

Дом,
Совсем еще свежий,
Зеленый,
Тот, что просто зовут «шалашом».
Я увидел,
Как, пряча усмешку,
Нагло то ее обнимал
Непутевый сынок тети Стеши,
Ванька Рыжий,
Рыбак и нахал.
Улыбалась она непонятно,
Косы плыли по круглым плечам.
На губах своих
Лунные пятна
Подносила к его губам.
...По колючкам,
Сосновым шишкам
Я отсюда ушел в темноту.
Уносил я обиду,
Мальчишка,
На Аленкину красоту...



ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ

РОДНЯ

Я счастлив тем, что всюду у меня
В Сибири есть хорошая родня —
Эвенки, и хакасы, и долгане.
Брат Енисей, и Ангара — сестра.
Всегда найдется место у костра
У лесорубов, там, на Васюганье.

Но иногда, бывает, оглянусь
На жизнь свою — и вдруг объемлет грусть.
— Ужель так быстро время пробежало?
И горько мне, таиться не могу,
Что перед всеми я еще в долгу:
Полсотни лет, а сделано так мало...
Тогда иду на Обь, на Енисей.

Там, у истоков песни, у друзей
Я нахожу живительные силы.
Вдыхаю я тайги простор большой
И словно молодею я душой
Среди людей, родных и сердцу милых.

Таежный ветер разгоняет грусть;
Бегу на лыжах, на оленях мчусь...
И не страшны мне старости угрозы,
И горячо струится в жилах кровь...
Я среди вас, товарищи.
И вновь
Со мной и песнь, и дружба, и любовь,
И вдохновенья радостные слезы...

●

Жан Бержье

Секретные агенты ПРОТИВ СЕКРЕТНОГО ОРУЖИЯ

10

ДЕНЬ «ЖИ»¹

*Бог удачливых начинаний
Благосклонен к моим трудам,
К отправляемым мною грузам
И водимым мной кораблям.*

Редьярд Киплинг. «Песнь о Диэго Вальдесе, Верховном Адмирале».

Снова Пьер Монроз покинул свою подводную лодку и спрыгнул с парашютом над Францией. Долгожданное вторжение наконец-то свершилось.

Пьер съел свой первый французский обед в маленьком кафе неподалеку от Лиможа. Кричало радио скрежещущим голосом Филиппа Анрио, понося и оскорбляя Сопротивление. Предатель уверял, что силы вторжения будут сметены в море, а секретное оружие фюрера вступит в строй и вскоре решит исход войны в пользу Германии.

Анрио не знал, что все пусковые площадки засечены и подавляющее их большинство выведено из строя; четыре тысячи бомбовозов долбили их днем и ночью. Если бы действия союзной авиации все время продолжались с той же интенсивностью, можно было бы вообще помешать применению оружия «фау» в войне. К сожалению, интенсивность эта порой ослабевала. И все же работа бомбардиро-

вочной авиации принесла плоды: лишь четвертая часть всех пусковых площадок могла быть использована для первого удара. Оружие «фау» выступило на мировую арену не только с меньшим радиусом действия, но и с опозданием на целую неделю после высадки союзников. Немцы смогли применить оружие «фау» не раньше 13 июня. Эта задержка бесспорно сказалась на моральном состоянии немецкой армии.

Немцы попытались восстановить равновесие, обстреливая английское побережье в районе Фолкстона из сверхдальнобойного орудия, но никакого стратегического эффекта это не дало. Второе сверхдальнобойное орудие обстреливало Мэйдстон, чтобы отвлечь внимание союзников от основных объектов. А пока они лихорадочно готовились к тому, чтобы привести в

¹ Жи — J, буква французского алфавита. Так был зашифрован союзниками день вторжения во Францию, положивший начало второму фронту.

Окончание. Начало — в № 5, 6.

действие установки «фау». Радиопередатчики наших отрядов боевой разведки (ОБР) ежедневно и ежедневно предупреждали о начале этой атаки.

Впрочем, германское общественное мнение давно уже настойчиво требовало ввести в бой новое оружие. Это должно было быть осуществлено любой ценой. Немцам обещали чудесное оружие, «ди Вундерваффе». Вопрос «Wo bleibt Wuwa?» стал слышаться повсеместно, откладывать дольше было невозможно.

У Канариса хватило мужества заговорить об этом с Гитлером. Адмирал предупредил фюрера, что медленные действия необходимы.

Слова Канариса были встречены ледяным презрением. Гитлер напомнил ему, что никакого официального поста адмирал больше не занимает. Затем он добавил, что силы союзников будут легко сброшены в море танковой армией фельдмаршала Роммеля. По поводу секретного оружия Гитлер заявил, что оно будет пущено в день и час, предназначенные для этого астрологами, и ни на одну минуту раньше.

Фюрер закончил беседу утверждением, что мистические силы на его стороне и в самом крайнем случае он всегда сможет договориться о прекращении военных действий с Россией¹.

Выслушав все эти бредни, Канарис понял, что лишь устранением Гитлера от власти можно «спасти Германию». Он немедленно начал подготовку покушения на фюрера, состоявшегося 20 июля,

¹ Все подробности этого разговора были рассказаны Верну в лагере Маутхаузен одним из адъютантов Канариса, арестованным после 20 июля. Надо было обладать невероятной тупостью и самовлюбленностью Гитлера, чтобы полагать, что в 1944 году, при открывшемся втором фронте, с русскими можно будет «договориться»...

Военные договоры с обязательством бороться до полной победы уже были подписаны Советским Союзом. Очевидно, в вопросе о соблюдении обязательств Гитлер судил по себе...

и одновременно начал писать декларацию о недостатках национал-социалистского режима. 23 июля, при аресте адмирала, была захвачена и декларация, после чего она попала в несгораемые шкафы гестапо в Берлине, на Принц-Альбертштрассе, 8.

В мае 1945 года, в последние дни империи, этот документ и два микрофильма были извлечены из сейфа и спрятаны заинтересованными лицами. Союзники обнаружить его не могли.

Если когда-нибудь эта «декларация» будет найдена — расшифруются многие тайны, в том числе и некоторые неясные места нашего рассказа.

От 7 до 13 июня как в воздухе, так и на земле противники занимались размещением боевых порядков, готовясь к предстоящим сражениям.

Несмотря на некоторое сопротивление военных экспертов, в Англии был создан «Комитет защиты против особого оружия», в состав которого вошли:

Председатель — м-р Данкэн Сэндис, член палаты общин.

Представитель истребительной авиации — маршал авиации сэр Родерик Хилл.

От противовоздушной обороны — генерал сэр Фредерик Пайл.

От управления аэростатных заграждений — вице-маршал авиации сэр В. С. С. Джелл.

Комитет располагал приблизительно 1800 орудиями ПВО, почти двумя тысячами аэростатов заграждения и персоналом в 60000 человек.

Всей сети наблюдателей, как военных, так и штатских, было приказано при появлении нового оружия передавать по телефону условное обозначение «водолаз».

К счастью для союзников, Англия тоже обладала опаснейшим новым оружием. Это была изготовленная в Соединенных Штатах противоздушная ракета ближнего действия.

Радарное приспособление, вмонтированное в боевую головку сна-

ряда, заставляло его взрываться без соприкосновения с целью. Ракета ближнего действия — настоящее чудо технической точности. Она использует наведенные электрические токи, как бы «читающие» карту благодаря чернилам особой электропроводимости.

Позднее сэр Родерик Хилл напечатал на эту тему несколько статей в специальных журналах.

В этих статьях указывается, что в начале декабря 1943 года он получил от главнокомандующего союзными военно-воздушными силами документ, в котором были собраны решительно все поступившие в ту пору сведения о новом немецком оружии «фау».

Все цифровые и прочие данные свидетельствуют о том, что в основу этого документа положен подробный рапорт, отправленный в Лондон Эльброннером, Эшкенази и Верном в ноябре 1942 года еще до создания группы Марко Поло.

Донесение «добиралось» до человека, которому была доверена воздушная оборона Лондона, свыше года. Как это могло произойти? Совершенно непостижимо! Видимо, сюда опять вмешались господа эксперты, эти апостолы недоверия. Сообщения Октава и его тревожные радиограммы дошли до защитников английской столицы в то время, когда нападение при помощи оружия «фау» уже свершилось!¹

К счастью, не весь английский военный кабинет был заражен умеренным скептицизмом. РАФ получила приказ немедленно сбросить

100000 фугасных бомб на пусковые устройства «фау».

В частности, было дано распоряжение беспощадно разгромить с воздуха автомобильные заводы «Фольксваген»; согласно донесениям Октава, переданным по радио в мае 1944 года, многие детали самолетов-снарядов изготавливались именно там.

Несмотря на серьезность угрозы, было решено от эвакуации Лондона воздержаться. Тем не менее в своей речи, произнесенной 6 июля 1944 года, Уинстон Черчилль рекомендовал покинуть Лондон всем тем, кто имел эту возможность. Такое противоречие отнюдь не упростило положения. Вряд ли эвакуация Лондона, совпадающая по времени с вторжением на континент, могла бы облегчить защиту столицы Англии. Вернее будет предположить, что массовые переселения дезорганизовали бы транспорт и лишь затруднили бы операции по созданию второго фронта.

Учитывая душевный склад и характер Гитлера, можно было сказать с уверенностью, что основной удар немцев будет направлен на Лондон, а не на приморские города Англии, обеспечивающие снабжение второго фронта.

10 июня Октав передал через радиостанцию города Тур (работавшую под зашифрованным названием «Баобаб») донесение, в котором это предположение полностью подтверждалось.

Массовая эвакуация из Лондона стариков, женщин и детей должна была, на наш взгляд, начаться немедленно после получения союзниками этого известия. Однако все оставалось по-прежнему.

Октав повторил свое донесение — оно было перехвачено и, по-видимому, расшифровано секретными службами противника. По всей вероятности, именно тогда и была обнаружена наша подпольная радиостанция в Туре. Она была разрушена, а сам Октав арестован.

Необходимые меры по донесе-

¹ Последние сомнения «специалистов» улетучились, по-видимому, лишь летом 1944 года. В июле английский самолет ухитрился приземлиться на территории оккупированной Польши. На него погрузили самолет-снаряд «фау-1» в собранном виде, который польским героям Сопротивления удалось с невероятными трудностями похитить прямо с пусковой площадки. Его доставили в Лондон, и лишь тогда господа эксперты согласились с тем, что машина полностью соответствует описанию, составленному нами в 1942 году! (Примечание автора).

ниям Октава так и не были приняты¹.

Группа Промонтуар сообщала с достоверностью, что самолеты-снаряды летают на небольшой высоте, порядка 800—1000 метров.

Это делало их неуязвимыми для зенитной артиллерии, огонь которой был рассчитан на несравненно большую высоту. Однако и

этим ценнейшим указанием в Лондоне полностью пренебрегли.

Когда началась «битва «фау», англичанам пришлось срочно изобретать особые подвижные платформы для зенитной артиллерии.

Что касается «фау-2», то в существование этого оружия тогда в Англии не верил еще решительно никто.

11

РУШИТСЯ ВТОРАЯ ЦЕНТРАЛЬ

*Не на поле воинской чести,
Не на площади среди толпы
Он отвел от жестокой мести
Занесенную руку Судьбы...*

Реднард Киплинг.

Один лишь Рене Пелле, он же Октав, мог бы написать эту главу так, чтобы в ней не было никаких неясностей.

Его таинственная смерть превращает ее в серию неразрешимых загадок. Для того чтобы подойти к истине возможно ближе, мы решили не делать никаких предположений. Скажем только, что тайна Рене Пелле и тайна Канариса связаны сложным узлом, который даст историку будущего возможность написать объемистый научный труд под заглавием: «Загадки второй мировой войны».

Пока можно лишь надеяться, что когда-нибудь новый свет прольется на обе взаимосвязанные тайны и разъяснит их нам.

Пока что ограничимся передачей фактов.

¹ Даже после 10 июня 1944 г. скептики еще не разоружились полностью. Комиссия генералов, снимающая людей с противовоздушной обороны Лондона для использования их в других местах, продолжала работать полным ходом.

Это легко увидеть из книги генерала сэра Фредерика Пайла. (Примечание автора).

Вторая «Централь», организованная Октавом неподалеку от Лиона, развернула активную деятельность в первые месяцы 1944 года.

Как только союзники вторглись на европейский континент, роль организации Промонтуар значительно возросла. Она возросла еще более после прорыва союзных войск в районе Авранша. Большое число отдельных сражающихся звеньев оказалось в подчинении у группы Промонтуар.

25 июля 1944 года немцам удалось уничтожить одну из таких групп — «Централь Баобаб» в городе Туре.

Случайно там оказался Рене Пелле, и его арест повлек за собой крушение второй лионской «Центральной».

Однако деятельность организации на этом не прекратилась. Мишель принял командование, и группа Промонтуар продолжала свою повседневную работу, несмотря на тяжелые потери.

В это же время разыгрывалась другая драма. После того, как покушение на Гитлера 20 июля со-

рвалось, позиция адмирала Канариса стала еще более неустойчивой — он сам отчетливо сознавал это. Официально он был отстранен от должности еще в январе, но продолжал оставаться возле фюрера на правах человека, который много знает.

Функции абвера без Канариса были сильно сужены; абвер теперь отвечал лишь за внешнюю безопасность германского государства; все прочие обязанности перешли в руки гестапо.

Оно-то и взяло Канариса под стражу 23 июля, через три дня после покушения на Гитлера. Арестованный был привезен на Принц-Альбертштрассе, 8, в особый отдел гестапо. Там он был подвергнут допросу со строжайшим применением «третьей степени», то есть пытки.

Канарис категорически отказался признать свое участие в заговоре, но не отрицал, что по ряду соображений ему следовало бы быть в числе заговорщиков. Он клялся в преданности Гитлеру и перечислял дела, от которых, по его словам, зависело дальнейшее существование рейха.

Среди этих важнейших дел он называл:

защиту производства оружия «фау», продолжение дела Марко Поло — Блинденхейм; проведение операции «Пасхальное яичко».

Получается, что дело Канариса и дело Рене Пелле каким-то образом переплетаются.

Однако существо всего этого для нас остается совершенно неясным.

Есть сведения, что немцы многократно предлагали Пелле работать с ними, но наш товарищ отклонял эти предложения. Мы знаем также, что среди бела дня был организован специальный налет английской авиации на тюрьму гестапо. Тюрьма была разрушена, но Канарис, там находившийся, остался жив.

После налета бывшего адмирала перевели в концлагерь Флос-

сенбург, который слыл вторым по жестокости лагерем уничтожения после Нейе Времме. Там Канариса допрашивали и пытали; после каждого такого «сеанса» среди французских подпольных групп возникали новые потери.

Около 15 августа в бывшей квартире Канариса произвели повторный и еще более тщательный обыск. При этом удалось обнаружить записную книжку Канариса. Содержание ее оказалось таково, что книжку немедленно сожгли. Мы можем, однако, утверждать, что предварительно она была переснята на микро пленку.

Копия этой микро пленки рано или поздно будет обнаружена, и тогда нам многое станет известно. До тех же пор мы видим события как бы сквозь «закопченное стекло».

23 августа начинаются убийства «имени Сен-Жени и Лавалья». Покидая Лион, гестаповцы проводят поголовное истребление всех заключенных в форте Монлюк.

Расстрелы еще продолжают, когда к форту подходит немецкая военная автомашина. Из нее высаживают группу заключенных, среди них — Рене Пелле. Его отделяют от шеренги и уводят в неизвестном направлении.

Через несколько дней после освобождения Лиона тело Рене Пелле находят в водах Роны.

Можно предположить, что освобожденный абвером Пелле был вновь схвачен и тайно уничтожен гестаповцами. Однако лишь опубликование всех досье «дела Блинденхейм» позволит узнать правду до конца.

Предпринятая абвером попытка освободить Пелле показывает, что и после ареста Канариса его приговоренцы оставались в абвере на своих постах.

Страшная голгофа самого Канариса продолжалась до 9 апреля 1945 года. После краха операции «Пасхальное яичко» положение Канариса еще ухудшилось, а 9 апреля 1945 года конвоиры удушили его струной от роаяля.

В эти же дни один из филиалов Маутхаузена, лагерь Амштеттен, подвергся бомбардировке, во время которой погибла Маргарита Пелле.

До сих пор продолжают всплывать на поверхность новые документы, по которым можно судить о

различных ответвлениях «дела Пелле».

Благодаря любезности г-на Блок-Моранжа, директора Бюро информации и конъюнктуры, мы имеем возможность привести здесь документ бесспорной важности:

ДВОЙНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ КАНАРИСА

Документ № 1

Этот документ датирован 15 марта 1944 года. Он представляет собой конфиденциальное распоряжение германского ОКВ (верховного командования вооруженными силами) и предназначается для всех работников секретных служб абвера, ведающих заграничными операциями.

«В ходе конференции, состоявшейся сего числа, на которой присутствовали представители министерства иностранных дел, министерства обороны и службы безопасности, были приняты нижеследующие решения, имеющие целью оживить и активизировать нашу зарубежную агентуру:

1. Три вышеназванных ведомства должны работать в наитеснейшем контакте, дабы использовать во всех нейтральных и враждебных странах все политические и психологические средства, могущие поддерживать военные усилия Германии.

2. Действовать надлежит, преследуя задачу: помешать врагам разрушить Германию как в плане чисто военном, так и в плане экономическом или культурном.

Мы немедленно начнем применять новые директивы, разработанные нашими политическими руководителями. Необходимо создать в стране наших противников обстановку недоверия и взаимных подозрений. Лишь достигнув этой цели, мы можем вести раздельную политику на каждом фронте. До сих пор подобные попытки оканчивались неудачей из-за непримиримой ненависти, питаемой к Германии Рузвельтом и Черчиллем. Это не

означает, однако, что в будущем, при иных обстоятельствах, этот противоестественный единый фронт наших врагов не может быть расколот. Поражение Рузвельта на предстоящих выборах будет в этом аспекте событием чрезвычайной важности.

Наивысшие политические и многие военные руководители полагают, что какие-либо переговоры с Советским Союзом совершенно бесперспективны. Но надо внушить англосаксам, что Германия готова заключить тайный договор с Советским Союзом. Надо внушить русским, что Германия уже ведет с англосаксами переговоры о сепаратном мире. Один из наших противников может заколебаться и, опасаясь худшего, начать с нами переговоры на самом деле.

Все вместе создаст некоторые надежды на заключение сепаратного мира с Западом, который в настоящей ситуации является для нас наилучшим исходом. Наши шансы увеличатся, если мы сумеем, используя тайные пути и психологические моменты, убедить влиятельных людей Запада в том, что рузвельтовское требование «безоговорочной капитуляции» неизбежно создаст в Германии обстановку неуверенности и отчаяния, которой немедленно воспользуются коммунисты.

Соединенные Штаты боятся коммунизма. Наши надежды на спасение Германии станут превосходными в тот день, когда мы сможем убедить некоторые круги в Вашингтоне в том, что, доверяя России, Рузвельт совершает самую трагиче-

скую ошибку на протяжении всей истории Соединенных Штатов¹.

У нас есть все возможности для проведения этого важнейшего мероприятия. Мы имеем в Соединенных Штатах немало агентов, расположенных весьма удачно. Частично можно рассчитывать и на германо-американский союз, ныне распущенный в связи с разнузданной кампанией ненависти к Германии, проводимой Рузвельтом и окружающими его евреями. Мы можем,

однако, надеяться, что обстоятельства изменятся к лучшему. Если в результате предстоящих выборов к власти придет республиканская партия, наше влияние в Соединенных Штатах резко возрастет.

Агентура, которую мы сохраним за границей, должна использовать все возможности для того, чтобы противопоставить нашу пропаганду рузвельтовской».

Подписано: Канарис.

Документ № 2

В июне 1945 года англо-американцы обнаружили несколько брошенных грузовиков, в кузовах которых находились ящики и свернутые в трубки бумажные листы. Оказалось, что это были архивы самых высоких учреждений нацистского райха.

Среди прочего там были найдены досье фленсбургского правительства гросс-адмирала Деница.

По мнению экспертов, один из документов был составлен Канарисом до его ареста гестаповцами. Фотокопии этого документа разошлись среди союзников, и ни одна канцелярия не может юридически подтвердить его подлинности.

Составлена эта бумага коротко, но чрезвычайно выразительно. Она представляет особый интерес именно сейчас, в 1954 году¹.

Об обеспечении мира в Европе

1. Германский народ должен быть полностью освобожден от оккупации и каких-либо ограничений его свободы.

2. Изгнанники должны быть возвращены на родину с сохранением за ними всех прав и преимуществ.

3. Все произвольные акты, составленные врагами и ущемляющие законные права германского народа, должны быть отменены и аннулированы.

4. Должно быть признано право людей германской крови на объединение на расовой основе.

5. Должно быть создано объединение европейских стран на федеральном принципе.

6. Для всех народов должно быть признано право объединения по расовым признакам.

7. Все европейские богатства должны быть переданы в общее пользование (gemeinnutz).

8. Должен быть создан общеевропейский Трибунал Арбитража.

9. Должно быть признано право всех германских народов на добровольное слияние в интересах воссоздания Великого Германского Государства.

10. Должна быть официально признана общность интересов германского государства и районов Богемии и Моравии.

11. Должны быть даны официальные гарантии права на национальное самоопределение расовых групп.

12. Должно быть создано общеевропейское экономическое Содружество.

¹ Интересно отметить, что некоторые отзвуки этой ядовитой песни Канариса можно услышать еще и в наши дни!

¹ В 1954 году Верн писал этот раздел своей книги.

МАРКО ПОЛО ПРОТИВ БРАНДЕНБУРГА

«Каждый француз — контрразведчик в глубине души...»

(Определение крупного гестаповца, цитируемое Пьером Нор в его книге «Мои товарищи мёртвы», том II).

Вероятно, все помнят тревогу, охватившую мир в декабре 1944 года. Фельдмаршал фон Рундштедт по приказу Гитлера, собрав воедино иссякающие германские резервы, предпринял последний отчаянный натиск на нескольких фронтах.

На короткий миг могло показаться, что военное счастье вновь стало на сторону Германии, как в 1940 году. Предатели, изгнанные из всех стран и собранные немцами в Зигмарингене, уже готовились к триумфальным возвращениям.

Сейчас можно сказать с уверенностью, что бешеная атака армий фон Рундштедта была лишь частью широко задуманного агрессивного плана немецкого командования. Как мы уже упоминали, план во всей широте носил шифрованное название «Пасхальное яичко».

Он был разработан еще Канарисом. Опального адмирала подвергли мучительным пыткам на допросах, но жизнь ему долгое время сохраняли. Объясняется это лишь тем, что для проведения операции «Пасхальное яичко» Канарис мог Гитлеру опять понадобиться.

В детально разработанный план, помимо чисто военных операций, входили и сопутствующие, имевшие не меньшее значение:

1. Множественные диверсии и убийства, в частности — убийство генерала Эйзенхауэра.

2. Широко развернутый саботаж, который во Франции должен был осуществляться тайной военной организацией, специально оставленной немцами во Франции при эвакуации. Эта организация носила шифрованное название «дивизия Бранденбург».

3. Мятеж коллаборационистов на юге Франции, обозначенный «Операция белые маки».

4. Выступление прогерманских элементов в Испании, в результате которого можно было бы организовать обстрел союзных тылов оружием «фау-1» и «фау-2».

5. Чисто военная инициатива фон Рундштедта.

Выполнение всех звеньев этого плана повлекло бы за собою, по предположениям германского командования, полное изгнание союзников с европейского континента не позднее пасхальной недели 1945 года. Отсюда и название самого плана.

Однако операция «Пасхальное яичко» провалилась. Теперь можно впервые попытаться причины, обусловившие ее крушение.

В этом крушении наша новая организация, широко развернувшая свою работу на базе прежней группы Марко Поло, сыграла весьма важную роль.

В предыдущей главе я упомянул, что северной зоне организации Марко Поло — Промонтуар, благодаря высокому классу конспирации, удалось остаться незатронутой той катастрофой, которая повлекла за собой гибель других «централей».

Под руководством подполковника Мишеля А. эта организация к маю 1944 года установила важные контакты с германскими кругами в Париже. Ощущение приближающегося разгрома уже тяжело давило на психику немцев. Именно поэтому Мишелю удалось завязать связи на самых различных уровнях, в том числе и на таких, о каких раньше не приходилось и мечтать.

К этому моменту коррупция среди парижских представителей «расы господ» достигла необычайных размеров.

Через посредство некоего прохвоста один немецкий унтер-офицер задумал дезертировать, дабы в «надвигающемся хаосе» спасти свою драгоценную жизнь.

При столь незначительном воинском звании этот унтер занимал важную должность: он был секретарем одного высшего германского офицера, руководившего операцией Бранденбург.

Благодаря этому унтеру группа Марко Поло еще задолго до высадки союзников оказалась осведомленной о серьезнейшей тайне. Об этой тайне немедленно сообщили в Лондон, но верховное командование союзников отнеслось к сообщению весьма прохладно... пока не началась контратака фон Рундштедта.

В период между освобождением Парижа и началом операции фон Рундштедта разыгралась трагикомическая история, несколько напоминающая игру в прятки.

Совершенно понятно, что не все получаемые нами сведения передавали в Лондон, часть их мы приберегали для французских разведывательных органов, когда они будут сформированы в освобожденном Париже.

Поэтому-то мы и решили спрятать беглеца и сохранить ему жизнь. Это было не так просто. Попадись он в руки немецких властей — его расстреляли бы в два счета. Немцы беспощадно карали дезертиров.

Но и боевые группы ФФИ тоже были не против того, чтобы прикончить немецкого военнослужащего. В этот момент французская тайная армия склонна была расстреливать врагов, порой даже без достаточной проверки.

Погоня за несчастным дезертиром могла бы стать сюжетом для авантурных романов Эрика Эмлера или Дороти Хьюгс. И сам унтер, и документы «погибали» и «во-

скресали» по меньшей мере шесть раз.

К ноябрю 1944 года были собраны точные и неопровержимые данные о заговоре, организованном группой Отто Скорцени с целью убийства генерала Эйзенхауэра.

Сведения, добытые разведкой генерального штаба союзников, полностью подтверждались сообщениями, полученными ранее от группы Марко Поло — Промонтуар. Они касались как этого заговора, так и деятельности «дивизии Бранденбург».

Центр этой организации был обнаружен и разгромлен в городе Авиньоне, а ответвления мало-помалу продолжали извлекаться на свет божий.

Сейчас выглядит совершенно невероятным тот факт, что и после освобождения Франции находились французы, верившие в победу Гитлера и вместе с его людьми подготавливающие убийство генерала Эйзенхауэра.

Тем не менее это было так. Странные истории происходили и впоследствии.

Когда автор этих строк опубликовал в газете «Фигаро» две статьи относительно острова Пеенемюнде, он начал получать множество писем, в которых неизвестные люди грозили ему смертью. Автор установил, что по крайней мере четверо предателей французской национальности в настоящее время живы и благоденствуют.

С тех пор вышло в свет немало «трудов», доказывающих необходимость и чуть ли не полезность сотрудничества с немцами в 1940—1944 годах. О письмах с угрозами в этих «трудах» ничего, разумеется, не говорится; ведь «труды» написаны гражданами, превыше всего чтящими мир и законность...

Раскрытие конспиративной группы «Бранденбург» имело еще одну важную сторону. Будь это разоблачение произведено не французской подпольной группой, а силами союзных разведок, доверие победителей к Франции было бы подорвано. Вместо Временного

французского правительства, готовившего установление Четвертой Республики, нами управляла бы военная администрация союзников примерно так, как это произошло в Италии. У власти была бы поставлена организация типа АМГОТ¹.

Заговор «Бранденбург» развернулся в начале ноября 1944 года. Заговорщики были снабжены американским обмундированием, превосходно сфабрикованными удостоверениями американских военных корреспондентов, а также общевосточными документами.

В игру вошли отборные авантюристы и головорезы из группы Скорцени, совсем недавно прославившиеся виртуозным похищением Муссолини.

Они же должны были установить на крышах нью-йоркских зданий усовершенствованные ультракоротковолновые радиомаяки, изобретенные профессором Манфредом фон Арденном.

Предполагалось, что эти маяки будут служить ориентиром для дальнобойных ракет типа АИО, более известных под названием «оружие фау-3».

По плану «Пасхальное яичко», немедленно после убийства Эйзенхауэра должно было развернуться контрнаступление фон Рундштедта и одновременно с ним проектировался удар по Нью-Йорку ракетами дальнего действия.

На этот раз предупреждение, исходившее от группы Марко Поло, приняли во внимание немедленно.

Вся сеть американских секретных служб была приведена в движение. Охрану генерала Эйзенхауэра резко усилили, американские генты наводнили всю Францию.

Одному из них довелось увидеть а улице города Реймса американского офицера, который никак не мог распечатать пачку американских сигарет. К сведению некурящих сообщают, что американские

сигареты открываются лишь после того, как снята лента из прозрачного целлофана, опоясывающая пачку.

Агенту американской военной разведки показалось удивительным, что офицер-курильщик не может справиться с сигаретами мгновенно, рефлекторным движением.

Подчеркиваем: это был агент военной разведки, а не агент ФБР, как об этом пишут в романах и что стараются доказать авантюрные фильмы Лемми Кэшена. Агентов ФБР на территорию Франции не забрасывали.

Так или иначе, подозрительный офицер был немедленно задержан и довольно скоро сделал ценнейшие признания.

Сразу же после этого развернулась удивительная «Операция Тарзан». Как всегда бывает с необыкновенными историями, она впоследствии обросла легендарными подробностями. По вполне понятным причинам американские власти никогда не публиковали официальных отчетов об этой операции. То, что мы здесь расскажем, в достаточной степени неправдоподобно, но нам уже не раз приходилось напоминать, что действительность часто опережает самые смелые вымыслы.

«Операция Тарзан» заключалась в широчайшей, поистине массовой проверке американских военнослужащих.

Специальные патрули останавливали на дорогах Франции, Бельгии и Люксембурга всех американских военных независимо от звания.

Вскоре выяснилось, что фальшивые бумаги, которыми располагала группа Скорцени, сделаны настолько безукоризненно, что проверка ни к чему не привела. В военных условиях невозможно наводить справки по телефону о десятках тысяч задержанных людей.

Тогда управление военной разведки США прибегло к составлению особой анкеты, отвечая на вопросы которой задержанные должны были обнаружить знание сов-

¹ АМГОТ — *Gouvernement militaire al-ep Italie*. Так называлась военная асть, установленная англосаксами на территории освобожденной Италии. (Примечание автора).

ременного американского фольклора. У людей, одетых в форму американской армии, спрашивали:

«Кто такой Тарзан?»

«Кто такой Сапермэн? ¹»

«Какие комиксы вам известны?»

«Кто такие Бэйб Рут и Джо ди Маджио?»

«Что вы знаете о Харви, невидимом кролике? ²» и т. д.

На этом вопроснике попались многие агенты Скорцени.

Правда, такая анкета чуть не погубила одного американского генерала, человека высокоинтеллектуального, который никогда не читал комиксов и не слышал ни о Тарзана, ни о Сапермэне...

Параллельно с этими событиями во Франции разворачивалась основная операция. За дело взялись французская полиция и жандармерия. Группа Марко Поло предоставила в их распоряжение огромное количество проверенных сведений о людях, входивших в «дивизию Бранденбург». Было арестовано 1500 агентов и захвачено

48 подпольных радиостанций. Союзная контрразведка обнаружила на территории Франции около 800 тайных складов оружия, 200 — в Бельгии и 80 — в Голландии.

Выяснилось, что около двухсот диверсантов и саботажников, входивших в «дивизию Бранденбург», были снабжены подлинными документами «Сюртэ женераль» и внесены в списки, хранившиеся в полицейской префектуре Парижа...

Германская тайная организация была уничтожена полностью, поголовно. Событие было беспрецедентное: даже французское Сопротивление никогда не терпело столь сокрушительного разгрома от немцев.

Вскоре контрнаступление фон Рундштедта выдохлось.

Гитлер все поставил на последнюю карту и... проиграл.

Карта его оказалась битой.

Теперь Канарис больше не был нужен, — и это решило его судьбу.

Бывший начальник имперской военной разведки погиб в концлагере Флоссенбург.

13

САМОАЕТ-СНАРЯД

«В час, назначенный Германией, над Англией завоют сирены и не будет для нее отбоя, и не останется от Англии ничего...»

Заявление генерала Дитмара Жану-Герольду Паки (См. «Четыре процесса предателей»).

Самодвижущаяся бомба «фау-1» была бесспорной технической удачей. Эту удачу в какой-то сте-

¹ Саперман (superman — сверхчеловек), один из любимых персонажей американских авантюрно-фантастических романов, пользовавшийся широкой известностью в сороковых годах.

² Бэйб Рут и Джо ди Маджио — знаменитые бейсболисты, чрезвычайно популярные в Америке. О ди Маджио есть несколько упоминаний в хэмингуэвском «Старике и море». Кролик-невидимка Харви — один из новых персонажей диснеевских фильмов.

пени затмило появление ракеты «фау-2», оружия более эффективного, но менее действенного.

Генерал Дорнбергер в своей книге «Секретное оружие острова Пеенемюнде» сравнительно мало говорит о «фау-1». Недавно появившееся американское исследование «The complete book of outer space» (Изд. Гном-Пресс) совершенно необоснованно трактует оружие «фау-1» как «малоудачный первый вариант оружия «фау-2».

Это неправильно, и мы считаем себя обязанными восстановить истину.

Вот факты.

Оружие «фау-1» — отнюдь не ракета. Оно не может двигаться в безвоздушном пространстве или при малой плотности атмосферы. Для межпланетных сообщений оно совершенно непригодно.

Однако как боевое оружие, производимое серийным способом и относительно недорогое, «фау-1» можно считать замечательным техническим достижением.

«Фау-1» представляет собой небольшой самолет с короткими крыльями, размах которых равен пяти метрам тридцати сантиметрам.

Длина корпуса — восемь метров сорок см; над ним проходит нечто вроде печной трубы с открывающимися вовнутрь клапанами, расположенными по всей длине трубы; это и есть приспособление, при помощи которого машина движется. Эту трубу инженеры назвали «пульсореактором».

Машина изготовлена почти полностью из стали, за исключением

передней части фюзеляжа и рубки управления, которые выполнены из более легких сплавов.

Строго говоря, лишь одна движущая труба представляет собой техническую новинку.

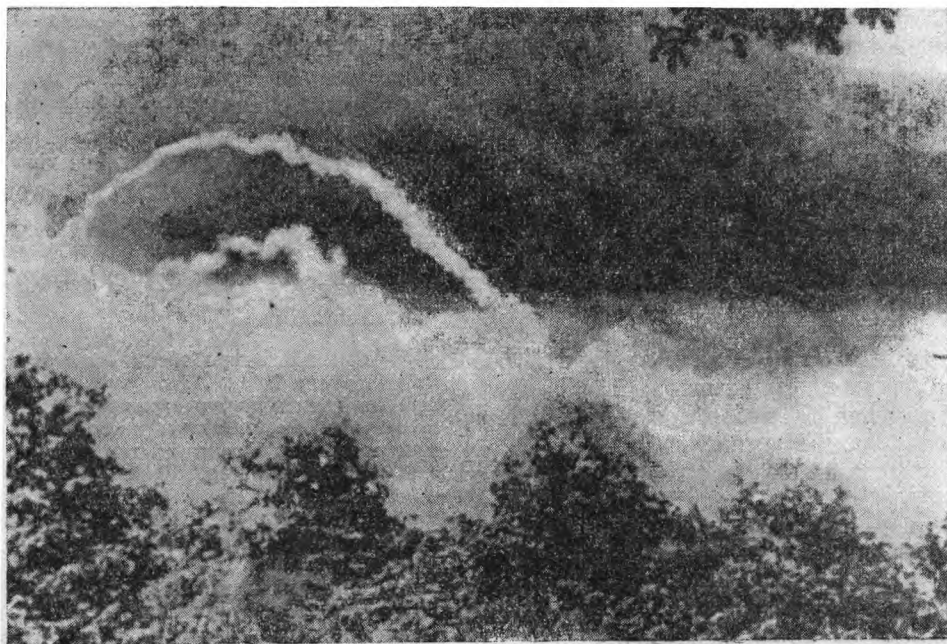
Когда катапульта выбрасывает машину вверх, клапаны приоткрываются и впускают воздух, тут же смешивающийся с горючим, поступающим из резервуара. Горючая смесь загорается от электрической искры.

Образуется огромное количество газа, который мгновенно заклинивает клапаны, устремляется назад, в открытое сопло, а аппарат идет вперед согласно законам реактивного движения.

Цикл повторяется сорок пять раз в секунду. Вся эта остроумная комбинация была, по-видимому, предложена неким Паулем Шмидтом, а реализовало ее немецкое акционерное общество Аргус.

Немедленно возникли споры о том, кому принадлежит честь получения авторского права на это изобретение.

Пауль Шмидт пытался отстаивать свой приоритет, но в дело вме-



«Фау» после запуска

шались учреждения, подведомственные Герингу. Паулю Шмидту пригрозили арестом, и авторские права были у него отобраны.

Мы не собираемся играть роль арбитра в потасовке, разыгравшейся между нацистами. Скажем только, что к началу битвы за Лондон немецкая пропаганда приписывала «честь» изобретения «фау-1» герру Гейнцу Бунзе. Есть основания предполагать, что персонаж этот существовал лишь в воображении нацистов. Во всяком случае, никаких следов этого изобретателя после войны обнаружить не удалось.

В 1944 году несколько видных французских коллаборационистов также заявили свои права на это изобретение. В качестве доказательства они привели лишь один довод — столь гениальное изобретение могло быть сделано только французом. Это лестное для французской нации утверждение не имело, однако, успеха.

Тем не менее еще в 1910 году некий Ренэ Лорен получил французский патент на изобретение, в котором, при желании, можно увидеть зародыш будущего «фау-1». Еще раньше, в 1867 году, Шарль де Луврие описал схожий механизм, назвав его «динамической ракетой».

Поскольку, однако, права всех этих претендентов трудно рассматривать как реальные, «высокую честь» осуществления в металле самолета-снаряда «фау-1» следует делить поровну между герром Паулем Шмидтом и акционерным обществом Аргус-Верке.

Эти имена должны быть сохранены историками, которые, без сомнения, прибавят к ним имена генерала Дорнбергера и г-на Вернера фон Брауна.

Остальные части конструкции «фау-1» не представляют собою ничего принципиально нового. Они состоят из корпуса самолета небольших размеров, в котором размещены (считая по порядку от передней части к хвосту):

1. Лаг-дальномер.

2. Детонаторная головка с контактным запалом, срабатывающим при ударе.

3. Магнитный компас.

4. Отсек взрывчатки, содержащий 600 кг смеси (в пропорции 1:1) динитробензена и нитрата аммония.

5. Резервуар, несущий 700 литров горючего.

6. Два прямоугольных крыла, обеспечивающих устойчивость в полете.

7. Два резервуара сжатого воздуха.

8. Запас сухих элементов.

9. Автопилот.

10. Стабилизатор, снабженный закрылками глубины и деривации, связанный с рулевым оборудованием машины¹.

Самолет-снаряд «фау-1» не управлялся по радио.

Автопилот вел машину со скоростью 650 км/час на высоте от 500 до 2500 метров при точности попадания в цель порядка 5 км.

Дальнобойность самолета-снаряда не превышала 300 км.

Снаряд запускался либо с пусковой площадки при помощи струи пара высокого давления (она получалась методом соединения перманганата кальция с обогащенной кислородом водой), либо «фау-1» сбрасывался с летящего самолета.

Корпус самолета-снаряда может быть изготовлен из стекла и пластических масс, что делает его неуязвимым для радарных установок. Обыкновенная взрывчатка при желании может быть заменена атомным зарядом, который произ-

¹ Все эти подробности заимствованы из донесения Верна. Если они покажутся кому-нибудь чересчур отрывочными, можно обратиться к другим источникам, например: автор Фрэнк Иллингворт, «Сити-зен Пресс», Лондон, 1945, «Реактивная бомба «фау-1», автор А. Ананов, «Документы современного воздухоплавания», документ № 2—11—02 (изд. Блондель и Ружери, Париж, 1945), «Воздушные операции и устройства, применявшиеся при обороне Великобритании от германских самолетов-снарядов и ракет», автор — маршал авиации сэр Родерик Хилл, 1948 год. (Примечание автора).

ведет несравненно более обширные разрушения.

Такое оружие — серийное, недорогое, запускаемое с самолета или выбрасываемое катапультной всплывшей подлодки — при замене взрывчатки атомным зарядом представляет собой опаснейшее оружие.

Итак, при содействии всех подпольных групп, и в частности группы Марко Поло — Промонтуар, английская противовоздушная оборона и истребительная авиация вступили в отчаянную схватку с немецким самолетом-снарядом «фау-1».

Основные события этой борьбы, решившие исход сражения на западном фронте, разыгрались в небе Англии.

Первый самолет-снаряд был запущен немцами в ночь с 13 на 14 июня 1944 года. Около четырех часов утра офицер службы оповещения английской ПВО вызвал Лондон по телефону и коротко сообщил: «водолаз» (diver)!

Этим условным термином решено было обозначать появление над Англией самолетов-снарядов. Спустя несколько часов три других «фау-1» взорвались на английской земле. Один из них угодил в лондонский квартал Бетнал-Грин и принес много бед мирному населению.

Немцы предполагали направлять на Англию 5000 «фау-1» в сутки, но бомбардировки Пеенемиونده и других узловых пунктов производства помешали этому плану.

Фактически бомбардировке подвергался лишь район «большого Лондона», и падало на него не свыше 150 самолетов-снарядов в сутки.

Теперь можно сказать с уверенностью, что обеспечить немцы намеченную цифру в 5000 машин — зойна на Западе была бы проиграна союзниками.

Пришлось бы начать массовую эвакуацию Лондона, морские порты были бы разрушены, операцию по высадке в Европе пришлось бы отложить на неопределенное вре-

мя... Вряд ли Англия могла бы быстро оправиться после такой суммы ударов, и все усилия союзных держав оказались бы под серьезнейшей угрозой.

Даже попадание 150 «фау-1» в сутки поставило бы Англию перед рядом серьезных проблем и трудностей. По мнению Гитлера и его штаба, и этого количества было достаточно для того, чтобы полностью дезорганизовать тылы армии, готовящейся к вторжению в Европу.

В этом смысле чрезвычайно показательна листовка, которую немцы обрасывали солдатам союзных войск, сражающимся в Нормандии. Вот ее точный текст:

«Солдаты, вы пойманы в ловушку. Как вы думаете, почему Германия выжидала после вашей высадки десять дней, прежде чем применить свое новое секретное оружие «фау-1»? Это делалось для того, чтобы заманить вас в капкан. Вы сражаетесь на полоске земли, ширина которой была определена немецким командованием заранее. Тем временем наши самолеты-снаряды сеют разрушение и смерть в ваших городах.

Они летят на малой высоте и без промаха разят порты, которые должны снабжать вас всем необходимым. Они разрушают мосты, связывающие вас с родиной. В Англии царит паника, флот потерял подвижность, даже плавучие госпитали не выходят в море. Скоро у вас иссякнут боеприпасы. Вы сами должны найти спасение из этой ловушки.

Подумайте об этом!»

Листовка довольно точно свидетельствует, о чем мечтали немцы.

Французские фашисты с восторгом подхватили эту пропаганду. Жан-Герольд Паки и Филипп Анрио соревновались в похвалах новому немецкому чуду.

Когда Филипп Анрио был приговорен к смерти и расстрелян людьми Соппротивления, это событие было использовано немецкой пропагандой в своих интересах.

На всех стенах появились наклеенные афиши: «Он говорил правду, и за это они его убили!»

После покушения на Гитлера 20 июля французское Сопротивление ответило в тон: «Он лгал, и за это они его не убили!» Эта надпись была сделана под шаржем на фюрера.

Тем временем число жертв от самолетов-снарядов продолжало увеличиваться. Больше всего жиз-

тельно предшествовало мгновение зловещей тишины.

Пятьсот тысяч человек покинули Лондон, создав страшнейшие «пробки» на всех путях сообщения. Казалось, надежды фашистов сбываются. Однако в игру вошли принятые англичанами контрмеры.

Новые аэростатные заграждения были установлены в пять дней вместо предполагавшихся восем-



После взрыва «фау-1»

ней унес самолет-снаряд, упавший в Лондоне на Льюисхэм Хай-Стрит; пятьдесят один человек было убито наповал и двести шестнадцать — ранено.

Немало случалось и других подобных «неприятностей». (У англичан есть им одним присущая манера преуменьшать пережитое бедствие, именуя его «неприятностью» или «осложнением». Это свойство обозначается непереводимым словом «understatement»).

В «фау-1», смертоносном роботе, было нечто ужасное.

Свидетели единогласно утверждают, что падению машины и ужасающему грохоту взрыва обяза-

надцати. Истребительная авиация начала изыскивать новые приемы. Некоторые пилоты научились поддевать своим крылом летящий «фау-1», вызывая взрыв снаряда над пустынной Темзой или малонаселенными пригородами.

Особенно отличался в этом опасном виде спорта легчик-француз по имени Жан-Мари Маридор, биография которого была опубликована издательством Амио-Дюмон в Париже в 1945 году.

Однажды Маридор увидел самолет-снаряд, снижавшийся над школой. Легчик направил свой истребитель прямо на «фау», протаранил его и погиб при взрыве, повто-

рив бессмертные подвиги советских летчиков-героев.

Вскоре появились настоящие чемпионы по охоте на «фау-1». Так, например, командир истребительной эскадрильи Джозеф Барри сбил их шестьдесят штук!

Уже к концу июля 1944 года защита Лондона от «фау-1» была более или менее налажена. Сэр Фредерик Пайл ввел новую систему противовоздушной обороны. Воздушное пространство делилось на два концентрических круга: в большем круге была запрещена зенитная стрельба, частенко прежде сбивавшая собственные самолеты, зато было предоставлено широкое поле деятельности истребительной авиации; в меньший круг истребителям залетать воспрещалось, но над городом устанавливалась густая завеса артиллерийского огня.

Эта новая тактика была подсказана специалистами по «оперативным изысканиям». Такая новая научная дисциплина стихийно возникла в дни войны. Руководили ею глубоко штатские люди.

Были введены в действие два новых секретных оружия союзников: перехватчик «М-9» и ракета ближнего действия.

Перехватчик «М-9» представлял собой настоящий электронный мозг, способный определить траекторию любого движущегося в воздухе тела. Работая в сочетании с крупнокалиберной зенитной артиллерией, перехватчик «М-9» автоматически определял точку, в которой летящее тело должно оказаться через заданное количество секунд, и наводил туда орудие. Промахи случались крайне редко. Объект для «М-9» был безразличен — он с успехом сбивал обычный бомбардировщик или самолет-снаряд.

Можно сказать, что «М-9» был первым детищем новой науки — кибернетики, спустя несколько лет стяжавшей себе громкую славу.

Ракета ближнего действия представляет собой еще более удивительное создание человеческого гения. Суть ее в том, что в головку снаряда вмонтирована крохотная

радарная установка. На первый взгляд это кажется совершенно невозможным: ведь любые электрические провода неизбежно порвутся от сильного толчка в момент выстрела. Но в том-то и чудо ракеты ближнего действия, что в ней проводником электрического тока, управляющего движением снаряда, являются не провода, а особая типографская краска, которой напечатана схема. Радарная установка не только выводит снаряд точно на цель, но и заставляет взорваться без соприкосновения с целью, на заданной близости от нее, обеспечивающей наибольшее разрушение.

Сочетание этих двух новых видов оружия дало англичанам возможность к концу войны уничтожать в воздухе до 75 процентов запущаемых немцами самолетов-снарядов.

Однако производство «фау-1» было организовано немцами в таких масштабах, что с избытком покрывало потери. Как показывают донесения группы Марко Поло, даже абсолютное разрушение союзной авиацией заводов «Фольксваген» незначительно замедлило темпы изготовления «фау-1». Производство этого оружия было рассредоточено по небольшим мастерским всех европейских стран.

Почти все подпольные группы во всех странах организовывали на этих заводах саботаж и посылали донесения главному штабу союзников.

Уничтожались одни мастерские, но немцы немедленно создавали другие.

Невероятное событие произошло в ночь с 25 на 26 июля.

Бомбардировщик марки «Дакота», принадлежавший британским военно-воздушным силам, приземлился на польской территории, погрузил собранный «фау-1», захваченный героями польского Сопротивления, и благополучно доставил его в занятый союзными войсками итальянский порт Бриндизи. Отсюда его морем переправили в Англию.

Разобравшись в несложном механизме движущей трубы, английские специалисты сразу поняли размеры нависшей над Англией угрозы. Все споры прекратились и было решено избавиться от самолетов-снарядов наирадикальнейшим способом — захватив в свои руки пусковые площадки.

Тот, кто захочет разобраться во множестве противоречий, которыми полны все книги, написанные о войне, должен уяснить себе следующее: цели союзников в наступлении были совершенно различными¹.

Для англичан площадки запуска «фау-1» являлись объектом номер один, не терпящим отлагательства. Самым важным для французов было поскорее добраться до Парижа. Американцы стремились достичь рейнской зоны, куда их влекли деловые интересы.

Как известно, противоречия неизбежно порождают трения.

Как бы то ни было, предпринятое фельдмаршалом Монтгомери наступление должно было привести к захвату пусковых площадок.

Попутно, по требованию группы Марко Поло, был с воздуха атакован Сен-Ле, где хранились готовые «фау-1».

За этим последовала серия маскированных налетов, проводившихся как английской, так и американской авиацией. Множественные налеты были предприняты в период с 28 июля по 5 августа 1944 года.

В борьбе с оружием «фау» они играли не меньшую роль, чем разгром острова Пеенемюнде.

Заключительный рейд состоялся вечером 5 августа, когда, в частности, 441 английский самолет сбросил свыше 2000 фугасных бомб на Сен-Ле, почти полностью разрушив город и засыпав хранилища «фау». (Об этом уже упоминалось в нашем рассказе).

В погребах и подземельях Сен-

Ле и Эссерана кроется еще одна неразрешенная тайна. Из немецких документов явствует, что под грибными питомниками, в которых были сложены «фау-1», находился нижний этаж подземелий и в нем — еще одно секретное оружие никому не ведомого типа.

Нельзя рассматривать это как простое предположение; слишком много свидетельских показаний полностью совпадает.

По крайней мере четыре образца оружия, о котором никто из нас не знает ничего, по-прежнему должны лежать под развалинами в нижних погребах Сен-Ле. Это — всего лишь одна из тысяч тайн, порожденных второй мировой войной. Для раскрытия ее необходимо либо найти фотокопию записной книжки Канариса, либо произвести на месте бывшего города Сен-Ле основательные раскопки.

Подробный отчет о результатах бомбардировки Сен-Ле был отправлен в Лондон сотрудниками Октава через две недели после ареста последнего. Этот же документ содержал подробное описание немецкого бомбардировщика типа Хейнкель, который был приспособлен для запуска самолетов-снарядов «фау-1» и должен был заменить разбомбленные пусковые площадки.

База этих Хейнкелей была размещена на территории Голландии, и запускаемые ими «фау-1» подходили к Англии с той стороны, где не было аэростанций заграждений. Отсюда они продолжали свою смертоносную работу еще довольно долго.

Последний по счету самолет-снаряд упал на английскую деревню Датчфорд 29 марта 1945 года, за месяц до капитуляции Германии.

Продвижение союзных войск на континенте помогло прекратить обстрел Британии оружием «фау». С этой точки зрения важнейшим событием в войне против «фау» после разгрома Пеенемюнде был прорыв германского фронта Первой канадской армией 6 апреля 1945 года в районе Армело в Голландии.

¹ См. книгу американского журналиста-обозревателя Ральфа Ингерсолла «Совершенно секретно». (Имеется русский перевод).

Несмотря на отчаянное сопротивление немцев, канадцы продвинулись на двадцать километров на северо-восток и достигли городка Юммело, где была размещена главная база комплектования «фау» и подготовки их к запуску.

Канадцы полностью разрушили центральные сборочные мастерские и уничтожили множество поездов с готовыми снарядами «фау-1» и ракетами «фау-2».

Нависший над Лондоном кошмар наконец-то рассеялся.

Итак, оружие «фау-1» играло значительную роль до последнего часа великой европейской битвы.

Чертежи этого оружия, как стало известно впоследствии, были ранее переданы немцами в распоряжение японских милитаристов, но там «фау-1» не привились: национальному характеру японцев гораздо больше соответствовали самолеты-смертники камикадзе¹.

14

ЭПИЛОГ

НО ЗЕМЛЯ ИХ ОХВАЧЕНА ТАЙНОЙ ВОЙНОЙ

Но земля их охвачена тайной войной, и глубоко укрыты убийства...

Редьярд Киплинг. «Одна из сторон вопроса».

Наивно было бы полагать, что все конфликты разрешены навсегда в день 8 мая 1945 года.

Хотелось бы надеяться, что настоящая, всеобщая война погибла и никогда более не воскреснет. Она изжила себя сама. Но скрытая борьба не прекращается ни на один день.

Подпольная битва не кончилась и не кончится до тех пор, пока наша Земля разделена на лагеря. Это мое искреннее убеждение. Лишь начало новой, межпланетной эры может избавить человечество от войны любых масштабов, войны явной и тайной.

Когда Верн возвратился живым из Маутхаузена, ему довелось побывать в различных уголках земного шара и наблюдать там любопытные аспекты тайной борьбы. Он подумал, что рассказ об этой борьбе, увиденной глазами участника подпольной войны 1940—1945 годов, может представить для читателя известный интерес.

Чуть не ежедневно мировая пресса с дикими воплями сообщает человечеству о новых и новых «шпионских процессах».

Характер этих дел таков, что до войны ничего подобного мы не слышали.

Надо сказать, что шпионаж — отнюдь не новое изобретение. Само это явление заслуживает хладнокровного изучения без всякой примеси фантастики и романтизма. Шпионаж был широко распространен в Китае за 500 лет до Рождества Христова. Детальные указания по шпионажу можно найти в объемистой рукописи Сун-Тзу, посвященной воинскому искусству.

Множество примеров осведомительной деятельности есть и в биб-

¹ Камикадзе (буквально — «священный ветер») — изобретенная японскими фанатиками-милитаристами разновидность воздушной войны. Груженный бомбами самолет уходил в воздух, оставляя на земле шасси. Летчику не оставалось ничего другого, как возможно дороже продать свою жизнь. (Примечание переводчика).

лии, а также в жизнеописаниях Чингис-Хана и его преемников. Средневековое слово «ассасин» обозначало тогда члена секты «хашшинов», а секта эта представляла собой мировой центр шпионажа, диверсионной деятельности и убийств по заказу.

Современная английская Интеллидженс Сервис была создана в прообразе своем двумя великими писателями — Кристофером Марло и Даниэлем Дефо.

Секретная служба и контрразведка, организованные Жозефом Фуше, были передовыми для своего времени.

Ими были выдуманы шифры и образцы тайнописи, которые остаются нерасшифрованными даже в наши дни, когда применяется несравненно более высокая техника. Некоторые кодированные записи Фуше остаются загадкой для современных специалистов.

В благословенный год от Рождества Христова 1955-ый¹ шпионаж и осведомительная служба приняли еще больший размах.

Таковы особенности нашей эпохи.

Развитие науки и техники в наши дни достигло такой степени, что ни одно, даже самое фантастическое предположение нельзя отвергнуть априори.

Мне представляется, что в наши дни не существует «чистой науки»; любое научное достижение может рассматриваться с точки зрения его пригодности к решению военных задач.

В Соединенных Штатах военная организация Рэнд изучает теорию «боевых игр», таких как шахматы, шашки, трик-трак, покер. Исследователей интересуют все виды мозговой деятельности, в которых человеческие индивидуальности сталкиваются между собой. Изучая механизм этих столкновений, ученые стараются предвосхитить возможность создания счетно-электронных машин, способных *предугадывать* движения противника.

¹ Когда писались эти страницы.

Быть может, в будущем появится робот-главнокомандующий, автомат с электронным мозгом, дающий приказы армиям, разбросанным не только на земном шаре, но и на поверхности других планет...

Углубленное изучение структуры фарфора позволило ученым создать новые керамические составы, по твердости превосходящие алмаз. Открытие было использовано для оснащения автоматических станочных линий. В результате значительно увеличилось производство танков и самолетов, да и невоенная промышленность получила немалые выгоды.

Все взаимосвязано в нашем мире.

В Соединенных Штатах специалисты химической компании Дюпон-де-Немур искали состав, уничтожающий травяную поросль на теннисных кортах. Были изготовлены вещества, названные СМУ и «24-Д»; несколько килограммов такого состава, распределенные тщательно и умело, могли бы уничтожить весь зеленый покров Земли.

Разумеется, каждая страна утверждает, что всякого рода изыскания ведутся лишь в мирных целях.

Можно предложить нашим читателям ознакомиться с работами г-на Гастона Бутуль. Этот ученый французский юрист впервые рассматривает войну как «психологическую реальность». Он создал новую науку «полемикологию», которую можно назвать также «наукой моральной войны». Следует отметить, что пока новоявленная дисциплина еще не развернулась настолько широко, что может избавить человечество от войн.

Когда-нибудь войны неизбежно исчезнут примерно так, как исчезают у нас на глазах венерические болезни. До тех пор, однако, нельзя забывать о возможных столкновениях.

А во время войны жизнь любого из нас зависела от того, своевременно или несвоевременно посылал свое донесение тайный агент. Постараемся же несколько подро-

нее во всем разобраться. Во-первых, не следует путать понятия «шпионаж» и «осведомление». Сведения собираются не только методами шпионажа. Они черпаются также из книг и газет, из радиопередач, даже благодаря изучению образчиков товаров, привезенных из-за границы.

Собранные такими путями известия необходимо *расценить* и синтетически *обобщить*. Это и есть наиболее трудная часть работы.

Обычно она выполнялась офицерами высокой квалификации, которым помогали ученые и специалисты.

Затем руководитель осведомительной службы должен был уговорить свое правительство в том, что сделанные им обобщения имеют первостепенное значение. По этой способности уговаривать узнавались крупные руководители секретной службы. Непревзойденным мастером в этой области являлся м-р Аллан Фостер Даллес: из его выступлений следовало, что все мы обязаны сохранением наших жизней ему одному.

Итак, для получения сведений служили либо радиопередача, либо газета, либо привезенный из-за границы предмет, либо, наконец, хорошо осведомленный *информатор*.

При случае такой информатор мог оказаться офицером разведки, замаскированным под безобидного обывателя.

Иногда он мог чрезвычайно высоко располагаться на служебной лестнице.

Недавно во Франции уборщица одного из министерств была привлечена к ответственности за то, что вытаскивала из мусорных урн выброшенные туда бумаги... На уде ей удалось доказать, что бумаги эти ею использовались самым *розаическим* образом, и она была правдана...

Откуда получает осведомитель передаваемый им материал? Посредственная, будничная жизнь для наблюдательного человека насы-

щена интересными слухами, обрывками сведений, сплетнями.

Осведомитель подбирает их воедино, связывает, истолковывает, расценивает по-своему (чаще всего — подчеркивая собственные заслуги) и, наконец, переправляет материал в почтовый ящик.

Переснятый на микро пленку крохотного размера (такую, что без микроскопа разобраться невозможно) или переданный в зашифрованном виде по ультракоротковолновым передатчикам, рапорт попадает в руки офицера разведки. Перед этим офицером возникает сложная задача — отобрать достойное доверия от невероятного, возможное от невозможного, заслуживающее внимания — от простой болтовни. Трудность заключается в том, что в наши дни невозможного *почти не существует*. Границы возможного фантастически расширились.

Поставим себя на место этого офицера и попробуем оценить полученный материал, пользуясь десятибалльной системой. Нереальное обозначим нулем, достоверное — 10.

Предположим, что вы работаете в разведке страны X, которая живо интересуется делами всех стран мира. Итак:

Американцы установили контакт с обитателями другой планеты. Маловероятно, но отбрасывать полностью нельзя. Слухи о «летающих блюдцах» свежи в памяти, кто-то пытался изобразить их вестниками с пролетевшего межпланетного корабля. Поставим: 1.

Русские выработали метод телепатической связи друг с другом. Маловероятно, но сходные случаи рассматривались на конгрессе парапсихологов в Утрехте. Ставим: 1.

Германия, обманывая контроль союзников, вырабатывает в Гамбурге радиоактивное оружие — «песок смерти».

Приводятся уточнения и подробности. Ставим — 6. Еще кое-какие дополнения, и придется поставить 10.

Два американских ученых на-

шли способ использования солнечной энергии. Полгода назад надо было бы поставить 10, но недавно подобное сообщение появилось в серьезном журнале. Дать выговор осведомителю.

Русские открыли метод ликвидации земного притяжения.

Вернее всего — 1, но отбрасывать полностью нельзя; вполне может со временем подняться до 10.

Англичане ведут работу над газом, укрепляющим нервную систему. Эксперименты на добровольцах.

Вполне вероятно и интересно. Ставим: 7.

Французы создали сверхзвуковой самолет, достигающий скорости в 3000 км/час. Серийное производство не налажено.

Очень похоже на дело, можно ставить: 9.

Синтезирование агентурного материала требует умения тонко отличать невероятное от невозможного.

Принимать на веру непрерывный поток сообщений тоже не представляется возможным.

Для того чтобы убедить массы чужих народов в преимуществах своего строя, американская пропагандистская машина содержит повсеместно огромный штат людей. Число осведомителей американской разведки во всех западных странах чрезвычайно велико.

Весьма возможно, что поставляемый ими материал в значительной степени носит несерьезный, фарсовый характер. Над этим уже острили некоторые журналисты.

Современному государству бывает проще самому разрешить научную проблему — скажем, эффект от бомбардировки нейтронами ядра плутония, — чем с огромными трудностями получить через осведомителя некие цифры, которым к тому же нельзя полностью доверять...

Предположим, что нашим агентам удалось выкрасть весь комплекс проекта атомной подводной

лодки, который был любезно собран в одно место. Допустим, вам это удалось, хотя объем этих материалов равняется трехэтажному дому.

Что вы будете делать с ним? Ведь все, решительно все данные вам придется добросовестнейшим образом проверять... Не покажется ли вам, что проще махнуть рукой... и построить собственную атомную подлодку по своим собственным чертежам и расчетам?

Существуют страны, где интерес к науке, признаваемой в других странах (например, месмеризму), может повлечь за собой угрозу свободе, а то и жизни человека. Все двери закрываются перед ним.

В других странах жестоко карается даже простое любопытство, проявленное к неодобряемым занятиям «метапсихического» типа.

Самый поверхностный интерес к «мистике» может разбить научную, техническую или военную карьеру.

Так возникает тайна. Знание того, что профессор Икс тайно занимается спиритическим столоверчением, что доктор Зет интересуется явлениями квантового резонанса в органической химии, а мистер Игрек хочет знать наверное, существовала ли Атлантида, приобретает для разведчика-резидента первостепенное значение.

Это для него гораздо важнее, чем список двадцати атомных баз или чертежи нового истребителя, летающего со сверхзвуковой скоростью. Совершенно понятно: список атомных баз легко будет составить, просмотрев стенографический отчет прений в американском конгрессе, а чертежи истребителя в ближайшее время могут появиться в швейцарском авиационном журнале «Интер-авиа».

Мне удалось наблюдать, что причуды, странности, привычки приобретают огромное значение. Иногда умелое использование побочных факторов влекло за собой таинственное исчезновение ученых и дипломатов, дезертирство воен

ных высокого ранга, а то и политический дворцовый переворот...

В тайных картотеках прежнего времени резидент отмечал лишь «явные» пороки интересующих его персонажей — страстишки и обременяющие их долги. В современную картотеку вносятся «ненаказуемые пороки», которые правильнее было бы называть невиннейшими склонностями. По определению Валери Ларбо, таким «пороком» является, например, страсть к чтению.

И здесь осведомительная работа вступает в неисследованную и увлекательнейшую область.

Всякое необычное занятие, всякая оригинальная склонность рассматриваются с некоторых пор как подозрительные. Через любые препятствия может протянуться незримая нить, основанная на общности интересов. Начинается с коллекционирования, а кончается бегством ученого или политическим переворотом...

Область чудачеств, причуд, человеческих странностей — вот где в наши дни ведется работа осведомителей и резидентов.

Классическому шпиону доброго

старого времени здесь делать нечего. Еще Эдгар По писал в «Украденном письме»:

«Префект называл *странным* все то, чего он не понимал. На протяжении всей жизни он был неизменно окружен легионом странностей».

Американцы недавно реорганизовали свои разведывательные бюро и управления по психологической войне.

Всем их работникам предписано читать научно-фантастическую литературу. Они старательно изучают заброшенные материалы американского Фортейского общества. Эта любопытная организация занималась исследованием лишь тех гипотез и предложений, которые были *отвергнуты* наукой.

Англичане заняты пополнением своих тайных картотек по психологической части, с акцентом на «хобби»¹.

Дело острова Пеенемюнде дало службам информации ценный урок; оно показало, что ничего нельзя отвергать без проверки, ибо *невозможного не существует*.

В силу этого дело Пеенемюнде не утратило интереса даже и в наши дни.

15

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕРНА

Самое удивительное в чудесах это то, что они иногда случаются...

Джилльберт Честертон.

Ни один из нас ни минуты не рассчитывал остаться в живых. Освобождение, пришедшее к нам 5 мая 1945 года, было для нас полнейшей неожиданностью.

Я никогда не забуду реакции одного своего лагерного товарища,

русского. До войны у себя на родине он был крупным специалистом

¹ Хобби — англосаксонское понятие, равнозначащее нашим «причуде», «фокусу». Английский премьер-консерватор лорд Болдуин, например, со страстью занимался свиноводством. (*Примечание переводчика*).

по антирелигиозной пропаганде. Увидев, как на холм Маутхаузен поднимается первый американский джип, товарищ проникновенно воскликнул: «Слава тебе, господи!..»

Нас развезли по домам очень быстро, хотя возвращение на родину из других лагерей обычно тянулось долго и томительно.

Английский генерал Суинтон Ли был адъютантом Эйзенхауэра, ведавшим вопросами, касающимися французского штатского населения. Он обратился к главнокомандующему и попросил за нас. Последовало распоряжение — и все узники Маутхаузена, которые еще держались на ногах, были репатрированы на «летающих крепостях» в один день, 19 мая 1945 года.

Все еще ощущая себя в фантастическом сне, я оказался на расвете 19 мая 1945 года в Австрии, на аэродроме Хейнц.

«Летающая крепость», посланная за нами, прибыла непосредственно из Рангуна. Экипаж самолета ничуть не был этим взволнован.

— Война-то ведь мировая, не так ли? — сказал мне бортрадист.

Он тут же передал от моего имени срочное зашифрованное послание штабу союзников в Реймсе, а затем принялся показывать мне радарное оборудование самолета. Я обнаружил там несколько новшеств, которых не думал увидеть по крайней мере до 2000-го года.

Пока мы ожидали прибытия американских самолетов в полевом лазарете, наскоро организованном в Маутхаузене, нам довелось ознакомиться с действием пенициллина. За те пять лет, что Франция была отрезана от мировой культуры, многие отрасли науки продвинулись вперед на сто лет.

Меня пронзила сумасшедшая мысль: а вдруг уже добыта атомная энергия?..

Радист посмотрел на меня с любопытством.

— Об этом поговаривают, — сказал он нехотя. — Дело оно секретное, но разговоры идут...

Я вспомнил эту фразу в день

Хиросимы, спустя несколько месяцев. Тогда я ощущал одно: мое путешествие в Маутхаузен оказалось одновременно путешествием в недра Времени.

Летающая крепость оторвалась от земли и ушла в воздух. Это был мирный полет без всяких мер предосторожности.

Прошло всего одиннадцать дней со дня капитуляции Германии, но в Европе уже не существовало никакого сопротивления силам союзников. Через несколько часов я очутился в Париже, на бульваре Мадлен. Еще накануне вечером я был в Маутхаузене, где провел год. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я буду шагать по парижскому асфальту в своей лагерной одежде, я считал бы это абсолютно бессмысленной фантазией.

Поэтому и окружавший меня Париж показался мне фантастическим, словно возникшим из сказки. К действительности меня вернула собравшаяся толпа; люди окружили изможденного человека в полосатой одежде и задавали ему вопросы...

Я кое-как удовлетворил естественное любопытство парижан и устремился в метро. Через несколько минут я был уже в том месте, которое нежно любил перед войной, да и после войны тоже, — в американском книжном магазине Брентанос на авеню де л'Опера, 37.

С меня ни за что не хотели брать денег, я с трудом убедил продавцов, что деньги у меня есть, и ушел, нагруженный толстыми пачками газет и журналов.

Усевшись на скамейку в саду Тюильри, я долго старался примирить действительность 1945 года с тем мрачным миром, который покинул год назад.

Муссолини повешен, Гитлер таинственно исчез¹.

Готовился гигантский десант на территорию Японии.

¹ Лишь спустя несколько дней были схвачены эсэсовцы, сжигавшие тела Гитлера и Евы Браун, покончивших самоубийством. Они показали местонахождение останков, и обгоревший череп фюрера был опознан его дантистом по зубам.

Обсуждались условия капитуляции германских войск, блокированных на острове Олерон и во французских городах на Атлантике.

Прочитав это сообщение, я подумал, что сошел с ума. Неужели война еще не кончилась? К счастью, стратегический обзор в английском «Таймсе» разъяснил мне природу укрепленных «карманов», в которых еще держались немецкие войска на атлантическом побережье.

Научные и технические статьи меня совершенно ошарашили.

Один бойкий автор утверждал, что из грибов может быть извлечена чудодейственная субстанция, излечивающая человечество от разнообразных болезней. В частности, автор предсказывал полное исчезновение болезней венерических.

В Маутхаузене я слышал о пенициллине, но, лишь прочитав множество статей, понял, что речь идет о видоизменении известного мне открытия, сделанного сэром Александром Флемингом.

Народилась новая химия веществ промежуточных между органическими и минеральными — химия силиконов.

Геликоптер или вертолет, в 1940 году признанный экспертами теоретически невозможным, ныне выпускался Соединенными Штатами в серийном порядке.

Электроника добилась фантастических успехов.

Очевидно было, что цензурные ограничения оставляют в тени вопросы, связанные с расщеплением ядра.

В общем, мне показалось, что я попал в какой-то нереальный мир, в научно-фантастический роман 2000-го года, ушедший бесконечно от той жизни, к которой я привык...

Чтобы пополнить свое образование, я приобрел несколько политических еженедельников и десяток французских газет.

Оказывается, женщинам во Франции было предоставлено право голосовать на выборах.

Коммунисты вошли в правительство и стали у власти.

Лаваль и Петэн ожидали суда.

Временное законодательное Собрание начало заседать в Люксембургском дворце, но собиралось покинуть его: слишком велика была боязнь немецкой мины замедленного действия, которая могла быть заложена где-то под ним.

В самой Франции, в частности в Эльзасе, немцами в свое время были созданы лагеря смерти, такие же чудовищные, как тот, из которого выбрался я.

Я вернулся к американским газетам. Увы, Рузвельт действительно умер, в этом немецкая пропаганда не солгала.

Была разработана технология серийного производства катодных трубок. Это значило, что телевидение в скором времени будет распространено не менее, чем телефон.

Я наткнулся на множество непонятных терминов.

Что такое «Объединенные нации»? Я этого не знал.

Через каждые три строчки в газетах упоминался какой-то «невидимый кролик Харви»... Кто это такой? Я не мог знать, что речь идет о фильме и пьесе, которые прогремели по всей Америке и теперь пришли во Францию. Невидимому кролику Харви суждено было и здесь стяжать не меньшую популярность.

Что произошло на Окинаве и Инодзиме? Кто этот Тито, такая важная персона в Югославии? Что это за порошок ДДТ, на который возлагалось столько надежд; утверждалось, что без него мировая война сопровождалась бы страшными эпидемиями?

И тут только я внезапно окончательно понял, что я не в лагере, что лагеря больше нет. Я в городе, где нет ни комендантского часа, ни светомаскировки. Я свободен. Я могу сидеть на бульваре и размышлять, стараясь понять происшедшее. Если мне захочется, я могу сидеть так всю ночь, и никто не загонит меня в барак...

Вероятно, я внезапно резко по-



Награждение героев Сопротивления в Палэ-Бурбон.
В первом ряду в военной форме — Жак Бержье

бледнел. Женщина, сидевшая на скамье рядом со мной, тревожно спросила:

— Мсье, хотите я провожу вас к доктору?

Я поблагодарил и тихонько двинулся к родительской квартире на улице д'Асса. Я застал своих в слезах, они были уверены, что я валяюсь без чувств где-то на парижской мостовой...

Разумеется, выходить в том состоянии, в котором я прибыл, было чистейшим безумием. Однако в то время разница между мудростью и безумием была для меня чрезвычайно туманной.

Отец успел срезать пломбы с телефонного аппарата, и звонили непрерывно. На столе накопилась толстая пачка конвертов, привезенных курьерами на мотоциклах и велосипедах, военными и штатскими. Распечатав их, я узнал множество новостей, касавшихся меня лично. Лондонский муниципалитет сообщил, что одна из улиц названа моим именем. (Впоследствии я отказался от этой чести и просил присвоить этой улице имя погибшего товарища, Рене Пелле).

Я узнал, что возведен в звание

капитана новой французской армии, что получил множество орденов от различных правительств, что генерал Эйзенхауэр и генерал де Голль были бы рады повидать меня, что специальная американская экспедиция, собирающая данные о немецком секретном оружии, просит меня сотрудничать с нею...

Историю этого сотрудничества можно прочесть в книге профессора Гудсмита «Миссия Альсос».

Около полуночи родители уговорили меня лечь.

Когда я засыпал, на экране памяти огненными буквами всплыли два латинских слова: **МАГНА МАТЕР**.

С ними я заснул и, лишь проснувшись утром, вспомнил их значение. В древнем Риме существовал тайный религиозный культ Великой Матери. Всякий новый адепт, приобщаясь к тайному культу, должен был принять кровавое крещение.

Если он оставался жив, его считали родившимся заново.

Именно это и произошло со мной.

*Перевод с французского
Евг. Загорянского.*

Степан Щипачев

О ЧУВСТВЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Годы летят быстро, быстро летят и десятилетия. Мальчики и девочки, которых сегодня родители водят в детский сад, уже довольно пожилыми людьми встретят за веселым застольем двухтысячный Новый год, а там зашагает вперед двадцать первый век, торжественно отпразднует человечество столетнюю годовщину Великого Октября... Многое из того, что мы создали в литературе, забудется. Время — самый объективный, самый мудрый критик; оно не будет считаться с литературными рангами, установленными нами сегодня, и с тем, какой пост в Союзе писателей занимал когда-то тот или иной из нас: не будет оно считаться и с тем, кто ходил в наше время в непререкаемых литературных ортодоксах, а кого критиковали, — но мне кажется, не надо быть пророком, чтобы уверенно предсказать: потомки будут читать те наши книги, в которых больше верных примет нашего времени, в которых ярче

всего раскрыт духовный мир теперешних людей — строителей и мечтателей.

Я боюсь слов, которые от частого употребления потеряли свою первоначальную силу. Мне хотелось начать этот абзац словами: «Мы живем в необыкновенное время». Но рука замерла на бумаге. Я подумал: а не пройдут ли эти слова мимо читателя, не задевая его сознания? А живем-то ведь мы на самом деле в необыкновенное время! Все, что было до нас, — предыстория. Подлинная история человеческого общества началась выстрелом с легендарной «Авроры», декретами Ленина о мире и о земле. Она начата красноармейцами, в тифу и в голоде отстоявшими Советскую власть в годы гражданской войны; она начата тружениками пятилеток, героями Отечественной войны, рабочими, колхозниками, инженерами, учеными, работающими над выполнением семилетнего плана. Гул боев и работ,

которыми наполнены эти десятилетия, будет несмолкаемым эхом перекатываться по всем эпохам будущего.

Недавно мне довелось поспорить с товарищами на обсуждении фантастического романа И. Ефремова «Туманность Андромеды», действие которого происходит примерно через тысячу лет. В нем много интересного. Автор осязаемо приблизил к нам далекие звездные миры, показал людей, совершающих долгие межзвездные рейсы в космических кораблях. В романе несомненно много достоинств. Если Уэллс в романе «Машина времени» ничего не увидел в далеком будущем, кроме физически и духовно выродившихся илюев — господ и морлоков — рабов, если и другие буржуазные фантасты видят в будущем только сплошной мрак, маразм и безысходность, то в романе Ефремова показано человеческое общество как общество свободных, равных, гармонически развитых людей, которым неизвестны не только социальные, расовые и национальные различия, но и различия между умственным и физическим трудом, людей, которые одновременно являются и учеными и рабочими. Однако, читая роман, удивляешься тому, что автор почти никак не связал то далекое время с нашим временем. По роману получается, что нашего времени — с Лениным, с грандиозными классовыми битвами, с войнами и великими стройками — будто и не было на земле. Даже летосчисление ведется в романе с некой «эры Великого кольца», а не с того социального перелома, после которого значительная часть человечества стала жить принципиально по-другому.

Нет, наше время не изгладится из человеческой памяти, наоборот, я уверен, чем дальше оно будет уходить в прошлое, тем более пристальное внимание будет привлекать к себе.

Значит, и наша литература, порожденная нашим временем, запечатлевшая его, будет жить долго. Какие бы гениальные книги ни по-

явились в будущем — далеком или близком, — они не оттеснят того лучшего, что есть в современной советской литературе. Они не оттеснят ни фурмановского «Чапаева», ни «Разгрома» Фадеева, ни «Тихого Дона», ни «Поднятой целины», ни стихов Маяковского, ни «Василия Теркина», потому что без них люди будущего многого не смогут понять в нашем времени.

Когда писатель заканчивает вещь, возможно ему иногда и приходит в голову честолюбивая мечта о том, чтобы его произведение дошло до потомков; но наверно больше всего его волнует мысль — дойдет ли его роман, поэма или пьеса до сегодняшнего читателя или зрителя.

«Я к вам приду в коммунистическое далеко», — писал Маяковский. Но чтобы это «коммунистическое далеко» стало «коммунистическим близко», он всю свою творческую энергию гениального поэта отдавал делу революции, злобе дня, проблемам, которые волновали его современников.

Заинтересованное вмешательство в жизнь, острое чувство современности и гражданская ответственность — вот что прежде всего может дать долгую жизнь талантливой книге. Подчеркиваю — талантливой, ибо без этого драгоценного и необходимого свойства книгу не спасет никакая злободневность и актуальность.

Чувство современности! Его не заменить ничем, никаким стилистическим блеском. И можно только пожалеть тех писателей, которые не до конца понимают это. Мне кажется, что даже очень талантливый писатель не выполнит самой главной задачи своей жизни, если он всем своим творчеством не зарабатывает морального права сказать, как Маяковский: «Я сам расскажу о времени и о себе».

* * *

Я не собираюсь делать широкого обзора литературы, а остановлюсь только на некоторых сторонах

литературного процесса, на явлениях последних лет. К тому же я буду касаться произведений только писателей-москвичей.

Но прежде, чем перейти к этой нелегкой, а может и не совсем сильной для меня задаче, мне хочется сказать несколько слов о том, что же такое Московская писательская организация. И в Российском Союзе писателей, и в Союзе писателей СССР — это самый могучий коллектив с целым созвездием блистательных — не побоюсь сказать — мировых имен. Этот коллектив складывался в течение долгих лет и проверен делами. Сколько у нас подлинных тружеников, талантливых, творчески беспокойных и жадных до работы людей, крепко связанных с жизнью: с деревней, с промышленностью, с наукой, с великими стройками, с нашей славной армией! Думаю, что мало кого из московских писателей можно упрекнуть в домоседстве. Иначе не было бы у нас тех произведений, которые составляют гордость нашей литературы, начиная с первых пятилеток и до настоящего дня: не было бы романа-хроники Валентина Катаева «Время, вперед!», напечатанного почти тридцать лет тому назад, но не утратившего и сейчас своего новаторского значения и актуальности, не было бы туркменских рассказов Тихонова, «Кара-Бугаза» Паустовского, не было бы «Обыкновенной Арктики» Горбатова и многих других отличных произведений, написанных в разные годы в итоге неутомимых поездок по стране. Без глубинного изучения жизни, без творческого беспокойного размышления о ее проблемах, без художественного поиска — не могли бы появиться такие произведения последних лет, как блистательная поэма Твардовского «За далью — даль», книга рассказов Трифонова «Под солнцем»; не было бы «Владимирских проселков» Солоухина и множества других произведений, перечень которых занял бы слишком много времени. И, уж конечно, не было бы тех превосходных и нужнейших

очерков, которые делают честь нашей литературе последних лет.

Нечего греха таить, еще имеются в нашей организации люди, которые пятнают высокое звание писателя, но это сорная трава, люди, которые по недоразумению носят в кармане членский билет Союза.

В Гослите недавно вышли два тома писательских автобиографий. Эти автобиографии, собранные вместе, рассеют обывательское представление о «легкой» жизни писателей, расскажут, какой изумительный путь труда и гражданских подвигов прошли многие писатели.

Мне не раз доводилось слышать мнение, что последние два года небогаты хорошими произведениями. Мне кажется, с этим согласиться нельзя. За последние годы литература наша продолжала творческие поиски, появлялись новые темы, новая проблематика. Да и как могло быть иначе!

От съезда к съезду, от одного пленума ЦК к другому мудрые партийные решения направляют жизнедеятельность нашего народа, смело отмечая то, что мешает нашему движению вперед, выдвигая все новые задачи. Эти задачи, естественно, преломляются и в литературе. Не случайно, что в последние годы с особенной силой зазвучала тема доверия к людям — в таких вещах, как «Судьба человека» Шолохова, «Жестокость» Нилина. Не случайно появились такие произведения о первом периоде существования нашего строя, как «Черные сухари» и «Золотая осень» Драбкиной, «Первые годы» Виноградской. Живительное влияние мысли и практических дел нашей партии не могло не отразиться на большинстве произведений. В том числе и на книгах о войне, с которых я и начну разговор о прозе.

Новые книги о Великой Отечественной войне появились не на голом месте. До них мы читали десятки хороших и превосходных книг на эту тему. Я не буду их перечислять — они всем известны. Но книги о войне, появившиеся за последнее время, мне кажется, не

только расширяют военную тему, но несомненно вносят в нее и нечто новое. Этому помогло, очевидно, то, что правда о войне в последние годы открылась более полно, хотя, может быть, и более сурово.

Эту суровую и горькую правду о первых месяцах войны мы находим в новом романе Константина Симонова «Живые и мертвые». Этот роман с первых же страниц воссоздает атмосферу тех трагических месяцев, но, одновременно, с первых же страниц романа мы чувствуем, какая огромная потенциальная сила заложена в советских людях, в советском строе. Новый роман Симонова — большая удача нашей литературы.

Глубокого признания заслуживает и благородная публицистическая книга С. С. Смирнова, вернувшая славу героям Брестской крепости.

Особо стоят повести «Последние залпы» Юрия Бондарева и «Пядь земли» Григория Бакланова. Несколько месяцев тому назад я уже говорил как-то на собрании московских писателей о талантливости и своеобразии этих повестей.

Повесть Бондарева принята критикой и читателями почти единодушно как вещь бесспорно значительная, талантливая по большому счету, и я не буду на ней останавливаться, хотя у меня и есть по ней замечания, но это уже для личного разговора с автором, а не для статьи.

В повести же Бакланова, также безусловно талантливой, недостатков, может быть, больше, но эти недостатки вряд ли дают основания для резкой критики этой вещи.

Повесть находят перегруженной натуралистическими подробностями. Возможно, в этом есть доля правды. Художественное изображение действительности требует строгого отбора деталей, точного чувства меры в этом отборе. Возможно, это чувство меры где-то изменяет Бакланову. Некоторые критики даже применяют по этому поводу тер-

мин «ремаркизм». Действительно, в повести отдельные детали словно перекочевали из романа «На Западном фронте без перемен», например хлеб, измазанный кровью. Но разве это дает какое-либо основание ставить на одну доску эти произведения, написанные в разное время, при разных исторических обстоятельствах? Одно из них, хотя и продиктовано гуманизмом, подлинной человечностью, пропитано горечью обреченности, другое дышит душевным здоровьем, силой, проникнуто ясностью перспективы.

Мы давно ждали хорошего произведения о Советской Армии мирного времени. И вот в журнале «Знамя» появился роман Георгия Березко «Сильнее атома». В этом романе с необыкновенной ясностью показано гуманистическое назначение нашей армии, борьба за партийный дух в армии. Роман дает точное ощущение времени, событий в мире. В нем есть и недостатки. Мне кажется, автор вряд ли правильно решил судьбу Парусова при помощи оргвыводов. Это — нагрузка. Книга заставит думать, спорить, и это — хорошо.

* * *

Тема минувшей войны долго еще будет восприниматься как современная. Но сейчас обратимся к произведениям прозы на современную тему в самом прямом смысле слова. Книжки, вышедшие за последние годы, дают основание говорить о решительном повороте нашей литературы к этой теме.

Многие из присутствующих наверно прочитали обаятельную повесть Александра Рекемчука «Время летних отпусков», надеюсь, помнят вдумчивый «Деревенский дневник» Ефима Дороша, такие вещи, как «Трамонтана» Сажина, «Остров всех надежд» Борщаговского, «Аленка» Тендрякова, «Знакомьтесь: Балувев» Кожевникова, «Партийное поручение» Овалова.

Надеюсь, многими прочитан и новый роман Михаила Бубеннова «Орлиная степь». Это — одна из первых крупных вещей об освоении целины. В ней рассказано о необъятных степных просторах, о самоотверженном труде молодежи, о твердости и воле главного героя романа Багрянова, о его борьбе с равнодушием и подлостью. Роман читается с интересом. Досадно только, что его язык иногда портят безвкусные красоты.

Писатели показывают со всей силой таланта положительные примеры нашей действительности, одновременно вскрывая и то, что мешает нашему движению вперед.

В романе Горелика «Обещание» остро изображена так называемая «показуха», рассказано, как иногда руководители завода спекулируют на славе рабочего изобретателя, рассматривая ее как важный козырь в своей карьеристской игре.

Упомянутые произведения различны по художественному уровню, некоторые страдают существенными недостатками, но при всем этом их объединяет одно: мир этих произведений заселен людьми труда, в большинстве — рядовыми тружениками. Мы встречаемся и близко знакомимся в этом мире с колхозниками, сталеварами, шахтерами, текстильщиками, строителями крупнейших электростанций, нефтяниками, освоителями целинных земель, рыболовами. Многих этих людей объединяет коммунистическое отношение к труду, раскованная инициатива, творческие поиски.

Тема труда возникла в литературе не сегодня, она проходит через всю советскую литературу. Но сегодня, когда мы приступили к развороту строительству коммунизма, она приобрела особое, я бы сказал, непосредственное значение.

Эта тема — в связи с перестройкой народного образования — приобрела особую роль в юношеской и детской литературе.

Последние годы были очень

сложными для подрастающего поколения. В течение долгого времени выработался традиционный путь: школа — институт. Иных путей для многих как-то и не мыслилось. «Кем быть?» — вот та наиболее существенная проблема, которая в предшествующие годы решалась юношеской литературой: кем быть, в какой институт подать документы. И вдруг привычный порядок нарушился: сотни десятиклассников, ринувшись в институты, не были приняты и остановились на распутье. Необходимо было срочно вмешаться, показать, что жизнь на этом не кончилась, что есть пути не менее интересные и верные. Первой книгой, ответившей на эти вопросы, была повесть Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского». Характерно, что автор повести — молодой начинающий писатель. Он немногим старше своих героев — так же, как и автор другой повести Анатолий Кузнецов. В повести Гладилина обращает на себя внимание фигура центрального героя, умного мальчика, умеющего легко говорить обо всем, легко найти острое словцо. Но долгие годы учебы, искусственно изолированной от жизни, сделали болезненным столкновение его с действительностью.

Позднее появилась повесть на ту же тему Нины Ивантер «Снова август». По охвату жизни эта повесть шире повести Гладилина, но она несомненно уступает ей в художественной убедительности.

Глубже и эмоциональнее решаются все эти проблемы в повести Кузнецова «Продолжение легенды».

«Зачем надо было готовить нас к легкой жизни... Учителя заботились уложить в отведенные часы с Онегиным и Печориным, и, по-видимому, в учебном плане не было уделено специального времени для разговора о жизни... Где же взять учебник жизни?» — этими тревожными вопросами и начинается повесть Анатолия Кузнецова.

Герой повести проходит через множество испытаний, он впервые

открывает для себя людей, не книжного идеального человека, а реальных людей. Он открывает и то, что трудиться — это нести с собой свет, радость, тепло, что это и есть самое большое, самое великое счастье на земле.

Такую же эмоциональную окраску имеют и рассказы еще одного молодого писателя — Анатолия Мошковского. Труд для юных героев Мошковского — это их жизнь, именно в нем проявляется лучшее в этих людях — мужество, сила, ум. В его рассказах и маленькие герои — эти Семка, Кешка, Афонька — многое умеют.

Лев Кассиль в своей последней книге — «Про жизнь совсем хорошую» сделал интересную попытку просто и образно поговорить с ребятами среднего школьного возраста на сложные социальные темы: о капитализме, о прибавочной стоимости, об отношении к труду советских людей и о том, как будут жить люди при коммунизме. Книга, вероятно, не во всем удалась, но уже сама попытка создать такую книгу заслуживает всяческого поощрения.

Труд как источник радости, счастья, полноты человеческого бытия, каким он будет в коммунистическом обществе, уже и в сегодняшней нашей жизни меняет духовный облик человека. И очень важно, что отображение этого процесса становится одной из главных проблем нашей литературы.

* * *

Конфликт между Вальганом и Бахиревым в романе Галины Николаевой «Битва в пути» — это не что иное, как столкновение между человеком, думающим о своем благе, о своей карьере, и человеком, бескорыстно думающим о благе народа. Вальган как руководитель по сути равнодушен к людям, к делу, строго говоря — нечестен. А нечестность людей, думает в романе Бахирев, превращается в нечестность вещей.

Бахирев — воинствующий герой, умеющий ради общего дела до конца отстаивать свои взгляды. К сожалению, убеждаешься, что в произведениях последних лет мало воинствующих положительных героев, таких, как Бахирев. А ведь очень важно, чтобы положительный герой был хозяином конфликта. Прав был Салынский, говоря, что у нас положительный герой чаще обороняется, чем нападает. Людей талантливых, стойких, душевно цельных, готовых на любые подвиги, в жизни больше, чем в литературе. И мы должны открыть им двери в наши произведения.

У каждого государства есть золотой запас. Чем больше золотой запас, тем тверже валюта государства, тем увереннее оно чувствует себя на мировой арене. Но есть еще и золотой запас человеческих душ, светлых умов, храбрых сердец.

Мне кажется, книги последних лет приоткрывают эту нашу сокровищницу, показывая, что, кроме тех ценных людей, которые, так сказать, «находятся в обращении», есть еще огромный, поистине неисчерпаемый человеческий «золотой запас».

Разве старик Данилыч из «Трамонтаны» Сажина — не государственно мыслящий человек? Разве умнейший рачительный хозяин Иван Федосеевич из книги Дороша — не подлинный общественный деятель крупного масштаба? Разве не могла бы геолог Светлана Панышко из повести Рекемчука быть директором промысла? Но директором назначают другого. И вот по дороге в райком секретарь парт-организации промысла, читаем мы у Рекемчука, мысленно уговаривает себя так вот прямо и сказать первому секретарю райкома: «Кричать-то мы мастера на конференциях и пленумах, что нужно-де смелее выдвигать молодежь на руководящие посты. Друг друга уверяем, что нужно, необходимо, дескать, растить кадры. В решения про это записываем... А коснется дела — кого же поставить на этот руководящий пост? Может быть,

товарища такого-то? Молодой специалист, растущий инженер, способный организатор... Тут-то и начинаем в затылке почесывать: да, мол, оно, конечно, молодой... да уж больно молод. Это верно, что растущий... так ведь не вырос еще! Рискованно...»

Мне кажется, эта повесть затрагивает очень важный вопрос. На июньском Пленуме ЦК Никита Сергеевич Хрущев говорил: «Необходимо дать возможность побольше поработать молодежи».

Ограничив себя рассмотрением отдельных проблем прозы, я, естественно, не мог коснуться целого ряда интересных произведений, написанных на другие темы: я не коснулся исторического романа Сергея Голубова «Птицы летят из гнезд», романа Бориса Полевого «Глубокий тыл», романа Владимира Тендрякова «За бегущим днем», повестей Г. Медынского «Честь», Константина Паустовского «Время больших ожиданий», «Капля росы» Владимира Солоухина, хотя я и прочел эти вещи.

Это, разумеется, далеко не все. За чертой осталось еще немало хорошего. Но и те произведения, которые мне известны, создают ощущение, что наши прозаики набирают силу.

* * *

На наших съездах и в печати мы часто говорим о качестве литературы. Я уже сказал, что за последнее время появилось немало хороших произведений, обогативших нашу прозу, но это не должно успокаивать нас. Высокая требовательность к произведениям должна быть непререкаемой. Помимо всего того, что требуется от художественного произведения, оно еще должно непременно прививать читателю хороший вкус, воспитывать его эстетически. Споры нет, первые книги молодых авторов могут быть далеко не совершенными, когда

они все же талантливы. Средняя книга может появиться и у писателя уже сложившегося. В большом потоке литературы могут быть книги различной художественной ценности. Но нельзя успокаивать нас, как делают некоторые товарищи, что-де ничего нет плохого в том, если «средних произведений и книг, страдающих просто недостаточным художественным мастерством», будет издаваться больше, чем хороших. Вселять в литературу дух терпимости к художественно слабым произведениям — это значит обезоруживать ее, это значит соглашаться с тем, что все наши разговоры о мастерстве никого ни к чему не обязывают. Подобная проповедь на руку только литературным ремесленникам. Настоящий писатель всегда видит перед собой новую горную вершину, которую он должен одолеть. В этом именно и заключается та светлая сила, которая движет литературу вперед к новым вершинам мастерства.

Некоторые литераторы упрекали работников издательства в том, что будто бы они взяли установку на гениальность. Это, конечно, недоразумение. Приведу несколько статистических данных. Только за один 1958 год и только книг русских писателей вышло 3025 названий. Из них 1995 произведений прозы, 120 сборников пьес и 749 стихотворных сборников. О какой тут установке на гениальность может идти речь! 749 стихотворных сборников только одних русских поэтов за год. А если к ним прибавить 1211 сборников, вышедших в том же году на языках народов СССР, — это уже получится совсем внушительное число — 1960 книг одних стихов.

Не в установке на гениальность надо упрекать издательства, а в том, что они не всегда издают хорошие, нужные книги.

Говорить о высокой требовательности к произведениям это значит, кроме всего прочего, говорить и о лаконизме. Чернышевский как-то писал: «Особенно нам, русским,

должна быть близка и драгоценна сжатость». В русской классической литературе есть прекрасные образцы этой сжатости. Вспомним хотя бы «Капитанскую дочку», названную Пушкиным романом в двух частях, «Героя нашего времени», романы Тургенева. К сожалению, большинство современных романов, вышедших в последнее время, не отличается этим драгоценным качеством. Даже такой талантливый роман, как «Битва в пути», сильно выиграл бы, если бы первая треть его была написана экономнее.

В минувшем году сразу появилось несколько повестей. Отраднo, что этот лаконичный и емкий жанр начал снова активизироваться. «Мы люди деловые, — писал Белинский, — мы беспрестанно суетимся, хлопочем, мы дорожим временем, нам некогда читать больших и длинных книг — словом, нам нужна повесть». Не поймите меня ложно. Я процитировал Белинского все не для того, чтобы кого-то убеждать, что нам не нужны романы. Дай бог, чтобы они появлялись почаще. Были бы только талантливы, занимательны, верны жизни. Да и Белинский — все вы понимаете — не собирался зачеркивать этими словами романа как ведущего жанра, а только резче хотел подчеркнуть необходимость сжатости произведений.

Мне кажется, что жанр рассказа у нас тоже не в большом почете. А напрасно. В декабре минувшего года, как известно, состоялся Пленум Центрального Комитета нашей партии. И разве не отраднo было прочитать в те дни, когда еще шла работа Пленума, только что появившийся в «Огоньке» рассказ Георгия Радова «Гречка в сферах», в котором затронута одна из тех проблем сельского хозяйства, которые стояли на повестке Пленума. Отраднo было прочитать этот рассказ и потому, что это не просто отклик на злобу дня, а художественное произведение с характерами героев, с интересной мыслью.

Некоторые критики упрекают молодого прозаика Юрия Казакова за оторванность от советской действительности. Иные его рассказы, как «Оленьи рога» или «Отщепенец», действительно грешат вневременностью, но они-то как раз и менее ярки. Наиболее же удачными являются рассказы «Манька», «Два старика» и особенно «Странник», где в обаятельном образе колхозницы, молодой вдовы, как бы воплощена чистота и моральная требовательность советского человека. Портрет странника, паразитирующего на религиозных чувствах остальных людей, написан Казаковым с тем уничтожающим презрением, в котором выражается отношение нашего современника к цепким пережиткам прошлого. Мне хочется от души пожелать молодому писателю, чтобы он продолжал и углублял линию именно таких своих рассказов.

* * *

Широкое признание за последние годы завоевал очерк, заставив потесниться другие жанры. Не случайно, например, журнал «Новый мир» в прошлом году печатал большую очерковую вещь Марьямова «Идем на восток» как роман, н первом плане, с продолжением нескольких номерах. Очерки занимают все больше места в планах издательств.

Мы очень мало друг друга читаем и, вероятно, плохо знаем наших очеркистов. А знать их нужно. Своей работой они дают пример оперативности, знания жизни актуальности. Чтобы яснее представить себе тот круг тем и вопросов, которые разрабатывают очеркисты, достаточно перечислит хотя бы некоторые их коллективные сборники. «23 рассказа строителях» — книга о людях строящих сегодняшнюю Москву «Люди, идущие в завтра» — бригадах коммунистического тру

да; «Города, которых не было на карте» и т. д.

Нельзя не отметить и некоторые отдельные работы из тех, что я успел прочитать: «Репортаж из будущего» Анатолия Аграновского, «Пять часов разницы» Анатолия Злобина, «Добрый атом» Д. Данина.

Заметно оживилась в очерковой литературе тема заграницы.

Вероятно, многие с интересом прочитали очерк Бориса Агапова «Поездка в Брюссель», остроумную, веселую и в то же время серьезную книгу Геннадия Фиша «Здравствуй, Дания!», главы из будущей книги Н. Н. Михайлова «Иду по широте», а также книгу о итае Бориса Галина «Крепкая завязь».

Отличным публицистом показал себя Николай Грибачев. Его книги статей, памфлетов, фельетов, вышедшие за эти два года, привлекли внимание самых различных читательских кругов.

Упомянутые очерки (как и многие не упомянутые) говорят о братской дружбе между народами социалистических стран, о духе интернационализма, проникающем на все материки, о мирном соревновании с лагерем капитализма, ни говорят также и о нашем негритимиримом идейном споре с капитализмом. Находясь в Америке, Икита Сергеевич Хрущев открыто высказывал свое убеждение в том, что победит коммунизм. Он говорил: «Вы можете со мной не соглашаться. Я не согласен с вами. Но что же нам делать? Нужно сосуществовать. Живите вы при капитализме, а мы будем строить коммунизм. Победит новое, прогрессивное; старое, отживающее свой век, мрет. Вы считаете, что капиталистический строй более производительный, что он создает лучшие условия для развития общества, то он победит. Но короткая история существования нашего Советского государства говорит не в пользу капитализма». Этот идеологический спор должна с новой

энергией подхватить наша литература. И очеркисты это уже делают. Этот спор должен быть перенесен и на страницы повестей, романов и на сцену театра.

Тема разоблачения капитализма в нашей литературе не нова. Но сегодня она приобрела иную силу убедительности, потому что ее подкрепляют наши успехи в экономике, в технике, в политике. Слов нет, тема трудная, в ней легко сбиться на риторiku. Но справлялись же с ней такие писатели, как Константин Федин, Всеволод Вишневский, Илья Эренбург. В альманахе «Наш современник» я прочитал повесть Евгения Босняцкого «Вся жизнь впереди». Эта интересная повесть, показывающая всю бесчеловечность капиталистической действительности,— еще одно доказательство того, что тема эта под силу нашей литературе.

* * *

Часто возникает вопрос о читаемости художественной литературы, об успехе и неуспехе той или иной книги, вопрос об изучении читателя. Этим важнейшим делом понастоящему не занимается никто: ни издательства, ни книготорг, ни Союз писателей. А заниматься им нужно. И мы будем им заниматься! Ведь очень важно иметь объективное представление о той жизни, которой живут в народе наши книги.

Работу эту нужно поставить понаучному, с привлечением к ней широкой общественности. Нужно будет создать целую сеть бригад, куда привлечет студентов Московского библиотечного института, студентов нашего Литературного института, друзей книги при библиотеках, представителей издательств, книготорга. В нашей писательской организации есть энтузиасты этого дела, каким, например, является А. М. Лейтес, который этим делом фактически уже занимается.

Особого разговора требует жанр киносценария. Этот жанр, как известно, — самый молодой в литературе. У прозы и поэзии — позади тысячелетия, у него же — несколько десятков лет. Поэтому киносценарий все еще, по моему, не обрел достаточной самостоятельности как особый род художественной литературы. Почему-то до сих пор киносценарии, как правило, печатаются только в журнале «Искусство кино». Разве талантливый сценарий не может соперничать на страницах любого толстого журнала с рассказом или повестью! Я недавно прочитал книгу сценариев Габриловича. Все картины, поставленные по ним, я видел. И признаюсь, книгу раскрыл с предубеждением: одно дело, думаю, фильм, другое — сценарий. Но книгу я прочитал от начала до конца с тем же интересом, с каким бы прочитал книгу хороших рассказов. Я не знал сценария «Баллады о солдате», но когда смотрел этот превосходный фильм, я все время чувствовал, что его успех объясняется не только хорошей игрой актеров, режиссерской изобретательностью, но, прежде всего, сценарием, его композицией, живостью языка. Сценарий — главный компонент в художественной картине. Думаю, что не надо быть специалистом, чтобы это понимать. А если это так, то без активного участия писателей дело в кино не поправится. А поправлять его надо, чтобы поменьше появлялось таких картин, как «Не имей сто рублей», «Девушка с гитарой», «К Черному морю», «У тихой пристани» и множество других, которые своей беспомощностью, а иногда и пошлостью порочат наше кино. В прошлом году выпущено 115 фильмов, а многие ли из них оставили след в сердцах кинозрителей? Таких фильмов — единицы. В чем же дело? Я не берусь ответить на этот вопрос. Но думаю, что в этом виноваты отчасти и мы, писатели, мы все еще недооцениваем

того современного жанра, без которого кино не может жить. Виноваты в этом и руководители киностудий и режиссеры, которые до сих пор не сумели наладить с писателями хороших деловых отношений, устранить в этих отношениях то нездоровое, что отталкивает писателей от работы в кино.

Нетрудно заметить, что киноискусство делает решительный поворот к темам современности. В планах киностудий на этот год значатся картины: «Битва в пути» — сценарий Николаевой, «Человек с будущим» (о горняках, о рабочем новаторе) — сценарий Салынского, «Председатель совнархоза» — сценарий Чепурина, «Невиданный сплав» (о бригадах коммунистического труда) — сценарий Первенцева, «Сыр-Дарья» (о строителях ГЭС) — сценарий Помещикова, «Трудный путь» (о рабочих за вода кибернетических машин) — сценарий Розова и многие другие.

В связи с этим мне хочется сказать следующее. Киносценарий жанр молодой. Его еще не коснулась склеротическая затверделость. По природе своей этот жанр новаторский, и в нем не должно быть проторенных дорожек. Поиски сценариста в соединении с поисками режиссера, кинооператора, с талантливой игрой актеров могут творить чудеса. Но, к сожалению, в киноискусстве этих чудес маловато. Во множестве картин, выпущенных за последние два года, утомляющее однообразие, натуралистическая серость, трафарет.

Уже довольно давно я видел фильм «Летят журавли», а у меня и сейчас стоят перед глазами все его кадры. У нас многие восхищаются романом Ремарка «Время жить и время умирать». Я тоже им восхищаюсь. Но вот появился советский фильм «Баллада о солдате». Сюжетно он чем-то напоминает роман Ремарка: там солдат уезжает в отпуск и здесь. Однако эта аналогия не в пользу Ремарка «Баллада о солдате» — человечнее, социально глубже. Значит наше киноискусство может созд

вать подлинные художественные ценности. Ему только часто не хватает дерзания и творческой раскованности.

* * *

Поэзия! Судить о поэзии самых последних лет, о ее шумном потоке, на поверхности которого еще много пены,— задача нелегкая. Мне вспоминаются некоторые годовые отчетные доклады на секции. Сколько упоминалось в них стихотворений, поэм, сборников, которые, по мнению докладчика, являлись достижением поэзии, и сколько всего этого хваленого сравнительно за короткий срок кануло в Лету! Случалось и другое: некоторые произведения недооценивались.

За последние два года вышли сотни стихотворных сборников, большинство из них — новинки. Я не склонен думать, что успехи в поэзии определяются длиной списка вышедших сборников. Но считаю, что критикам следовало бы поинтересоваться этим обширным стихотворным хозяйством.

В этой нелегкой работе, можно не сомневаться, их порадовали бы многие находки.

«Стих дело невеликое, а пиит в человечестве есть нечто редкое», — сказал еще Тредиаковский. Мы знаем, что далеко не каждое время было ошастливлено существованием истинных поэтов. В двадцатые годы прошлого века творил Пушкин, в тридцатые — рядом с ним встал другой великан поэзии — Лермонтов. В двадцатые годы нашего века гремел голос Маяковского, писал неповторимый Есенин. Но было и такое время, когда первым поэтом считался Надсон. Разумеется, во всех этих случаях следует учитывать не только биологические, но и социальные, исторические факторы.

Что же сказать о конце пятидесятих годов? Думаю, что природа не обидела наше время поэтиче-

скими талантами. И сегодня живут и работают среди нас подлинные поэты.

Какие же книги, вышедшие в конце пятидесятих годов, следует отметить как наиболее значительные явления поэзии?

Первое место должна безусловно занять книга Владимира Луговского «Синяя весна», полная романтики и нежности, мужества и дум о нашем времени.

Немногочисленными, но глубокими и взволнованными стихами встретил свое шестидесятилетие Илья Сельвинский.

Примечательна книга поэм Василия Федорова «Белая роща». В них нет четко выраженной индивидуальной интонации, иногда их ослабляют отдельные рыхловатые и вялые места, но при всем том в этих поэмах покоряет лиризм, живопись.

Упомяну книгу Семена Кирсанова «Этот мир» со стихами о Ленинграде, о загранице, с лирическим циклом. Это едва ли не самая лучшая из всех книг поэта.

В новой книге Ярослава Смелякова «Разговор о главном» есть много стихов превосходных. В русской поэзии, пожалуй, нет другого поэта, который бы с такой влюбленностью и взволнованностью писал о труде, о комсомольской рабочей молодежи. Он даже о тракторе пишет с такой нежностью, как о человеке.

...Это шел вдоль людской стены,
оставляя на камне метки,
трактор бедной еще страны,
шумный первенец пятилетки.
В сталинградских цехах одет,
отмечает он день рожденья,
наполняя весь белый свет
торжествующим тарактеньем.
Он распашет наверняка
половину степей планеты,
младший братец броневика,
утвердившего власть Советов.

В сборнике Виктора Бокова «Заструги» лучшие вещи создают удивительную атмосферу душевного здоровья, хотя есть в нем и немало стихов слабых, безвкусных. У Бокова много родственников в поэзии, это — Исаковский, Яшин,

Прокофьев. Но он ищущий поэт и лишь изредка довольствуется тем, что нашли другие.

Немало отличных стихов, радующих неповторимой интонацией, мы находим также в сборнике Михаила Светлова «Горизонт».

Хороши у Евгения Винокурова «Стихи о детстве», «Вагон в 1918 году» и многое другое в его последней книге «Признанья».

Хочется рассказать вам и о случае необычном в издательской практике. Не все, вероятно, знают о поэте Петре Семышине. В отличие от стихотворцев, энергично штурмующих редакции, Семышин долгие годы писал и оттачивал свои произведения. И только в прошлом году, и то по настоянию редактора издательства «Советский писатель» поэта Субботина, он собрал книгу стихов «Земная колыбель» — первую за свои пятьдесят лет. Эта маленькая книжка — в ней всего шестьдесят страничек — немалый вклад в нашу поэзию. Особо хочется отметить в ней такие густо и свежо написанные вещи, как «Большой конь», «Петух», «Гроза» и поэма «Начало дня». Прочитайте! Не пожалейте!

Я мог бы продолжить перечень имен. Передо мной лежит большая горка поэтических сборников, и почти в каждом из них я нашел стихи достойные, чтобы их отметить.

Серьезного внимания заслуживает сложная и значительная поэма Михаила Луконина «Признание в любви».

Поэма Сергея Смирнова «Русская красавица», мне кажется, написана не в полную силу его таланта. При всех отдельных удачах она получилась слишком облегченной. Не знаю, может, Сергей Васильевич обидится на меня, может, лучше было бы отозваться о поэме более уклончиво. Но на этот счет хорошо сказано в стихотворении молодого поэта Тёмина:

Правду говорить не обязательно,
Даже проще жить
Иносказательно:
Нет нужды особенной

Всегда
Заявлять решительное «да»...
Но тогда
Не жди и ты в ответ
Честных «да»
И откровенных «нет»...

В последнее время много говорят и пишут о Евгении Евтушенко. Приходится только удивляться тому, с какой неумной настойчивостью создается нездоровая реклама поэту. В газетных заметках и даже фельетонах критикуются и высмеиваются некоторые его последние стихи, в которых есть пошловатость и рисовка. Но надо ли о них столько шуметь? Я вовсе не собираюсь брать под защиту справедливо раскритикованную тенденцию в этих стихах, но хочу сказать, что критиковать поэта нужно по-хозяйски, чтобы помочь ему, чтобы правильно его ориентировать. Мне, например, кажется, что Евтушенко наиболее интересен в стихах на общественные темы. Я думаю, со мной согласятся многие, кто читал Евтушенко, что лучшие его стихи — это: «Рабочая кость», «Партизанские могилы», «В бою за Советскую власть», «После праздника», «Утренние стихи», «Смерть старого бакенщика», «Бабушка» и другие вещи этого плана. Я не во всем согласен со статьей тов. Барласа в «Литературной газете». Но это, кажется, первая дельная статья о Евтушенко, которая по-серьезному предупреждает, что талант можно легко загубить, если поэт не поймет своего главного назначения в жизни и в литературе.

Хочется, хотя бы коротко, остановиться на некоторых общих вопросах поэзии.

Хорошо, что поэты много ездят по стране. Мы должны знать свою Родину. Хорошо, что кое-кто побывал за границей. Но за вдохновением не обязательно лететь на «ТУ», можно иногда поехать и на трамвае. Говоря по совести, разве многие из нас бывали на московских фабриках и заводах, в научно-исследовательских институтах? Разве воспели мы завод имени Ильича, завод «Серп и молот», за-

вод имени Лихачева с их гигантскими цехами, с первоклассными машинами, где трудятся чудесные люди, цвет нашего общества? Некоторые поэты, я уверен, даже не знают, где эти заводы находятся. А если бы кто-нибудь выступил сейчас с талантливой книгой стихов о людях фабрично-заводского труда. Как свежо и ново она прозвучала бы сегодня!

Не раз последнее время подымался вопрос о новаторстве в поэзии. Эта проблема остро стоит сегодня перед всеми видами искусства, да и не только перед искусством. Мы почти ежедневно встречаем в газетах слова: «новатор производства», «новаторский труд» и т. п. Однако некоторые товарищи, особенно кое-кто из маститых художников, истолковывают новаторство односторонне, только как насыщение произведения новым содержанием. Но разве новатор на производстве не меняет со всей смелостью технологические процессы, приемы в работе? Конечно же меняет. Без этого он не стал бы новатором. Классическое наследство для нас дорого и свято, но можно ли к его изобразительным средствам, к форме его произведений относиться как к чему-то заданному для нас навсегда? Конечно же нет. Это противоречило бы природе творчества. Каждый по-настоящему талантливый советский поэт вместе с новым социалистическим содержанием непременно вносит в поэзию только ему присущую интонацию, образность, ритмику. Разве не обогатил арсенал изобразительных средств советской поэзии Луговской, особенно последними стихами? Кое-кто склонен считать Твардовского поэтом насквозь традиционным и чуждым новаторству. Но это не верно. Он далеко ушел вперед от своих учителей, обогащая стих необыкновенной пластичностью языка, интонационными и ритмическими поисками. Художник Александр Герасимов упорно старается надеть на него шинель с плеча кого-нибудь из классиков, но Твардовский всю

Отечественную войну вместе со своим Теркиным прошел в шинели советского покроя и, думаю, чувствовал в ней себя куда естественнее.

Новаторство в нашем понимании — это жадная пытливость ко всему новому, что происходит в жизни, неутомимые поиски в области формы, это поиски новых граней социалистического реализма.

В нашей сегодняшней поэзии много шаблона, середнятины, гладкописи, и это угрожает поэзии инфляцией. Больше поисков, больше дерзаний! Это диктует наше время!

У Бориса Слуцкого напечатано стихотворение, в котором есть такие уже зацитированные строчки: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...» Смысл этого стихотворения, как я его понимаю, состоит в том, что популярность науки с ее спутниками, с расщепленным атомом, кибернетикой и т. п. затмила популярность сегодняшней поэзии. Некоторые поэты за лирику сильно обиделись. Но тут не обижаться надо, а кое над чем подумать.

Властное вторжение науки в жизнь сильно раздвинуло в сознании нашего народа представление о мире, о космосе, ощутило приблизило к нам далекие миры, и многое мы начинаем видеть в ином преломлении. Создается иное понятие о скоростях, о расстояниях. Человек, поднявшийся с аэродрома на обыкновенном «ТУ», видит небо не таким, каким он видит его с земли; после того, как наша ракета обогнула Луну и сфотографировала ее невидимую сторону, после того, как прилетел на нее наш Лунник, она стала для нас почти на ощупь знакома.

Решающее значение в творчестве, как известно, имеет талант. Но талант в соединении с широтой кругозора, с тонкостью и глубиной мышления, в соединении с большими познаниями засверкает новыми гранями.

Уже давно следовало бы решительно пересмотреть учебные программы нашего Литературного ин-

ститута и Высших литературных курсов. Мало поэту знать, к примеру, как называется тот или иной стихотворный размер. Он должен иметь хотя бы общее представление о последних достижениях в технике, в современных науках.

Интересно сказано об этом в статье Павла Антокольского «Поэзия и физика». «Если он (т. е. поэт. С. Ц.) еще не провел бессонных ночных часов, пытаюсь (хотя бы пытаюсь, большего не спросишь с него) проникнуть в тайны материи, разгаданные физиками двадцатого века, — значит, он предпочитает плестись в обозе армии, покоряющей природу. Если электронная машина кажется ему громоздким шкафом, в котором неизвестно зачем моргают зеленые вспышки, — значит, он не узнал в лицо покоренного врага и будущего верного друга.

Наше дело и наша обязанность вести читателя за собой в этот еще таинственный для нас самих мир новой гармонии и новой красоты».

Буржуазные поэты опасаются: не убьет ли поэзию бурное развитие техники и науки? Но они не там усматривают опасность. Не развитие техники само по себе, а сама природа современного буржуазного общества гибельна для поэзии. В условиях социалистического общества развитие техники и точных наук не только не убивает поэзию, но, напротив, утончает и углубляет ее. И это происходит потому, что нашу науку и технику движут те же высокие гуманистические идеалы, которые движут и нашу поэзию! «Ветка сирени будет нужна человеку и в космосе», — писала одна девушка в «Комсомольскую правду». Будем надеяться, что и томики наших поэтов будут так же необходимы в межзвездных мирах.

* * *

В Московской организации работает много талантливых и широко известных литературоведов. За последние два года появилось око-

ло тридцати литературоведческих книг. Многие в классическом наследстве они показывают в новых аспектах, обогащая литературоведческую науку находками. Среди этих книг четыре работы о Пушкине, три — о Гоголе и т. д. Эти успехи радостно отметить. Однако в работе критиков и литературоведов — откровенно скажу — меня больше радует другое — наметившийся поворот к современным темам. Известно, что и на произведениях прошлого можно ставить проблемы современности. Но вряд ли на этом можно успокоиться. В современной литературе, порожденной необычайной действительностью нашего века, много специфического, требующего, чтобы ею занимались специально. И творческие усилия критиков и литературоведов в этом направлении нельзя не приветствовать.

Вышли два тома Истории советской литературы, порадовавшие нас высоким уровнем многих работ. Это большой и серьезный вклад критиков и литературоведов в тему современности. Немаловажное значение имеет также выход коллективного сборника — «За высокую идейность в литературе».

Хочется отметить и некоторые отдельные работы: Озерова «Образ коммуниста в советской литературе», Фролова «Жанры советской драматургии», Фрадкина «Литература новой Германии». Представляют интерес и некоторые монографии о советских писателях. Из журнальных статей назову статью Лебедева «О художественности критики» (заметки об Анатолии Васильевиче Луначарском). Я прочитал эту статью с чувством благодарности к автору за то, что он нашел настоящие слова об этом блистательном критике и литературоведе, не переиздававшемся почти двадцать лет.

Я перечислил не все работы, имеющие прямое отношение к темам советской литературы, к темам современности, — их больше. Однако они все еще занимают весьма скромное место в критике.

И мне кажется, что руководство секций критики и литературоведения должно помочь некоторым товарищам переключиться на современные проблемы. Я понимаю, что заниматься действенной, оперативной критикой нелегко. Но что в литературе — легко, если судить о ней требовательно? Есть же у нас критики, которые упорно продолжают заниматься современной литературой, иногда получают чувствительные тумачи, но не отступают от своего дела. Без многочисленных критических статей, без книг о современной литературе — и советской и зарубежной — критике вперед не продвинуться. Об этом следовало бы, кстати, подумать и редакторам журналов и литературных газет.

Все мы знаем: ряды критиков, занимающихся современной литературой, сильно ослабило то обстоятельство, что некоторые талантливые и острые люди прочно перекочевали в литературоведение. Оживлению критики не мало мешает и другое — прочно установившаяся предвзятость к некоторым работникам этого жанра. Несколько лет тому назад сильно был по-критикован Владимир Огнев. Эта критика помогла ему многое продумать, во многом разобраться. Но получается нечто странное. Редакции журналов и газет принимают его статьи, выплачивают часть гонорара, но... не печатают. У меня имеется письмо от товарища Огнева, в котором перечисление статей, залежавшихся в редакционных папках, занимает целую страницу. Мне кажется, тут что-то неладно. Либо статьи нужно аргументированно отвергать, либо... если они приняты, — печатать. Мы же не заинтересованы в том, чтобы еще один критик забросил современные темы и удалился в девятнадцатый век.

Надо полагать, что перед литературоведами, разрабатывающими вопросы классического наследия, стоят свои немалые важные задачи. Но еще более важные задачи

стоят перед критиками, занятыми современными темами. Тут действительно непочатый край работы. Если подойти к современной литературе без предвзятости, без групповых симпатий и антипатий, она раскроет перед критиком такое богатство, о котором он порой и не догадывается.

Повторяю, без серьезных критических работ на современные темы, без многочисленных статей и рецензий большая литература обходиться не может. Ежегодно выходят тысячи книг. Они ждут обстоятельных обзорных статей, рецензий, наконец хотя бы аннотаций. Мне кажется, что это хозяйство у нас сильно запущено. По-моему, нам необходим журнал — он перед войной существовал — «Литературное обозрение». Нужно, чтобы в журнале «Вопросы литературы», кроме теоретических и проблемных статей, печатались многочисленные рецензии. Нужно, чтобы толстые журналы и литературные газеты потеснили другие отделы для этого необходимейшего жанра, чтобы наш «Московский литератор» шире, в любой форме информировал своих читателей о вышедших книгах. Нужно добиться того, чтобы ни одна книга не оставалась без отзыва.

В конце разговора о критике мне хотелось бы коснуться еще такого вопроса. Некоторые критические статьи неохотно читают потому, что они написаны сухо, формулировочно. Многими критиками, по-моему, забыты традиции Луначарского, который умел строгий жанр критики поднимать на высоту подлинной художественности. Приведу один пример. Я видел и слышал Маяковского, люблю и знаю его стихи, много читал работ о Маяковском и все же был больше всего взволнован образом великого поэта, созданным Луначарским в нескольких строчках. Разрешите их привести: «Сердечность иногда очень хорошо прокрадывалась в чугунное литье колокола Маяковского, в который он потом бил свое

торжество. Это хорошо, когда льют колокол и немножко добавляют мягкого металла».

Перед критиками и литературоведами стоят большие задачи. Читатель ждет от них умного и оригинального толкования произведений и, в первую очередь,— современных, советских; читатель ждет от них чуткости и партийной принципиальности в оценке этих произведений.

* * *

В Московской писательской организации создана сейчас атмосфера

доброжелательности и объективности. Разумеется, это не означает, что наступила пора всеобщих лобызаний. В литературе были и должны быть всегда споры по творческим вопросам. Важно только, чтобы эти споры были принципиальными, чтобы они не были проявлением групповщины и неприязни.

У нашей литературы светлые перспективы. Эти перспективы открывают ей великие деяния нашего народа, нашей мудрой Коммунистической партии, эти перспективы открывают ей высокие гуманистические идеалы нашего общества.



И. Мотышов

В ПУТИ...

«Я жил в пути и пел о нем», — эти слова можно смело поставить эпиграфом ко всему написанному Александром Твардовским. Его первая поэма называлась «Путь к социализму». Мотив пути, дороги, движения звучал в каждом создании поэта, выражая главнейший закон нашей советской действительности.

Название последней, недавно законченной поэмы А. Твардовского — «За далью — даль» — также недвусмысленно указывает, что именно мысль о движении объединяет разрозненные главы «дорожной тетради», дает высший смысл наблюдениям, раздумьям и чувствам автора.

«Почти полмира, через огромные края» прошел дальневосточный экспресс. Жизнь ни на миг не задерживалась на месте. «Мир огромный за стеною, как за бортом вода, ревет». И неукротимый ход всеобъемлющих «перемен бесповоротных» захватывает человека, словно поток — песчинку. «Мои герои все в дороге», — говорит поэт. В дороге и он сам: «Я с юных лет иду и еду и столько лет уже в пути».

Чувство победного движения-подъема налагает печать на всю образную ткань поэмы. Железнодорожное полотно трассы Москва — Владивосток представляется А. Твардовскому «лестницей из шпал». А само движение на восток, осмысленное как путь в коммунистическое завтра, — восхождением: «Минула памятная вежа, оставлен сзади перевал».

Стремительность движения захватывает дух. Перед путником открываются все новые горизонты, и, по сути, движение нет конца. Не успеет отойти в прошлое одна даль, как вслед ей открывается другая, а там — третья, и с каждой новой пройденной далью все ярче сияет «свет иной, желанной дали» — коммунизма.

За годом — год. За векой — века.
За полосой — полоса.
Нелегко путь. Но ветер века —
Он в наши дует паруса.

Необычайный рост мощи социалистического человека, покорение им природы, рождение небывалой доселе подлинной человечности, трудности и противоречия роста, ни с чем не сравнимая радость побед и гордое сознание собственной причастности к поступательному ходу истории — таково идейно-тематическое наполнение этой поэмы, которую можно было бы назвать песней торжествующего коммунизма.

Высшее счастье видит поэт в том, чтобы ощущать себя в общем движении, не отделяя себя от страны, от народа:

Спасибо, Родина, за счастье
С тобою быть в пути твоём.
За новым трудным перевалом —
Вздохнуть
С тобою заодно.
И дальше в путь —
Большим или малым,
Ах, самым малым —
Все равно:
Она моя — твоя победа,
Она моя — твоя печаль...

* * *

С годами характер поэм Твардовского меняется. В них ослабевает «событийное» начало и соответственно усиливается начало лирическое и философское.

В «Стране Муравии» сюжет играл огромную роль. В «Василии Теркине» и «Доме у дороги» он уже не только ослаблен обильными лирическими вмешательствами поэта, — лишенный условности, он определяется естественным ходом событий Великой Отечественной войны. Сюжетно-композиционное строение поэмы «За далью — даль» мало связано даже последовательностью впечатлений путешествующего автора-рассказчика. Оно подчинено внутренней логике чувства и мысли поэта, глубинные истоки которой лежат, конечно, не в маршруте авторских поездок, а в многообразии изменений всей действительности, в непрерывно возвра-

стающей степени постижения ее художником.

Кажется, поэт меньше всего думает об «архитектуре» своего детища («ни завязки, ни развязки — ни поначалу, ни потом»), меньше всего озабочен тем, чтобы завлечь читателя интригующим развитием событий, столкновением характеров. Просто:

Что горько мне, что тяжело было
И что внушало прибыль сил,
С чем жизнь справляться торопила,—
Я все сюда и заносил.

Чтобы такое произведение было интересным, оно должно захватывать правдивостью характера лирического героя, глубиной отражения жизни, мастерством словесной живописи.

Лишенная аксессуаров внешней «заинтересованности», поэма А. Твардовского представляет страстный, прямой, предельно открытый разговор с читателем-другом. С таким читателем просто невозможно быть неискренним, лукавить, кривить душой. В нем, в этом читателе, постоянно живет

Желанье той счастливой встречи
С тобой иль с кем-нибудь иным,
Где жар живой, правдивой речи,
А не вранья холодный дым.

Ради любви и доверия этого читателя поэт «готов трудиться... и денно и ночью — душу сжечь готов». В службе этому читателю сознает он свой долг и доблесть, главнейшую цель своего «святого ремесла».

Для подобной дружеской беседы наиболее подходящ «беспротокольный склад речей». И, как это бывает обычно в непринужденном разговоре, рассказ о поездке не раз прерывается прямыми обращениями к читателям, к живым и мертвым друзьям поэта. Столь же непринужденно вплетаются в разговор воспоминания о прошлом и думы о грядущем, размышления о войне и мире, о счастье и долге, о труде и смысле человеческого существования на земле. Ведется разговор в предельно задушевном и доверительном тоне, что сообщает сказанному особую убедительность и достоверность. Так что даже видимые противоречия поэмы воспринимаются как противоречия самой действительности, отразившиеся во впечатлительной душе художника.

* * *

Две даты стоят под поэмой: 1949 и 1960.

Столько пережито за эти одиннадцать лет, столько пройдено, столько совершено! Изменилась к лучшему жизнь в стране, изменились к лучшему люди. «Народ добрее, с самим собою мягче стал».

Сейчас, когда перед нами весь текст поэмы и когда автор, «чтоб вдалеку глядеть наверняка», с высоты достижений настоящего окинул критическим взглядом не-

давнее прошлое, по-иному зазвучали прежде не совсем ясные, словно бы случайно оброненные фразы. На то, что вначале вызывало недоумение, споры и сомнительные догадки, падает ясный свет завершающих глав. И в этом свете является нам художник большой душевной чистоты, гражданской честности, высокой и принципиальной партийности, проникновенного гуманизма — настоящий орган души народной, чутко откликающийся на боль и радость ее.

В свое время, дописывая под гром победного салюта «Василия Теркина», Твардовский пообещал:

Песня новая нужна
Дайте срок, придет она.

Но сроки шли, а песня не приходила.

Пропал запал. По всем приметам
Твой горький день вступаю в права.
Все — звоном, запахом и цветом —
Нехороши тебе слова.
Недостоверны мысли, чувства,
Ты смотришь в них — не те, не те...
И все вокруг мертво и пусто,
И тошно в этой пустоте.

Лет пять назад, размышляя над смыслом этих отчаянных строк, покойный А. Тарасенков правильно говорил, что для преодоления духовного кризиса поэту «необходимы ясность философской перспективы, неколебимая уверенность в своей собственной правоте... полное идейное здоровье». Теперь мы знаем, что породило «горький день» поэта.

Первое послевоенное десятилетие. Рапорты об очередных победах в городе и деревне — и тут же...

Не в дальних даялах, — наш Смоленский...
Послевоенный вдовий край.

Живет в том краю знакомая поэту «тетка Дарья»

С ее терпеньем безнадежным,
С ее избой без сеней,
И трудоднем пустопорожним.
И трудночью — не полней;
С ее дурным озным клином
На этих сотках под окном;
И на печи ее овином
И среди избы гумном...

Живет, как молчаливая и больная совесть поэта. Теперь особенно ясно, почему, вспоминая родную Смоленщину в ее дореволюционном прошлом, поэт искал сближения с современностью на сегодняшнем Урале. Нетрудно видеть, к какой чудовищной неправде о нашей действительности привело бы обобщение, вытекавшее из самого «правдивого» сопоставления смоленской деревни 10-х и 40-х годов.

В главе «Две кузницы» говорится о «небогатой, малолюдной, негромкой нашей стороне, где меж болот, кустов и леса терялись бойкие пути...» А в главе «Так это было» — картина не только та же, но еще более печальная: «Где занесло следы поземкой и в селах душам куций счет, а мать-кормилица с котомкой в Москву за песнями бредет». Конечно, мы и тогда понимали, что недостатки

руководства сельским хозяйством не везде имели столь тяжелые последствия, что в лесном и болотистом Смоленском крае с его скудными суглинками и суровым климатом они сказывались особенно чувствительно. Но разве поэт виноват, что это был его родной край — самый дорогой, самый близкий? Охваченному противоречивыми чувствами, ему хотелось крикнуть:

— Постой,
Повремени, крутое время
Дай осмотреться, что к чему.
Дай мне в пути поспеть со всеми...

Только остановишь ли время? Оно шло стремительно, властно звало за собой, требовало от поэта слова о себе.

Изведав горькую тревогу,
В беде уверившись вполне,
Я в эту бросился дорогу.
Я знал, она поможет мне.

И — помогла. Бесчисленные встречи с людьми, взгляд как бы с высоты птичьего полета на огромные их дела, без шума и похвалы совершаемые в огромной стране, определили и ясность философской перспективы и глубокое идейное здоровье, в высокой степени присущие этой поэме, когда воспринимаешь ее как целое. С облегченным сердцем поэт «к концу дороги» сказать:

Сто раз тебе мое спасибо,
Судьба, что изо всех дорог
Мне подсказала верный выбор
Дороги этой на восток
И Транссибирской магистралью
Кратчайшим, может быть, путем,
Связала с нашей главной далью
Мой трудный день и легкий дом.

Приглашая читателя пройти вместе с ним по пути его исканий, поэт предупреждает:

Порой забытыми задами,
Не главной улицей с тобой
Пройдем...

Что ж! Можно пройти и задами, если не терять жизненной перспективы, если верить при этом, что «наши дали нас не оставят за собой». В свете бесстрашной откровенности поэта, смело сказавшего о преодолении народом и им самим выпавших на их долю испытаний, дали коммунизма сияют еще ярче, а победы людей над природой и над косным, мелким, эгоистическим в самих себе выглядят еще более значительными.

Перед нами исповедь сына века, который «счастлив жить, служить Отчизне», который «за нее ходил на бой», — человека, чья биография в основных чертах мало отличается от биографий миллионов советских патриотов, сердцем преданных коммунизму, его светлым, гуманным идеалам. А это значит, что в ясной уверенности поэта каждый из них обретает свою уверенность, в его оптимизме черпает свой оптимизм. И кроме того, разве сами искания поэта не поучительны для нашей молодежи, еще не имеющей биографии и только намечающей свой жиз-

ненный путь? Ведь это к ней обращает поэт рожденные собственным опытом слова доброго напутствия:

Но вы глядите, молодые,
Не прогадайте невзначай
Свой край, далекий или близкий,
Свое призванье, свой успех —
Из-за московской ли прописки
Или иных каких помех.

* * *

Насколько же сильно надо влюбиться в жизнь и в человека, чтобы о случайном попутчике, минутном участнике ни к чему не обязывающего дорожного разговора, сказать, как говорят только о людях, по-настоящему дорогих и близких:

Вот встал и вышел из вагона
И жизни часть твоей унес...

Эту любовь, пронзительную и тревожную, властно требующую внимания к душе каждого, несет в себе большое и чуткое сердце Александра Твардовского. И когда мы читаем:

С людьми в дороге надо сжиться,
Чтоб стали, как свои, тебе
Впервые встреченные лица
Твоих соседей по купе,—

мы понимаем: поэт говорит здесь о наших попутчиках по дороге жизни, о том отношении к человеку, которое должно стать законом нового коммунистического общежития и ростки которого поэт наблюдал на Ангаре, когда во время решительной схватки со стихией «был любой шофер шоферу как будто кровный брат и друг».

Вот почему, мысля широкими масштабами, создавая монументальный образ создающего и борющегося народа, Твардовский не утрачивает внимания и интереса к отдельной судьбе, к одному человеку — хоть маленькому, хоть великому.

Пусть не столь типичны в общем потоке народной жизни судьбы смоленской тетки Дарьи или друга детства поэта. «И дружбы долг, и честь, и совесть» повелевают художнику сказать о них: ведь речь идет о судьбах людей, а что может быть дороже! «Любой из тысяч этих судьб и так и так обязан я», — не стыдится признать поэт. И подобное признание мог бы сделать каждый из нас. И каждый из нас почел бы за великую честь иметь право сказать о себе, о своем друге, как сказал Твардовский:

...Не кичась судьбой иною,
Я постигал его удел.
Я с другом был за той стеною
И ведал все. И хлеб тот ел...
Я знал, вседневно и всечасно,
Его любовь была верна.

О «святом и грешном русском чуде-человеке» А. Твардовский с восхищением писал в «Василии Теркине». В стихотворении «Разговор с Падуном» он говорил о людях своей Родины, не закрывая глаз на их человеческие слабости: «Я до боли их, чертей, какие есть, люблю». «И той

любви надежной мерой мне мерить жизнь и смерть до дна», — сказал он в последней поэме. Только с позиций такой любви оказалось возможным дать в поэзии исторически верную картину «правоты и неправоты» И. В. Сталина.

Не снимая с него, с его личных человеческих качеств вины за судьбы тетки Дарьи и друга детства («В час лихой, закон презрев, он мог на целые народы обрушить свой верховный гнев... А что подчас такие бури судьбе одной могли послать, во всей доподлинной натуре — тебе об этом лучше знать...»), поэт, в полном согласии с жизненной правдой, прямо связывает достижения нашего дня, и в частности нынешний бурный размах строительства в Сибири, с волей и разумом человека, многие годы направлявшего развитие страны:

Не та ли сила думы дальней
Нам указала в давний срок
Страны форпост индустриальный
Бесстрашно двинуть на восток,—
Не за чужим стоять припасом,
Свою в виду имея даль...
И прогмела грозным гласом
В годину битвы наша сталь.
И мы бы даром только стали
Мир уверять в иные дни,
Что имя Сталин —
Этой стали
И этой дали не сродня,

* * *

О стихе, о языке поэмы А. Твардовского будут писать особо. Но что хочется отметить сразу — это почти непостижимое умение поэта сочетать традиционно-классические размеры, простые и ясные поэтические образы с резко современным звучанием стиха.

А как современны эпитеты Твардовского, в мастерстве применения которых он среди живущих поэтов, пожалуй, не знает себе равных! Они то протокольно точны («Я вышел в людный шум перронный, в минутный вторгнулся поток»), то исполнены шутиливой иронии («в числе почетных ротозеев в тот день маячил на посту»), то, наконец, щедро живописны («сухой пурги дремотным дымом костлявый лес заволокло»). И всегда при этом — единственно возможно, естественны, приходятся точно в пору.

«Критика в свое время упрекала поэта за некоторую замкнутость его в кругу определенных образов и интересов одной определенной среды. Теперь, разрушая представление о себе, как о певце преимущественно крестьянства, он двинулся вдале, сердечно постигая всю обширность Родины во времени и пространстве», — радостно отмечала четыре года назад З. Кедрина в «Литературной газете».

Строго говоря, «представление о себе, как о певце... крестьянства», А. Твардовский начал «разрушать» значительно раньше — еще в 1940 году, когда обратился к армейской тематике. Если же иметь в виду «некоторую замкнутость его в кругу

определенных образов и интересов одной определенной среды»; то вопрос оказывается вовсе не прост.

Дело в том, что у А. Твардовского, как и у всякого подлинного большого художника, есть «своя суженая»: сохраняющийся на всю жизнь запас тем, идей, симпатий, образов. С годами они разрастаются вширь, углубляются, но качества своего не теряют. Более того, включение в круг интересов поэта новой темы происходит лишь в тесной связи с его творческой индивидуальностью. Новая тема как бы ассимилируется старыми.

Запас тем, идей, образов, симпатий не произволен. Художник не выбирает его по собственному усмотрению, как выбирают костюм в магазине. Он накапливается под влиянием обстоятельств детства и юности художника, он складывается под воздействием факторов, которые определяют становление личности поэта, его понятий о жизни.

А. Твардовский родился и вырос, формировался как человек и поэт в русской смоленской деревне. Первые стихи, первые большие поэмы его были посвящены деревне.

Здесь не место подробно на этом останавливаться, но нельзя не отметить, что и овладение Твардовским в 40-х годах военной темой шло, если можно так выразиться, «по крестьянским рельсам». Вынашивая еще перед началом Великой Отечественной войны замысел «Теркина», поэт записывал в дневнике: «Я чувствую, что армия для меня будет такой же дорожной темой, как и тема переустройства жизни в деревне, ее люди мне так же дороги, как и люди колхозной деревни, да потом ведь это же в большинстве те же люди». И действительно, герои «Василия Теркина» и «Дома у дороги» — это крестьяне, близкие и понятные поэту в их исконной тяге к «земле-земельке», к преобразующему, созидательному труду на ней. Действие обеих поэм также развертывается почти исключительно в сельской местности.

В книге «За далью — даль» Твардовский поднимает новые для него жизненные пласты. Он видит промышленный Урал, огни гигантских новостроек Сибири, становится свидетелем штурма Ангары. Но говорит он об увиденном как поэт-крестьянин, включая новый опыт в прежний и приближая тем самым новое и непривычное к собственной душе, собственному миропониманию.

Своего рода «обнажение приема» наблюдаем мы в главе «Две кузницы». Раздумья об Урале поэт начинает описанием деревенской кузницы, возле которой протекли его мальчишеские годы:

Я помню нашей наковальни
В лесной тиши сиротский звон...

Поэтичное описание это естественно и непринужденно переходит в своеобразный гимн труду, радость и значение которого поэт познал еще «ребенком малым».

Тема, образы, лексика этих стихов («падут ниву», «корчуют лес», «рубят дом», «кочедышка», «лапоть сплести» и т. п.) — чисто крестьянские. Но вот поэту «дался случай... кувалду главную Урала в работе видеть боевой». Изменился ли строй его речи, характер видения мира? Нисколько.

И пусть тем грохотом вселенским
Своей кувалды деревенской
Я был вначале оглушен,
Я в нем родной расслышал звон.
Я запах, издавна знакомый,
Огня с окалиной вдыхал,
Я был в той кузнице, как дома,
Хоть знал, что это был Урал.

В «крестьянстве» Твардовского, в данном случае даже полемически подчеркнутым самим автором, нет, конечно, ничего предосудительного. Напротив. Думается, путь освоения новых тем, которым идет А. Твардовский, по-настоящему плодотворен. Ибо, только приближая новое к своей душе, осознавая его через нечто «издавна знакомое», «родное», А. Твардовский может сделать это новое своим, сродниться с ним, написать о нем, что называется, сердцем и притом по-своему. Сравнив Урал с жалкой деревенской кузницей и поняв его через это сравнение как исполинскую кузницу исполинской страны («Урал! Опорный край державы, ее добытчик и кузнец...»), А. Твардовский дает новое наполнение привычному образу и, по существу, рождает новый образ. Именно рождает, а не придумывает. Через тот же образ кузницы поэт приближает к себе и к читателю и промышленную, «звездную» Сибирь, огни которой

Дробятся в дебрях потрясенных,
Смыкая зарева бессонных
Таежных кузниц меж собой.

Поэт не только вспоминает «отчий край Смоленский», свое детство, кузнеца-отца, тетку Дарью с ее многотрудной судьбой русской крестьянки. Не только себя, своих героев, даже — за редким исключением — читателей причисляет к потомкам крестьян («Мы все — почти что поголовно — оттуда люди, от земли...»). Он и о рабочих-строителях нередко пишет, словно о колхозниках: «Как на

лугу, спешили люди с последней справиться копной».

Опыт военных лет, работа над армейской темой также не могли не сказаться в своеобразии поэтического зрения Твардовского.

Он пишет о «городах, вчера рожденных, как будто взятых на войне». В его представлении поэт, охваченный творческим вдохновением, «занимает города». И о перекрытии Ангары он говорит: «Не остывая, длился бой», словами «фланг», «тыл», «рубевж» и т. д. развертывая эту метафору в целое батальное полотно. Вот один из эпизодов битвы:

Двадцатитонные «минчане»
Качнув бортами, как плечами.
С исходной с грузом — на врага
И ни мгновенья передышки —
За самосвалом — самосвал,
Чтоб в точку.
В душу!
Наповал!

Это и есть стиль поэта, проистекающий из глубин его души, из всего склада его личности. Это свой взгляд на мир и свое к миру отношение, без чего нет и не может быть настоящего художника.

* * *

«За далью — даль» — сложная вещь. В ней много серьезнейших раздумий, в ней отразились самые противоречивые чувства. И в ней сравнительно мало эпизодов, которые носили бы характер сцен, картин и протекали без активного вмешательства автора. Все это препятствовало А. Твардовскому достигнуть в поэме тех вершин поистине классической простоты, какие мы видим в «Василии Теркине». Но такова особенность избранного поэтом жанра. Новые громадные приобретения обусловили и некоторые потери.

Что ж! Это говорит лишь о том, что читателям «Василия Теркина», берущим в руки последнее создание Александра Твардовского, надо вслед за автором подняться еще на одну ступеньку. Тем более что поэт уже готовится к новому свиданию с читателями. А он, как мы знаем, не любит повторять себя. Он — в пути...

Заметки на полях

М. Синельников

НА ПОЧВЕ ОХОТЫ

Охота пуще неволи... О чем эта поговорка?

«Как о чем, — сказали бы в редакции журнала «Охота и охотничье хозяйство». — Конечно же — об охотниках!»

Странный ответ, не правда ли? Но погодите немного, товарищи читатели. Вы увидите, что поговорка эта действительно имеет непосредственное отношение к охотникам — к тем, что из редакции названного журнала.

Откройте 3-й номер «Охоты и охотничьего хозяйства» за этот год и прочтите статейку Г. Букина «Чехов-охотник». Прочтите полностью, тщательно впитывая полновесные красоты смысла и стиля. А чтобы заинтересовать вас, мы позволим привести только две цитаты из этой статьи.

Первая: «Большой интерес представляет мнение Чехова о Шекспире как охотнике. В его пьесе «Как вам будет угодно» в Арденнском лесу охотники ранят оленя, но автор не остается равнодушным к страданиям животного. «Из этой сцены видно, — пишет Чехов, — какого плохого мнения он (Шекспир. — *Ред.*) был об охоте и вообще об убийстве животных».

Как видно, Г. Букин очень серьезный человек. Такой сомнительной вещи, как ирония, он не принимает. А в похвальном стремлении учесть «все» написанное Чеховым «об охоте» он готов поступиться даже Шекспиром — благо, юбилея великого драматурга в ближайшем будущем не предвидится (тема «Шекспир-охотник» ждет еще, очевидно, своего исследователя).

Вторая цитата: «Чехов много своих произведений посвятил исключительно охоте и собакам. Вот некоторые из них: «Драма на охоте», «Петров день», «На охоте», «Дама с собачкой», «Хамелеон», «Медведь», «Каштанка»...»

Эту цитату комментировать, естественно, нечего. Можно лишь в порядке дружеской критики посоветовать Г. Бу-

кину еще углубленнее, чем до сих пор, изучать творчество Чехова: ведь в его списке самым обидным образом пропущен такой, например, несомненно посвященный охоте рассказ, как «Разговор человека с собакой».

Вообще надо сказать, что люди, читающие журнал «Охота и охотничье хозяйство», привыкли узнавать много интересного из материалов, посвященных писательским юбилеям. В 1958 году, например, когда журнал (в № 1) отмечал 80-летие со дня смерти Некрасова, автор юбилейной статьи В. Холостов сумел свежими глазами взглянуть на известное произведение «Псовая охота» и прийти к выводу, что, хотя поэт и показывает рознь, возникавшую «на почве псовой охоты» между крестьянами и помещиками, — все это стихотворение есть не что иное, как призыв к «общению с природой». С искренним восторгом цитируя некрасовские строки: «Нет нам запрета по чистому полю тешить степную и буйную волю», В. Холостов, как и Г. Букин, показал завидную устойчивость к иронии. Он сделал также еще ряд блистательных открытий, приведших, в сущности, к признанию того, что Некрасов, безусловно являясь величайшим народным поэтом, в то же время «вполне свободно» «преддавался только страсти к охоте да к своей черной легавой «Кадошке», которую любил, как человека». Досадно было лишь, что исследователь (видимо, из скромности) пошел по пути самоограничений, отведя под открытия только половину своей статьи и разместив на другой половине абзацы, взятые им из «Энциклопедического словаря».

То, о чем мы хотим сказать в этих заметках на полях двух юбилейных статей, в сущности, очень просто. Кому не приятно сознавать, что великий человек, хоть боком, да прошел по твоему ведомству! Но боком — это ведь мало. И такая возникает иногда охота затянуть его в это ведомство поплотнее, покрепче! Воистину — пуще неволи...

ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ

Состоявшееся в июне этого года Всесоюзное совещание по градостроительству показало, в каких гигантских масштабах развернулось в нашей стране строительство новых и реконструкция старых городов. Советский Союз занял первое место в мире по количеству строящихся квартир на каждую тысячу жителей.

Участники совещания — архитекторы, проектировщики, строители, работники промышленности строительных материалов, ученые поделились опытом работы, обсудили назревшие проблемы градостроительства.

Мы строим не только для себя, но и для будущих поколений. Советские города должны быть не только удобными для жизни людей, но и красивыми по своему архитектурному облику. Уже сегодня мы сооружаем города коммунистического будущего.

В этом семилетии трудящиеся Москвы получают 20,5 миллиона квадратных метров жилой площади. Это на два миллиона больше, чем было построено в столице за все годы советской власти, и почти вдвое больше дореволюционного фонда Москвы, создававшегося на протяжении веков. К концу семилетки в новых домах будет жить уже 40 процентов населения столицы.

В третьем номере журнала «Москва» была опубликована статья И. Араличева «Человек и его дом». В ней отмечалось, что величественная программа жилищного строительства, намеченная партией и правительством, требует совершенно новых приемов в проектировании и сооружении домов. Статья вызвала отклики наших читателей. Некоторые из них мы публикуем.

АРХИТЕКТОРОВ — НА СТРОЙКУ!

Г. МАСЛЕННИКОВ,

*бригадир бригады коммунистического труда
15-го строительного управления треста
«Мосстрой» № 3*

Дома, которые мы строим, будут стоять века. Как же оценят наши потомки жилища, которые мы возводим не только для себя, но и для них? Признаюсь, когда я задумываюсь об этом, меня охватывают не очень радужные мысли.

В статье «Человек и его дом» есть намек на то, что московские архитекторы редко общаются даже между собой. Этого мы, строители, не знали, да это нас и не очень касается. Но вот то, что архитектор совсем не интересуется судьбой

своего творчества, что он не знает, как осуществляется его проект, что он не выслушивает замечаний, советов, которые ему хочет дать монтажник, — это просто озадачивает.

Как же может не бывать архитектор на стройке? Речь идет о реализации его творческого замысла! В строительстве нет, не может быть такой мелочи, которая была бы безразлична для автора проекта — настоящего творца. Как бы хорошо ни был составлен проект, он все-таки только проект. А как он будет выглядеть

в жизни, в натуре? Разве автору это не интересно?

Я не думаю, чтобы архитекторы боялись здоровой критики. Не думаю, что они не хотят знать о мыслях, которые порой одолевают строителя, исполнителя их замыслов. Так почему все же они игнорируют мнение рабочих, осуществляющих эти замыслы? Должен сказать, что сегодняшней строитель прекусно разбирается в сущности архитектурных проблем. Он готов драться вместе с архитекторами за осуществление их интересных творческих идей!

Но, на мой взгляд, автор опубликованной в журнале статьи слишком мягко говорит о приверженности архитекторов к классическому стилю, к напыщенности и украшательству, о недооценке метода индустриального строительства.

Многие старые строители начинали со специальности каменщика и добились в этом деле высокого мастерства. Но когда техника пошла вперед и на смену кирпичу пришли крупные блоки, панели, все мы, повинувшись духу времени, быстро овладели новой для себя профессией монтажника. Мы стали монтировать дома из крупных блоков, и делаем это не плохо.

Можно ли сказать, что и архитекторы так же перестроились? Нет. Даже те перемены и сдвиги, которые начинают ощущаться в архитектуре новых кварталов, произошли не по инициативе архитектурной общественности, а иногда и просто вопреки ей. Роль нашей партии и лично Никиты Сергеевича Хрущева тут достаточно известна, она у всех на виду.

В строительной практике наблюдаются такие явления. Наша бригада сейчас монтирует пятиэтажные дома в пятом-шестом кварталах, по дороге от университета к Раменкам. Они выглядят совсем не так, как здания недавнего прошлого. И кварталы выглядят по-иному. Нет больше удручающего нагромождения искусственных скал, нет серых громад, выстроившихся вдоль улиц, есть простор, доступ к солнцу. Дома стоят торцами к улице и далеко от проезжей части ее. Старые архитектурные каноны, гласящие, что домам положено стоять только вдоль улиц, как будто нарушены. И это делает честь авторам этих кварталов, работающим в архитектурно-планировочной мастерской № 3. Но вот беда: кроме жилых зданий, в этих кварталах намечены детские сады, школа, строить же их еще не начинали, и мы опасаемся, что эти очень необходимые здания не будут готовы к моменту заселения домов.

Юго-Запад Москвы стал школой индустриального домостроения. Но годами наблюдающееся отставание культурно-бытового строительства продолжается. К сожалению, авторов проекта это мало тревожит. Видимо, они свыклись со своей ролью пассивных наблюдателей. Наше, мол, дело составить проект, предложить хороший план, дельную конструкцию.

А как они осуществляются — это нас не касается...

В статье «Человек и его дом» затронут вопрос об отставании культурно-бытового строительства, о недостатках в благоустройстве новых кварталов. Я считаю, что одновременно с застройкой кварталов нужно возводить и здания клубов, кинотеатров, создавать стадионы. А что получается на деле?

В четырнадцатом квартале Юго-Запада по проекту должен быть стадион. Он запроектирован очень удобно. Никаких особых затрат это строительство не требовало, там нужны были лишь небольшие дренажные работы. Но об этом стадионе сегодня нет и речи. Что же касается других кварталов, то там стадионы даже не предусмотрены.

Почему же архитекторы не поднимают тревогу, почему не доказывают обществу, как много мы теряем от того, что мало строим зрелищных предприятий, не создаем в новых кварталах зон отдыха.

Как исправить последствия увлечения тяжеловесной симметричностью, скованностью, слепой приверженностью к геометрии? Нужна широкая, по-новому осуществленная, конструктивная разработка планировочных решений. Пора нашим архитекторам добиться выразительности, непринужденности, легкости, присущих социалистическому городу.

Благоустройство новых кварталов — насущное дело. Оно должно стать неотъемлемым элементом работы архитектурно-планировочных органов. Парки, сады, водоемы, бассейны, спортивные площадки, катки, территории для сушки белья, чистки одежды и многое другое — все это необходимо предусматривать архитекторам и планировщикам.

Хотя в статье о строителях почти не говорится, считаю необходимым отметить, что и в их работе есть немало серьезных недостатков. И монтажникам и руководителям строек нередко приходится ездить на заводы железобетонных изделий, снабжающих нас деталями. Мы приезжаем туда и требуем: «Давайте побольше!» А что дадут, какого качества, это дело десятое!..

Нас, например, снабжает деталями десятый завод железобетонных изделий. Мы очень зависим от него. И потому, вероятно, еще недостаточно строго относимся к качеству его панелей. Скажу прямо: панели, изготавливаемые этим заводом, не могут идти ни в какое сравнение с теми, какие я видел в Чехословакии. Там архитектор и художник участвуют в проектировании панели, создают рисунки, которые наносятся на панели и блоки на заводе. Дома из таких панелей-фресок красивые, они радуют глаз.

Неужели мы не можем добиться того же? Разве это такая уж трудная задача?

Строители столицы вступают в очень ответственный период. Мы переходим на

поток. Теперь как никогда требуется взаимодействие всех строительных служб. Создание Главмосстроя себя вполне оправдало. Я не принадлежу к тем, кто выступает против централизации и высказывается за создание каких-то районных управлений. Жизнь показала, что именно централизация позволила успешно решить многие трудные вопросы, в частности вопросы механизации. Другое дело, что многое из задуманного еще не осуществлено. Но в Главмосстрое решать вопросы легче, чем в прежних маломощных, раздробленных организациях.

Однако и в аппарате Главмосстроя немало бюрократизма. И одним из опаснейших симптомов этого бюрократизма я считаю антагонизм, который существует между некоторыми строительными организациями. «Фундаментстрой», например, никогда не доделывает на стройках свои работы и этим постоянно ставит нам, монтажникам, палки в колеса. Очень отстают дорожники. Вообще все, что касается «нулевых», то есть подготовительных работ, носит у нас черты кустарщи-

ны. У нас, например, вошло в систему сначала делать корпус здания, а потом подвал. Начинаются бесконечные переделки. Напрасно тратятся средства, производятся бесполезные работы.

До сих пор плохо используется крупнейший парк механизмов. Механизаторы еще недостаточно тесно связаны со строителями. Они еще не стали нашими настоящими помощниками в выполнении огромных планов жилищного строительства.

Все это особенно важно сейчас, когда мы переходим на поточный метод строительства, на работу по строгому графику, когда все звенья гигантского строительного аппарата должны действовать с точностью часового механизма.

Наш долг — строить быстро добротные дома, трудиться так, чтобы новоселы говорили нам спасибо!

Долг строителей мы выполним с честью. В этом мы заверили еще раз наш народ, нашу партию с трибуны Всесоюзного совещания по градостроительству.

ЗАМЫСЕЛ И ИСПОЛНЕНИЕ

М. ПОСОХИН,

*руководитель архитектурно-планировочной
мастерской № 9 Моспроекта*

Всесоюзное совещание по градостроительству обсудило важнейшие вопросы, возникающие перед нами каждодневно и ежечасно. Особое внимание участники совещания уделили качеству строительства, много говорилось также о повышении роли и ответственности архитектора-проектировщика.

Не так давно мне довелось познакомиться с работой архитекторов Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Германии. С полным основанием и без всякого самообольщения могу сказать: наши архитекторы не уступают зарубежным. В особенности это относится к Москве, где собраны лучшие архитектурные силы. Что же касается индустриализации жилищного строительства, то тут мы превосходим самые передовые капиталистические страны.

Мы многого достигли в области сборного железобетона. Наши конструкции делаются капитально, хорошо. Но внешняя и внутренняя отделка зданий, как и благоустройство, у нас пока отстают.

Почему же у нас качество выполнения архитектурных проектов нередко ниже, чем в других странах?

Попытку журнала «Москва» разо-

браться в причинах недостатков можно только приветствовать. Мне кажется, многое объясняется пороками организации архитектурного труда, а также недочетами в планировании и финансировании строительства. Ведь финансирование объектов жилых кварталов у нас часто проходит по разным сметам. Порой планируют строительство без учета многих важных факторов и исходят только из сметных, финансовых соображений.

Роль архитектора ответственна. Но можно ли во всех грехах винить только его? Нет. Какими правами обладает и за что отвечает архитектор, сказать трудно.

Проиллюстрирую свою мысль примером. На Юго-Западе Москвы есть два новых квартала — девятый и одиннадцатый. Это образцово-показательные кварталы с двумя зонами — жилой и общественной, со своими школами, детскими садами, яслями, магазинами, автоматической телефонной станцией. Обе эти зоны хорошо озеленены и благоустроены. Имеются здесь и коммунальные блоки, в которых, кроме домоуправлений, размещены ремонтные мастерские, комнаты для кружков, приемные пункты прачечной и т. д. Есть в этих кварталах и места для стоянки автомашин, площадки для сушки

белья, проветривания ковров и чистки одежды. В жилых домах предусмотрены цветочницы на лоджиях, дома отделены от тротуаров полоской зелени. Деревья в зеленых зонах значительно уменьшают шум и загрязнение воздуха. Жителям этих кварталов и гостям нравятся места для игр детей и отдыха взрослых, волейбольные и баскетбольные площадки, беседки, навесы, бассейны, скамьи для престарелых и матерей, гуляющих с грудными детьми.

Госстрой и Моссовет позаботились о строителях этих кварталов. Им создали «зеленую улицу» — предоставили достаточно средств, лучшие материалы. От строителей требовали высокого качества работ.

Показательное строительство жилых микрорайонов, в создании которых архитекторы активно участвовали, принесло несомненную пользу. Но почему же этот опыт не находит распространения? Чем объяснить, что, создав образцы, на этом остановились, не приняли мер к тому, чтобы все кварталы нового строительства в Москве были благоустроены так же хорошо, как девятый и одиннадцатый?

Вспоминаю, с каким подъемом работники девятой мастерской создавали проект Тестовского поселка. Мы стремились приблизить его по благоустройству к девятому кварталу. Но добиться этого не смогли.

Может быть, это происходит и потому, что мы, архитекторы, не очень-то боремся за осуществление своих идей? Может быть, архитектурная общественность ведет себя пассивно? Да, архитекторы не сделали много из того, что должны были сделать. Я считаю, что Союз архитекторов работает не хуже других творческих союзов, но в его деятельности имеется немало существенных недостатков. Он не умеет заставить прислушаться к своему голосу, вяло отстаивает свои предложения.

Сколько лет толкуем мы об архитектурном надзоре на стройках. Но вот вместо того, чтобы этот контроль совершенствовать, его отменили. Недавно, правда, восстановили. Но был период, когда автор проекта не мог выехать на стройку. Архитектора туда просто не пускали из проектной организации. Может ли быть положение более нелепое?

Допустим, наконец, что архитектор бывает на стройке, старается чего-то добиться от строителей. Но ведь те делают все по-своему. Зодчий требует, к примеру, чтобы стена была окрашена в определенный тон или оклеена соответствующими его замыслу обоями. А строители отвечают: будем красить той краской, какая у нас есть, и того, чего вы хотите, не будет...

На производстве готовую продукцию проверяют. Казалось бы, нужно контролировать, как построен и жилой дом. Ведь в нашей практике укоренилось, что

почти все дома сдаются с недоделками. Архитектор составляет акт, перечисляет недоделки и вручает его строителям. Но те обычно на такие акты не обращают внимания. И пусть архитектор откажется принять недоделанный новый дом! На него начинают нажимать со всех сторон. Его заставляют принять дом — иначе это отразится на выполнении плана. План же сдачи жилой площади — это одновременно вопрос и чести и материальной заинтересованности строителей.

Надо учесть и то, что органы архитектурно-строительного контроля у нас маломощны. Объем работ огромный, а работников мало. А ведь качество жилых домов может быть повышено лишь при строгом и всеобъемлющем контроле. Всюду, где создаются изделия, — от панели для сборного дома до мебели, которой будут обставлены квартиры, должен чувствоваться строгий глаз архитектора. А этого нет.

Я считаю, что существующая система архитектурно-художественного контроля недостаточно продумана. Сейчас архитектора после института сразу направляют в проектные организации, в то время как он, подобно всякому специалисту, должен был бы пройти горнило производства. Он должен одинаково уверенно работать и в проектной мастерской, и на заводах, выпускающих детали, и в органах строительного контроля.

Одна из нерешенных задач — заводская отделка стеновых панелей и блоков. Внешний вид здания из панелей и блоков зависит от декоративных качеств лицевой поверхности сборных элементов. Как использовать красители и цветные заполнители, цветной декоративный бетон, крошки камня, керамики, об этом на заводах не думают. Да и кому заботиться об отделке стеновых панелей и блоков? На предприятиях железобетонных изделий архитекторов нет.

Много сделал для архитекторов столыца Никита Сергеевич Хрущев. По его инициативе был создан Моспроект с мастерскими. Роль и ответственность архитекторов, работающих в этих мастерских, повысилась. Но и теперь есть немало недостатков. Мы плохо совершенствуем наше дело.

Работников архитектурно-планировочных мастерских упрекают в том, что они все еще не отвечают за осуществление разработанных проектов. Но как это сделать? Ведь уже и теперь Моспроект работает с огромной перегрузкой. Учитывая резко возросшие масштабы строительства, надо, по-видимому, улучшать организацию труда архитекторов и больше выпускать их из институтов.

У нас почему-то не принято говорить о работе районных архитекторов. По непонятным причинам они подчиняются районным Советам депутатов трудящихся. По-моему, их надо передать территориальным архитектурно-планировочным ма-

стерским. Это обеспечило бы единство планировочной работы.

Сильно сказывается отсутствие архитекторов на предприятиях, выпускающих мебель и другие бытовые предметы. Новая планировка квартир для одной семьи требует иного решения вопроса о производстве удобной мебели. Если в маломерную квартиру жилец за собой потащит громоздкую мебель старого типа, — жизнь его усложнится. Создание встроенной комбинированной и складной мебели и удобного кухонного оборудования — задача, которую, наконец, надо решать серьезно, обдуманно.

Говоря о роли архитектора в индустриальном жилищном строительстве, нельзя пройти мимо практики некоторых мастерских. Девятая мастерская, которой я руковожу, уже много лет работает, например, над проблемами каркасно-панельного строительства. Еще в 1948 году в Москве, на Хорошевском шоссе началось строительство пятнадцати четырехэтажных домов, в которых основной несущей конструкцией был сборный железобетонный каркас, а для устройства наружных стен использовали самонесущие панели. Эти дома были, можно сказать, первенцами индустриального строительства, но уже и тогда панельно-каркасное строительство показало свои преимущества — оно было осуществлено вдвое быстрее и оказалось дешевле кирпичного.

После того как в 1953 году было решено не строить в Москве домов ниже шести этажей, наша мастерская приступила к созданию проектов каркасно-панельных домов в десять этажей. Это оказалось сложным делом: потребовались иные архитектурно-конструктивные решения и новая технология производства заводских изделий. В седьмом квартале Ново-Песчаного улиц появились наши высокие каркасно-панельные дома. Но вот прошло два года, и наше дело снова застормозилось. Одни утверждали, что стоимость каркасно-панельных домов вообще высока, другие говорили, что каркасно-панельное строительство выгодно только при возведении жилых зданий выше 8—10 этажей. А так как в эту пору снова был взят верный курс на невысокие, пятиэтажные дома, то дальнейшее строительство каркасно-панельных домов было прекращено. Опыт Западной Европы и Америки говорит о том, что каркасно-панельные дома имеют много преимуществ — надо лишь, чтобы стены были легкими и не перегружали каркас. Разделение функций несущих и ограждающих конструкций сокращает вес здания на 40 процентов и значительно уменьшает расход строительных материалов.

Каркасно-панельная система дает большую свободу в планировке квартир. С помощью типовых элементов сборных перегородок и стенных шкафов можно, по желанию, придавать квартире разную планировку. Таким образом, будущие жильцы в зависимости от возможностей, при-

вычек и вкусов могут выбрать по каталогу любой из предлагаемых вариантов. Более того: в дальнейшем, в случае необходимости, планировку квартиры можно, при сохранении общей площади, легко изменить.

Проект такого дома утвержден исполкомом Моссовета, но строительство экспериментального квартала, к сожалению, не осуществляется.

Конечно, сейчас, когда в основном идет строительство панельных бескаркасных домов, переход к массовому строительству каркасных зданий потребовал бы серьезной перестройки предприятий сборного железобетона. Курс на панельное строительство в нынешних условиях оправдан. Но нам кажется, что у каркасно-панельного дома большое будущее, и нужно вести экспериментальное строительство каркасных домов. Коллектив девятой мастерской уже доказал, что пятиэтажные каркасные дома могут быть экономичнее панельных домов.

Такова одна сторона работы нашего коллектива. Другая сторона — градостроительный план. Как и все архитектурно-планировочные мастерские, мы называемся магистральной мастерской. Но практически мы уже давно занимаемся застройкой не магистрали, а целой зоны. Это — Красная Пресня, Грузинские улицы, район Хорошево-Мневники — территория, которая начинается от Никитских ворот и тянется до Серебряного бора.

Перед нами стоит нелегкая задача — реконструировать город, ликвидируя при этом старые, ветхие строения, находящиеся почти в центре. Наиболее характерны в этом отношении Грузинские улицы. Жилой фонд здесь очень обветшал, но переселять людей в новые дома немедленно мы не можем — нельзя забывать экономическую сторону дела. Поэтому мы вынуждены были разработать метод постепенного развития. Строим дом, переселяем в него людей и идем дальше.

В районе Хорошево-Мневники созданы микрорайоны, в которых мы стремимся осуществить все новейшие принципы планировки и благоустройства. Строительство здесь полностью переведено на индустриальные основы — собираются пятиэтажные панельные дома системы Лагутенко.

Особенность нашей работы в том и состоит, что мы должны сочетать реконструкцию города с застройкой его новых районов в тех огромных масштабах, которые предусмотрены семилетним планом.

Работаем мы с подъемом и стараемся оправдать доверие. Сделаем все, чтобы москвичи с каждым годом получали все больше хороших, удобных домов, отдадим свои силы и знания успешному осуществлению грандиозной программы жилищного строительства, в которой ярко проявляется забота Коммунистической партии и советского правительства о трудящихся.

ПОСЛЕ НОВОСЕЛЬЯ

Е. КУЗИН,

начальник жилищно-эксплуатационной конторы № 14
Ленинского района Москвы

Вряд ли кто может оценить новый дом лучше тех, кто в нем поселился. И вряд ли кто лучше знает отзывы жильцов, чем работники жилищно-эксплуатационной конторы.

Нам приходится изучать новый дом, присматриваться к его достоинствам и недостаткам с первого же дня его заселения. Я вспоминаю 1956 год, первые дни заселения тогда единственного у нас четырнадцатизэтажного дома. Людей вселяли в дом, в котором было много недоделок. Спустя некоторое время недоделки были ликвидированы, и многие о них забыли. Гораздо серьезнее обстояло с конструктивными недостатками здания, которые, как правило, не поддаются исправлению.

Не знаю, много ли раз бывал на стройке дома № 5, о котором идет речь, архитектор проекта Евгений Николаевич Сталло, но с момента заселения дома он стал нашим частым гостем. В процессе «освоения» дома мы узнали много поучительного.

Дом № 5 красив. Он, может быть, даже красивее многих домов, возникших по соседству с ним, там, где пролегли Ленинский, Университетский и другие замечательные проспекты. Но двора у этого дома не было. В доме живет около пяти тысяч человек, а домашним хозяйкам негде повесить белье. И это не упущение строителей — площадка просто не была предусмотрена проектом. Предполагалось, что белье можно будет сушить на крыше, но на практике из этого ничего не вышло.

Вселяли мы тогда по несколько семей в квартиру, а двери были стеклянные, комнаты — проходные. Замена стеклянных дверей обыкновенными была первой массовой переделкой, которая потребовала немало сил и средств.

Планировка квартир не продумана. Рядом с кухней — уборная, отделенная от нее тонкой стеной. Двери уборных во многих квартирах находятся напротив дверей в комнату, их отделяет расстояние всего в 90 сантиметров.

По проекту в доме должен быть подземный гараж, строительство которого не требовало значительных затрат, но гараж не сделали, и владельцы автомашин вынуждены были поставить самодельные гаражи, которые портят вид.

Особо нужно сказать о качестве строительных материалов. Строители не учли, что керамические блоки боятся влаги и подвергаются выветриванию. Головки вентиляционных блоков, сделанные из керамических материалов, не простояли

и пяти лет, рассыпались. На ремонт блоков уходит много средств.

Сделанная из керамики на уровне кровли паркетная стена, как и оконные проемы, не выдерживают морозов, влаги и обваливаются.

Ограды из керамических пустотелых камней работники жилищно-эксплуатационной конторы называют не иначе, как «музейными заборами». Ограды нам предстоит заменить другими — они настолько непрочны, что до них боязно даже дотронуться. Гораздо выгоднее делать ограды из бетонных столбиков и труб, которые хотя немного дороже, но долговечнее.

В окнах дома нет форточек — в них вентиляционные щели. Пятилетний опыт эксплуатации дома показал, что такая вентиляция недостаточно эффективна. Для того, чтобы проветрить комнату, приходится открывать окно.

Очень усложняет и удорожает ремонтные работы скрытая проводка. Стены с такой проводкой гладкие, красивые, но они выглядят так только до первого повреждения провода или трубы. Чтобы добраться до них, приходится стены разрушать.

Жильцам негде было проводить время на воздухе — об этом не позаботились. Теперь мы вынуждены исправлять этот просчет проектировщиков и создавать во дворе сквер.

Тротуары проложены возле самых окон. Целый день мимо первых этажей снуют пешеходы.

Я мог бы продолжить перечисление недостатков, но и сказанного достаточно, чтобы судить о том, к чему приводит увлечение внешней красотой в ущерб удобствам жильцов, планировке, экономичности строительства и эксплуатации зданий.

Иногда нас, работников жилищно-эксплуатационных контор, приглашают на совещания, где обсуждается опыт строительства. Мы там высказываем свои критические замечания, вносим предложения. Некоторые из них учитываются строителями, но мне кажется, что этого недостаточно.

Мне хочется поставить на рассмотрение общественности два вопроса. Необходимо изменить порядок приема и сдачи новых домов в эксплуатацию. Очень плохо, что новые дома сдаются без участия субподрядчиков, которые, собственно, и повинны в недоделках. Они занимаются прокладкой водопроводных и канализационных линий, выполняют электротехнические и другие работы, а на приемке их не видно. Акты подписываются за-

глазно, никто их не проверяет. В нашем районе, например, был случай, когда возвели четыре жилых корпуса, а коммуникации к ним не были подведены. Пришлось взламывать асфальт и прокладывать трубы.

Нельзя мириться с положением, при котором сложные коммуникации современного жилого дома не проходят предварительных испытаний.

Сейчас строительные организации освобождены от проведения так называемого послеосадочного ремонта. А ведь прежде строители получали на этот ремонт необходимые средства. Эти ассигнования отменили, очевидно, из соображений экономии. В действительности же никакой экономии не получилось.

Чтобы поднять ответственность строителей за качество работ, надо, по-моему, снова обязать их производить послеосадочный ремонт.

Второй вопрос — о бережливом отношении людей к жилищам. К сожалению, нередко приходится встречаться с хищническим, варварским отношением к жилому фонду. А ведь дома — это народное достояние, которым будут пользоваться многие поколения советских людей.

Коллектив нашей жилищно-эксплуатационной конторы хорошо понимает свои обязанности. Мы включились в со-

ревнование за хорошее содержание домов, за благоустройство, озеленение дворов. Каждый советский дом должен быть красивым, привлекательным.

Контора расходует на озеленение много средств, а результаты невелики. Почему? Потому что сажаем не взрослые деревья, а «палочки», которые вскоре гибнут. Неужели так трудно организовать пересадку взрослых деревьев из подмосковных лесов?!

Из литературы мне известно, что озеленители отказываются от геометрической планировки дворовых и других скверов, начинают применять так называемую свободную планировку. При этом значительно сокращается число дорожек и аллей, которые обходятся очень дорого, а используются мало. Не нужны нам и гранитные борты, чугунные ограды — их с успехом заменит цветущий кустарник.

Это новшество надо скорее сделать достоянием всех новых жилых кварталов.

Современный жилой дом — большое и сложное хозяйство. Нам нужна помощь, советы, как им лучше управлять. Широко развернувшееся жилищное строительство ставит серьезные задачи и перед учеными: освещение квартир, борьба с шумом — об этом и многом другом следует подумать специалистам. Пока что мы действуем наугад либо пользуемся давно устаревшими нормами и положениями.

Вдали от родной земли

Б. Завадский

За рулем ночного такси

Автор очерков «За рулем ночного такси» Б. Завадский в 1928 году подростком попал в Канаду. Сестра его матери, уехавшая туда в 1905 году, взяла к себе старшего из сыновей многодетной вдовы, чтобы помочь ей вырастить ребят. Вдова отправила сына за океан в надежде, что «американская сестра» живет в достатке и даст ее первенцу «заграничное образование».

Однако, приехав в Йорктон — тетушкин городок на прериях, — парнишка быстро понял, что ни о каком образовании не могло быть и речи: тетушка жила плохо, очень нуждалась. Борису Завадскому ничего другого не оставалось делать, как начать работать, чтобы прокормиться и сколотить нужную сумму на обратную дорогу. Около двух лет он был батраком на фермах, чернорабочим на постройках, едва сводил концы с концами. Затем юноша переехал в самый большой город и порт Канады — Монреаль. Он мечтал устроиться там на какой-нибудь пароход, отплывающий в Европу, чтобы вернуться на Родину, или заработать где-нибудь на билет.

Публикуем несколько глав из книги канадских записок, подготовленной автором к печати.

«БУРЛЕСК»

Не успели мы с мистером Брауном выйти в город, как нас оглушили крики мальчишек-газетчиков.

— Экстра! Экстра! Крах на бирже в Нью-Йорке!

— Паника на Уолл-стрите! Экстра!..

— Акции продолжают падать!..

— Экстра! Экстра!

— Крах!..

— Это — плохо, — сказал мистер Браун. — Я уже знаю, что такое крах на бирже. Так всегда начинается кризис...

Я не обратил внимания на слова мистера Брауна. Какое мне было дело до цен на какие-то акции в Нью-Йорке?

Меня больше заинтересовал способ

доставки газет уличным газетчикам. Грузовик с газетами не останавливался. Мальчишка в кузове пронзительно свистел в роговой свисток и на ходу сбрасывал кипу газет на тротуар. «Вот здорово! — подумал я. — Этак быстро можно доставить свежие газеты читателям!»

Мы шли по Крэйг-стрит. Отсюда нам нужно было пройти вверх по довольно круто поднимавшейся в гору улочке, на площадь Доминион-сквер. Я уже было завернул за угол, но мистер Браун остановил меня.

— Зачем идти, когда нас подымут?

— Кто поднимет?

— Следуйте за мною, и вы увидите.

Мистер Браун пересек улочку и вошел в огромное, из серого камня, здание

станции «Уиндзор» Канадской Тихоокеанской железной дороги. Миновав зал, мы подошли к лифту. Здесь уже ожидало человек десять. Через минуту лифт опустился, выпустил пассажиров, и все ожидающие вошли в него. Это был очень большой и вместительный лифт для пешеходов — приятное начало знакомства с городом.

Не прошло и минуты, как лифт, подняв нас на несколько этажей, остановился. Мы вышли из подъезда, расположенного на уровне Доминион-сквер, повернули направо и оказались в самом центре Монреаля. Налево было большое мрачное здание гостиницы «Уиндзор», принадлежащей все той же вездесущей компании Тихоокеанской железной дороги, перед нами высился собор Сент-Джеймс, уменьшенная копия римского собора Св. Петра, — как сообщил мне мистер Браун, — а между нами и собором раскинулась окруженная большими зданиями площадь со сквером и памятниками.

— Что это? — спросил я.

— Это памятник «неизвестному солдату», — сказал мистер Браун, — монумент погибшим в мировой войне, а тот, что подалше, — памятник бурской войны.

Я чувствовал себя превосходно, вновь шагая по большому городу и рассматривая высокие каменные дома. Бросалось в глаза, что большинство домов в Монреале построено из серого известняка. Очевидно, где-то неподалеку находились карьеры и залежи этого камня. Вдруг, к моему удивлению, я заметил с десяток пароконных экипажей, вытянувшихся друг за другом на извозничьей бирже вдоль сквера. От них веяло дряхлостью, как и от стариков, сидевших на козлах. Правда, извозчики здесь не носили ни цилиндров, ни пелерин, а были в обыкновенных стареньких пиджаках, кепках или шляпах, но все же это был какой-то анахронизм.

— Что это за древности? Кто ими пользуется, когда всюду сколько угодно такси? — спросил я мистера Брауна.

— Пользуются! Туристы. Видите эту гору? — Неподалеку, почти в центре города, виднелся огромный холм. — Это Маунт-Ройал — «Королевская гора». Там парк, а на вершине, на высоте восьмисот футов¹, — площадка. С нее открывается прекрасный вид на весь город. К этой площадке по горе змейкой вьется дорога. Так вот, чтобы попасть туда, нанимают экипажи. Въезд автомобилей в парк запрещен. Вся земля принадлежала когда-то некоему Олмстеду, он завещал ее городу под парк, но с условием — не разрешать езду на автомобилях. Так что если кто хочет с комфортом добраться до вершины, конный экипаж — единственный способ...

Раньше всего нам нужно было снять комнату. Мы побрели вдоль гостиницы, вверх по сливавшейся с площадью Доми-

нион-сквер улице Уиндзор. Погода все еще стояла сухая и теплая. Мне доставляло наслаждение снова ступить по асфальту, снова слышать грохот и перезвон трамваев, гул толпы, видеть огромные витрины и бесчисленные зеркальные витрины, ощущать водоворот жизни большого города. Только теперь я понял, что, в дополнение ко всему прочему, угнетало меня в Йорктоне. Это была тишина провинциальной глуши.

Пройдя площадь и миновав одноименное огромное здание — «Доминион-сквер-билдинг», мы вышли на главную улицу города, шумную и нарядную Сент-Кэтрин-стрит. Автомобили мчались бесконечным потоком, обгоняя друг друга и лавируя среди других машин. На перекрестках Сент-Кэтрин и больших улиц трехцветные светофоры, которые я здесь увидел впервые, автоматически регулировали движение. А на перекрестке с самым напряженным движением стоял полисмен в белых перчатках и руками управлял послушными ему потоками автомобилей.

Так дошли мы до Мэнсфилд-стрит, которая, начинаясь у Сент-Кэтрин, пересекает Шербрук и подымается в направлении Маунт-Ройал.

Мистер Браун водил меня по этой уютной тихой улице, застроенной опрятными двухэтажными серыми домами, вверх и вниз, от Сент-Кэтрин до Шербрука и обратно, в поисках дома, в котором он останавливался несколько лет назад. Но найти тот дом не мог. Чуть ли не на всех домах висели маленькие скромные вывески: «Сдаются комнаты», «Комнаты для туристов», «Комнаты с пансионом», и моему спутнику все время казалось, что дом, который он разыскивает, находится «вон там, через три дома отсюда», а когда мы подходили, то не находили его, и наши поиски продолжались.

Обойдя улицу два или три раза, мистер Браун наконец сдался, и мы вошли в один из домов с вывеской «Общедоступные комнаты». В передней нас любезно встретила хозяйка, благообразная пожилая женщина, и по нашей просьбе сообщила цену. «Общедоступные комнаты» оказались для нас совсем недоступными: шесть долларов в неделю за комнату. Я получал столько же за шесть дней по шестнадцати часам тяжелой работы на ферме!

Мы ушли, несмотря на уговоры хозяйки, и постучались в дом с табличкой «Комнаты для туристов».

— Вот где мы найдем то, что нам надо, — сказал я. — Комнаты для туристов должны быть дешевле.

Нас впустила такая же приветливая хозяйка и сообщила, что такого комфорта, как у нее, мы нигде больше не найдем и что стоит это всего семь долларов в неделю.

Когда мы вышли из этого дома, мистер Браун сказал:

— Вы ничего не понимаете в туризме. Вы наивны, как новорожденный. Ту-

¹ 244 метра.

ризм — не последняя статья дохода в Монреале. От Нью-Йорка сюда рукой подать, шестнадцать часов, а от границы еще ближе. В Штатах «сухой закон». Вот янки и ездят сюда пить виски в монреальских кабаках. Монреаль — это такой город... ну, как бы вам сказать... особый, веселый город... вроде Парижа. Бедных туристов здесь не бывает. Беднякам не до путешествий. Они рады, когда у них есть работа... А если путешествуют, то вроде нас с вами, а то и просто «хобо»¹. Так что, дорогой мой, не ищите здесь дешевых комнат. На ком же еще делать деньги, если не на туристе?! Он и приезжает сюда, чтобы получить удовольствие и швырять хрустящие бумажки с портретами Вашингтона...

И все же мы, наконец, нашли комнаты подешевле. С каждого из нас содрали по три доллара за сырые каморки в глубоком полутемном подвале. Одежда была старая, потрепанная, краска на кроватях облупилась. По стенам сочились струйки, но все-таки мы были под крышей, имели ночлег, и я, заплатив за неделю вперед, мог спокойно искать работу и более подходящее жилье.

Не успели мы перетащить свои чемоданы в дом, как мистер Браун исчез, попросив меня подождать его минуточку. Через минут пятнадцать он вернулся с оплетенной бутылкой вина, откупорил ее, выпил два стакана сам и заставил меня выпить. Мистер Браун блаженствовал, попав наконец в «землю обетованную», где вино продают без всякой нормы. Он никак не хотел расставаться с бутылкой, и мне с трудом удалось уговорить его отложить выпивку и показать мне театр, о котором он так много рассказывал.

— Здесь еще есть театр, — сказал мистер Браун, — он называется «Хиз мэджестис» («Его величества»), но это, собственно, только театральное помещение. Оно месяцами пустует, а потом вдруг в нем может поставить спектакль какой-нибудь студенческий любительский кружок или заезжая труппа. А вот тот, в который мы пойдем, работает постоянно. Это единственный в своем роде... и вообще единственный в Канаде...

— Неужели на всю Канаду один театр? Даже не верится. А в Оттаве? Это же столица!

— Верится вам или не верится, но это так.

— А как называется этот театр?

— Бурлеск!.. Собственно, название театра — «Гэйети»², но он все равно бурлеск.

— А что это такое?

— Вот пойдем, увидите сами.

— Но что значит само слово «бурлеск»?

— Бурлеск, это... это нечто вроде пародии...

Театр находился на Сент-Кэтрин-

стрит, возле Сент-Лоуренс. Он помещался в невзрачном здании и казался каким-то заплеванным. В день давали три представления. Мы взяли билеты на последнее представление, в девять часов вечера. До начала оставалось почти два часа.

— Пойдемте на Сент-Лоуренс-стрит, побродим, — сказал мистер Браун. — Надо же как-нибудь убить время. Там есть на что посмотреть. Это у нас особая улица, второй такой в Канаде не сыщете. Она еще называется Мэйн-стрит (Главной улицей), хотя давно уже главной стала Сент-Кэтрин.

Я послушно шел за своим гидом, восторженно и с нетерпением предвкушая представление. По дороге Браун рассказал мне, что Сент-Лоуренс-стрит проходит через весь город, делит его на две части и спускается к реке того же названия: Св. Лаврентий — по-английски Сент-Лоуренс. Мистер Браун сказал, что все крупные канадские города делаются на лучшую, западную часть, застроенную особняками богачей, фешенебельными магазинами, дорогими ресторанами, и восточную — кварталы заводов, фабрик, трущоб, жилищ бедняков.

Мы дошли по Сент-Кэтрин до угла Сент-Лоуренс, где располагается большой магазин американской компании «Вулворт».

— Зайдем на минутку, — предложил Браун. — Одно из чудес двадцатого века — «Вулворт»! Родилось в Штатах, расплодилось на весь мир. Массовость! Торгуют дешевле всех. Им не страшна ничья конкуренция. Самая дорогая вещь в магазине — пятнадцать центов!

— Я уже видел это чудо в Йоркто-не, — сказал я Брауну.

Все же мы зашли в магазин и побродили в нем, рассматривая безделушки.

— А девушки! Какие девушки! Вы только посмотрите, — воскликнул Браун.

Продавщицы в магазине действительно все были как на подбор. Я и раньше замечал, что продавщицы и официантки во всех магазинах и кафе были привлекательной наружности.

— Что га чертовщина, мистер Браун, я ни разу не видел за прилавком старой или некрасивой женщины!

— Естественно! И не увидите! Некрасивые моют полы или посуду, работают прачками. Даже лифтерши у нас, и в Канаде, и в Штатах, только молоденькие и хорошенькие. Вы наивны, как новорожденный теленок! Это же бизнес! Видите — я зашел к «Вулворту». Почему? Потому что я знаю — здесь можно увидеть два десятка хорошеньких мордашек... Посудите сами: зачем хозяевам держать некрасивых продавщиц, если они легко могут нанять привлекательных? Смотришь, какой-нибудь мистер Смит и заглянет лишний раз полюбоваться хорошенькой Сюзи или Мери, поболтает с нею и невзначай купит что-нибудь...

Мы спустились по правой стороне Сент-Лоуренс, по направлению к реке.

¹ «Зайцем».

² «Веселье».

— Вот куда мы зайдем с вами,— сказал Браун, останавливаясь у широкой застекленной двери под вывеской: «Галерея пятицентовых шоу»¹.

Мы вошли. Это был зал, уставленный рядами каких-то металлических ящиков на высоких массивных подставках. В каждом ящике имелась щелка для «никлей» — никелевых пятаков, на высоте глаз находилась пара окуляров, как у бинокля, а справа торчала ручка. Здесь же стоял электрический граммофон-автомат, который включался, когда в него бросали медную монету в один цент, и оглушал посетителей фокстротами. Дальше по стене тянулась длинная магазинная стойка с рядом каких-то коричневых машин, похожих на кассы. Около машин стояли люди.

— Что это такое? — спросил я.

— Игральные машины,— сказал Браун, и я вспомнил, что видел их уже в табачных магазинах, но принял за разновидность кассового аппарата.— В штатах целая отрасль промышленности занимается их изготовлением. Очень прибыльное дело. При определенной комбинации нажатых клавишей машина выплачивает на ваш никл выигрыш. Иногда очень высокий. Вот народ и испытывает свое счастье. Только я уже несколько раз сильно обжегся на этих железных бандитах и больше пробовать не хочу. Это как зараза,— бросишь никл, за ним второй, третий, четвертый, а потом уже не уйдешь, пока у тебя деньги в кармане есть. Затягивает. Все надеешься вернуть свои деньги. Я так долларов пятьдесят проиграл. Больше не хочу! На ней безошибочно выигрывает только ее хозяин. Это «рэкет» — жульничество! Вандитизм сплошной!..— ворчал мистер Браун.— Пойдемте отсюда, и я покажу вам нечто иное.

Мы вышли на улицу и прошли еще с десяток шагов.

— Сюда! — мистер Браун остановился у входа в подвал с вывеской музея восковых фигур.

Мы купили билеты, вошли в зал с низким потолком. С обеих сторон прохода зал был уставлен восковыми фигурами людей в натуральную величину. Здесь были Наполеон, Вашингтон, Мария Стюарт, Бисмарк и еще серия знаменитостей. На манекенах — настоящие добротные костюмы; лица и руки, сделанные из воска, были точной копией человеческих. Сходство усиливали искусно сделанные стеклянные глаза, волосы, брови, ресницы.

— Идите сюда!.. Вот интересно!..

Я подошел к мистеру Брауну. Он стоял у отгороженного уголка этого паноптикума. Надпись гласила: «Джек-Потрошитель убивает спящее семейство, достоящее из отца, матери и пятерых детей».

В уголке зала была воспроизведена обстановка спальни небогатой семьи. В постели лежали муж и жена с перере-

занными шеями, залитые кровью. На трех детских кроватках покоились дети. Четверо уже были зарезаны, над пятым, грудным, склонилась зловещая фигура Джека-Потрошителя. Большим охотничьим ножом он перерезал горло младенцу. Все детали были воспроизведены с фотографической и анатомической точностью. Впечатление было настолько сильным, что мне даже почудился трупный запах.

Я выбежал на улицу, с облегчением вдохнул полной грудью холодный воздух и закурил в ожидании мистера Брауна. «Музей» был частным коммерческим предприятием, устроенным для выкачивания денег у простаков.

— Чего это вы удрали? — спросил Браун, поднимаясь из подвала.— Там еще столько интересного!.. Вы же не видели и десятой части!..

— С меня достаточно,— ответил я.

— Но ведь музей — это наука!.. — запротестовал мой спутник.

— От такой науки меня тошнит.

— Олл рай! — примирительно сказал мистер Браун.— О вкусах не спорят!.. Нам пора в «Бурлеск».

Мы вернулись на Сент-Кэтрин-стрит, быстро дошли до театра, предъявили билеты и, не раздеваясь, прошли в фойе. Раздевалки не было. В фойе было так же неприветливо, голо, бедно и обшарпано, как снаружи. Постепенно здесь собрались зрители, наступило время следующего представления, и нас впустили в зрительный зал. Он был небольшим, неуютным и грязным. Меня удивило, что единственный в стране театр влачит такое жалкое существование и выглядит хуже любого кино, даже йорктонского. Мы взяли места подешевле, на балконе. Театр плохо вентилировался, и это очень чувствовалось. Занавес, как и в йорктонском кино, весь был расписан рекламами местных и американских фирм. Но я готов был мириться со всем. Моя мечта побывать в театре сбылась. Я сидел в настоящем театре.

Оркестр занял свои места. Свет в зале погас. Занавес взвился вверх и обнажил... второй занавес в еще более крикливых рекламах. Оркестр заиграл. Второй занавес поднялся. Под ним оказался третий. Это было похоже на очистку луковицы от ее одежек.

— Сколько же можно? — произнес я нетерпеливо.

— «Холд юр хорсес!»¹ — сказал мистер Браун,— сейчас они начнут.

Мистер Браун не ошибся. Не прошло и минуты, как «шоу» началось. Как мне объяснил мой спутник, это было нечто в жанре комического ревью. Коротенькие диалоги сменялись танцевальными номерами под рев джаза. Четку выбивали соло. Четку выбивали дуэтом. Четку выбивали квартетом — просто четку, четку с выкрутасами...

¹ «Придержи своих коней!» — наберись терпения!

Дали занавес. В зале зажегся свет. Это был антракт.

— Ну как? — спросил мистер Браун.

Я замаялся, не находя слов, способных передать мое впечатление и не обидеть Брауна.

— Ну ничего, ничего, — примирительно сказал мистер Браун. — Сейчас вы увидите второе отделение. В нем весь «гвоздь» программы! Основное еще впереди...

Антракт быстро закончился. На этот раз зрителей не стали мучить тремя занавесами. После первого же — на голую, без декораций сцену выбежала танцовщица, подпрыгала ногами и срывающимся на визг силным голосом спела весьма фривольную песенку о том, почему ей никогда не нравились курчавые волосы...

— Вот, смотрите, вот... вот... теперь начнется, — говорил мистер Браун взволнованно. — Нет, ошибся... следующий номер... Ага! Вот!

Под звуки циркового галопа на сцену выбежало десятка два девиц различного возраста, в коротеньких платицах, без рукавов, и в туфлях на высоких каблучках. Положив друг другу на плечи руки, они образовали довольно ровную сплошную цепочку и, стараясь все время улыбаться, одновременно, в такт музыке, вскидывали ноги. На фоне этой скачущей цепочки появился мужчина в черной визитке, серых брюках в полоску и белом жилете, в цилиндре, в белых гамашах и с тростью. Он исполнил куплеты, дергаясь словно в пляске Святого Витта, и исчез. Его место заняла прима этого театра в черных, расшитых золотом плавках и в таком же лифчике. В зале раздалась жидкие аплодисменты. Она танцевала соло, и кордебалет был для нее лишь фоном, а через несколько минут он вовсе ускакал за кулисы, и прима осталась одна. В бешеном темпе она прошлась два раза по сцене и, собираясь за кулисы, стала расстегивать на спине пуговички лифчика. Тут зрители пришли в восторг, по залу пронесся рев одобрения. Но прима исчезла, и оркестр смолк. Раздалась неистовые аплодисменты. Зрители стучали ногами, визжали, свистели, орали, требуя повторения. Оркестр вновь заиграл, прима опять выскочила на сцену, любезно раскланялась и повторила пляску, закончив ее тем, что расстегнула вторую пуговичку лифчика. В зале поднялось нечто невообразимое. Оркестр снова заиграл, и прима в третий раз появилась перед публикой. Но когда вот-вот должна была быть расстегнута последняя, третья пуговица, прима исчезла за кулисами, занавес опустился и в зале зажегся свет.

Разочарованные зрители вслух выражали свое негодование. Они считали, что их явно обманули, и едва не требовали обратно деньги за билеты.

— Никогда не знаешь заранее, когда именно это произойдет, — с сожалением сказал наш сосед.

— Что произойдет? — спросил я.

— Что она останется совсем голой.

— Как?

— Очень просто. Ее костюм так устроен, что, если захочет, она в мгновение сбрасывает его и пробегает по сцене совершенно голой. Ну, конечно, после этого полиция закрывает театр на неделю, штрафует ее и администрацию. Но эти убытки вполне окупаются сборами в другие дни.

— Ну, как вам понравился наш театр? — обратился ко мне мистер Браун, когда мы вышли на улицу.

ТАВЕРНА «НЕПТУН»

Мы шли молча до угла Блюри. Было около одиннадцати часов вечера, но Сент-Кэтрин-стрит светилась сотнями ярких цветных мигающих и мечущихся электрических реклам магазинов, ресторанов, кино и всевозможных фирм. Из ресторанов и кино на улицу вырывались звуки джаза. Электрических огней было столько, что это походило на иллюминацию в честь какого-то большого праздника, но были будни, будни главной улицы.

На углу Блюри Браун вновь обрел дар речи.

— В Монреале есть две достопримечательности, которых нельзя найти ни в каком другом городе Канады. Одну — «Бурлеск» — вы уже видели. Вторую я сейчас хочу вам показать. Все равно мы ничего сегодня уже не успеем сделать. Давайте сядем в трамвай. Вот номер девяносто шесть! Он как раз нас туда довезет.

Едва мы вышли из трамвая, мистер Браун воскликнул, воздев к небу руки: — Смотрите сюда! Налево! Нет, вверх!

В глубоко черном небе я увидел огромный, высотой с многоэтажный дом, огненный крест.

— Что это? — спросил я, невольно вспоминая то, что слышал и читал о зловедших огненных крестах Ку-Клукс-Клана, хотя этот крест сиял тысячами электрических ламп, а не пламенем смолы.

— Что, эффектно? — спросил мистер Браун. — Спорю на что хотите, что такое вы видите впервые! Этот крест стоит на вершине Маунт-Ройал, на том месте, где когда-то возвышался деревянный крест, установленный Шамплэном сотни лет тому назад, когда во главе с ним здесь впервые высадились европейцы и основали первое поселение и крепость для защиты от индейцев. Этот крест сделан из железных конструкций. Вы его увидите когда-нибудь днем.

Крест действительно был эффектен, но от него, несмотря на электричество, веяло средневековьем. Он как бы давил на город своей массивностью.

Вечер был теплый, даже душный. Над парком и раскинувшимся против

него спортивным полем ярко горели звезды. Но над крестом светилось зарево от электрических огней, и небо над ним казалось бледнее, а звезды тусклыми, блеклыми, едва различимыми.

Мы отправились домой пешком. Мистер Браун повторил мне историю горы Маунт-Ройал и городского парка. Богач, который оставил эту землю городу, оговорил в завещании, чтобы вход в парк был открыт для всех и чтобы там не устраивали никаких увеселительных заведений, ресторанов и аттракционов.

— Несколько лет назад, — сказал Браун, — здесь произошел курьезный случай. Новый мэр города хотел въехать на Маунт-Ройал на своем «кадиллаке», но полицейский не пустил его и, говорят, даже оштрафовал шофера. Закон! Британское правосудие! Все равны перед законом, да, сэр! — закончил Браун с гордостью.

— А это что? — спросил я, показывая на обогнавший нас странный трамвайный вагон. Вагон был совершенно открытым, без крыши, и напоминал какую-то праздничную колесницу. Сиденья в нем располагались ступенеобразно, задние были на высоте почти второго этажа.

— Это «обзервэйшн кар» — вагон для осмотра города туристами. Трамвай тоже ходит на гору, но не на самую вершину и не в районе креста. Это для менее богатых туристов...

Мы спустились по Блюри до Сент-Кэтрин и пошли по главной улице. Было за полночь. Уличное движение постепенно замирало. На Блюри, Шербруке и Онтарио изредка попадались пешеходы. Иногда, шестая шинами по асфальту, проносились автомашины или со звоном мчался трамвай. Но на Сент-Кэтрин все еще можно было встретить группы заглядавшихся американских туристов, горожан, возвращающихся домой с позднего сеанса в кино, и десятки автомобилей.

На следующее утро, с удивлением узнав от хозяйки, что мистер Браун съехал с квартиры, не оставив своего адреса, я отправился в порт попытать счастья в устройстве на работу на пароход, чтобы добраться домой или хотя бы в Европу; но прежде всего я решил зайти на завод, где работал товарищ моего попутчика. Правда, моментами это казалось мне пустой затеей, а сам адресат заветной записки, лежавшей в моем кармане, — несуществующим, мифическим лицом. Но в иные мгновения я чувствовал себя счастливым обладателем какого-то волшебного ключа, способного отворить передо мною ворота Родины.

Завод располагался на Веллингтон-стрит, на острове, отрезанном от Монреала каналом, прорытым в обход Лашинских порогов.

Лашинские пороги и набеги индейцев-ирокезов и послужили в 1645 году причиной основания здесь города-крепости Монреала для перевалки грузов, так как делала невозможным сквозное судо-

ходство по реке Св. Лаврентия. Из-за порогов река в этом месте была непроходимой.

Этот искусственный остров был районом доков и крупных заводов. Чтобы попасть сюда, мне пришлось пройти через порт и Лашинский канал, по мосткам на воротах шлюза.

Св. Лаврентий — широченная, быстрая и могучая река. В порту, который растянулся на десять миль, было множество причалов. Возле них стояло до сотни огромных морских и океанских пароходов. Монреаль, как я узнал позднее, крупнейший порт в Канаде и один из крупнейших в Америке. Пароходы поднимались сюда вверх по реке на тысячу миль от океана.

Район доков и заводов был пыльным, закопченным и грязным, лишенным всякой растительности. Я без труда разыскал Веллингтон-стрит — основную магистраль острова. По обеим ее сторонам на многие кварталы протянулись заводы. Глухие кирпичные заборы перемежались грязными окнами прокатных цехов. В воздухе стоял непрерывный грохот машин, пулеметная трескотня пневматических молотков.

Но вот, наконец, и нужный мне завод.

В здание меня не впустили. Пришлось ждать перерыва. Когда народ начал выходить на обед, я узнал, что форман — мастер, которого я разыскивал, — действительно здесь работает, но заболел и будет не ранее, чем через неделю.

Это известие меня огорчило, но, с другой стороны, и успокоило. Человек, к которому у меня есть магическая записка, действительно существует на белом свете и работает здесь! Значит, если я не устроюсь на пароход, дождусь возвращения формана, и все будет в порядке.

Вернувшись в порт, я побрел по бесконечным пристаням и причалам. Не отваживаясь беспокоить капитанов огромных пассажирских лайнеров, обошел десятки товарных пароходов под разными флагами Европы. Я просил принять меня, предлагая работать бесплатно, только за проезд до Старого Света. Но на большинстве этих «купцов» не нуждались в рабочих руках. И лишь на одном, голландском, меня чуть было не наняли. Все шло гладко, пока капитан не узнал моего подданства.

— Совет?! Красный? — спросил широкоплечий приземистый капитан, почесывая свой мясистый багровый нос и недоуменно выпучив на меня желтые белки глаз. — Нет, нам рабочий рук не есть нужен...

Безрезультатно проболтавшись в этот день в порту, я решил все же не ждать выздоровления формана, искать работу. Но, к моему горькому разочарованию, куда бы я ни приходил, всюду меня встречали большие плакаты: «Рабочие руки не нужны». «Работы нет. Не беспокоить!».

Мне еще не было восемнадцати лет. Одиноким, не знающим ни единой живой души в Монреале, без специальности, я с утра до вечера бродил по большому чужому городу в напрасных поисках работы. Крах на бирже в Нью-Йорке, кризис — слова, которые еще вчера были для меня понятиями отвлеченными и, во всяком случае, меня не касающимися — уже сегодня давали себя знать. Я понял страшное значение и смысл этих слов. Каждый день под давлением кризиса закрывались десятки заводов и фабрик, и тысячи людей оставались без работы.

Между тем двадцать восемь долларов, с которыми я приехал в Монреаль, таяли с ужасающей быстротой.

Прошла неделя. Я наведалься на сталепрокатный завод, но мастер все еще болел. Я стал приходить сюда ежедневно и, наконец, узнав, что он уже работает, обрадовался так, точно мне сообщили о выздоровлении близкого, родного человека.

Мне сказали, что форман работает во второй смене и нужно прийти к восьми часам вечера, когда будет обеденный перерыв. Боясь опоздать, я пришел к семи и слонялся взад и вперед по улице около проходных ворот. После десятка дней бесплодных поисков работы ожидание в течение какого-то часа казалось мне пустяком. И все же я был как на иголках. Не терпелось увидеть человека, с которым было связано так много надежд, особенно теперь, когда все другие попытки оказались безрезультатными.

Раздался гудок. Через проходную начали выходить люди. Вышел высокий рабочий, к которому я обратился в первый раз. Он узнал меня, пообещал вызвать формана, и уже через несколько минут я беседовал с приветливым черноволосым человеком лет сорока, с застенчивой улыбкой. Прочтя записку, он грустно взглянул на меня и покачал головой.

— Сегодня уволили двадцать пять человек. Сейчас каждый день увольняют. Кризис! — он беспомощно поднял плечи и развел руками. — К великому моему сожалению, поверьте, ничего не могу сделать. Может быть, потом, через несколько месяцев что-нибудь удастся, но сейчас...

Я медленно шел домой, размышляя над тем, как бы подольше растянуть оставшиеся три или три с половиной доллара. За комнату у меня было заплачено за несколько дней вперед. На трамвай ежедневно уходило центов двадцать пять. «Если есть раз в день, — думал я, — то можно прожить дней шесть, а то и неделю. А за это время, может, удастся что-нибудь подыскать».

Я не заметил, как оказался в порту.

Несмотря на ноябрь, было очень тепло. За день я наглотался пыли, в горле пересохло, меня мучила жажда. Порт, многолюдный и шумный в дневное время, был сейчас пуст.

Облизывая сухие губы, я тщетно вглядывался в темноту незнакомого мне

района. И вдруг заметил свет. На фоне черных складских и конторских зданий, сквозь темное кружево стальных конструкций подъемных кранов светился прямоугольник растворенной двери. Оттуда доносилась веселая музыка. Я вспомнил, что еще днем, проходя мимо этих мест, прочел вывеску: «Таверна «Нептун». Не зайти ли туда? Ведь стакан газированной воды может стоить не более пяти центов...

Из десятка столиков только три были заняты. За ними сидели моряки и пили пиво. В углу стоял рояль, на котором подвыпивший негр-тапер выколачивал какой-то фокстрот. Второй негр, очень худой и высокий, положив на рояль скрипку, кланяясь и униженно улыбаясь, с пустой консервной жестянкой в руках обходил посетителей.

Я подошел к стойке и попросил бутылку фруктовой воды. В Канаде это всегда только один стакан. Пока я ждал, ко мне подошла хорошенькая молодая официантка в белом халате.

— Угости меня, кудрявенький, пить хочется! — попросила она, кокетливо улыбаясь и касаясь меня плечом.

— Пожалуйста, — ответил я, не решаясь признаться в своем бедственном положении.

— И меня! Пожалуйста! — сказала официантка постарше.

— Пожалуйста, — снова ответил я... Не обижать же было бедную девушку, раз уж я угощаю ее подругу.

— Садитесь за стол, так будет лучше! Я подам вам воду, — сказала первая официантка.

Спешить все равно было некуда, и я сел. Но в ту же минуту третья официантка, со старым, испытанным лицом, сморщившимся в жалкой улыбке, под села к столу.

— Можно и мне тоже? — спросила она.

— Валийте уж заодно! — прибавляя в уме к пятнадцати центам еще пять, проговорил я.

— Отчего вы пьете воду? Разве вы не любите вина? — игриво улыбаясь, спросила меня одна из женщин.

Не ответив, я поднес ко рту свой стакан и тут с ужасом понял, что в стаканах у женщин была вовсе не вода...

Вино в Канаде очень дорого. Я почувствовал, что краснею. Все во мне бурлило от негодования и досады на себя. Ведь уже завтра мне не на что будет поесть!..

Мне подали счет: три доллара пять центов. В кармане осталась такая мелочь, что я уже не посмел сесть в трамвай и поплелся пешком через весь Монреаль...

СТЭНДАРД-КЭБ-ТАКСИ

Мне не удавалось устроиться на постоянную работу и я искал хоть какую-нибудь поденную. Но мне не везло. Не-

десятилетиями не мог я найти даже работы судомойки на ночь, за еду. И вот, умудренный горьким опытом, я «изобрел» работу, которая некоторое время, летом, подкармливала меня, помогала кое-как существовать.

Многие клиенты гаража «Парк-Авеню», где я одно время работал, периодически давали заказы на мойку машин и иногда на «саймонайзинг». Так называлась полировка специальными пастами. Выполнял эти заказы я, и клиенты всегда бывали довольны. Мойка автомобиля стоила в гараже доллар, полировка вместе с мойкой — восемь долларов. В гараже мне платили за неделю, включая воскресенье, двадцать долларов, или менее трех долларов в день, — сколько бы машин я ни вымыл, ни отполировал, сколько бы ни принес дохода. Теперь я решил попытаться заняться полировкой не для хозяина гаража мистера Гамильтона, а для себя. Я мог тщательно вымыть и дважды отполировать автомобиль за пять часов напряженной работы и брать за это не восемь долларов, как в гаражах, а пять. Это было бы выгодно и владельцам автомобилей — три доллара экономии — и мне — пять долларов за пять часов работы вместо трех долларов за четырнадцать. Оставалось заручиться согласием владельцев автомобилей. Многих из клиентов нашего гаража я отвозил домой, знал, где они живут, и решил повидаться с ними.

Однако, когда я пришел утром к дому первого избранного мною клиента, профессора Мак-Лахлина, то оробел, несколько минут не мог решиться позвонить. Меня начали мучить сомнения: а как он отнесется к моему визиту? Может быть, откажет или посмеется надо мною? Все же я нажал кнопку звонка. Открыла миссис Мак-Лахлин. Она была в переднике и держала в руке веник на длинной рукоятке. Миссис Мак-Лахлин сама убирала дом, как принято даже в состоятельных семьях Канады; прислугу и шоферов держат только миллионеры. Она узнала меня, любезно поздоровалась и сказала, что профессор находится во дворе. Я обошел дом и увидел профессора, он занимался утренней гимнастикой. Ученый расплил несколько больших поленьев и колол их. Рядом к дереву была прислонена специальная лучковая пила для пилки дров в одиночку.

Профессор не замечал меня, пока я не подошел к нему вплотную и не поздоровался:

— Гуд мórнинг, профессор!

— А, Бóрис! Гуд мórнинг! Слышал, что Гамильтон вас уволил. Прискорбный случай. Весьма сожалею... Погода чудесная сегодня, не правда ли? — проговорил он скороговоркой, крепко, по-мужски, пожав мне руку. — Чем могу быть полезен?

Я рассказал о своих планах и предложил отполировать его «грэхам-пэйдж» на льготных условиях. Мак-Лахлин без колебаний согласился и предложил за-

няться машиной хоть сегодня, с условием отвести его к половине десятого в университет и заехать за ним в четыре.

Пока профессор завтракал, я сходил в магазин автомобильных принадлежностей. К моему возвращению пятиместный оливкового цвета «грэхам-пэйдж» прислали из гаража, он стоял у крыльца. Через пять минут профессор Мак-Лахлин, высокий, начинающий полнеть мужчина, с пышными седыми волосами, гладко выбритый, в свежевутуженном сером костюме, вышел из дому, сел за руль автомобиля, и мы поехали.

В четыре часа я вручил профессору сверкающую как зеркало машину и получил пять долларов. Моему ликованию не было границ.

Ободренный, на следующий день я обошел шесть клиентов гаража «Парк-Авеню», но никто из них не пожелал воспользоваться моим предложением. Одни говорили, что будут иметь меня в виду, другие же прямо сказали, что не могут потратить лишних пять долларов — бизнес замер и, очевидно, вообще не будут полировать машину «саймонайзом». Однако я не вешал носа. В конце дня я вспомнил мистера Фэтмена, генерального представителя одной страховой компании, и решил сходить к нему. У Фэтмена — представительного мужчины с холемым лицом — было красное двухместное «купе» марки «НЭШ», с полужестким откидным верхом и утопающими в дверках стеклами.

Через полчаса я шагал по Сент-Джеймс, где помещалась контора Фэтмена. Сент-Джеймс — канадский вариант Уолл-стрит — мрачная узкая улица с односторонним движением в старой части города, сплошь застроенная темными массивными зданиями банков, трестов, промышленных корпораций, страховых компаний и солидных торговых фирм. На этой улице Монреаля вершатся судьбы Канады.

Мне без труда удалось отыскать контору Фэтмена.

— Хорошо, что вы пришли. Как раз сегодня я хотел просить, чтобы мне «омолодили» мою «старушку», — сказал мистер Фэтмен. — Приходите послезавтра.

В течение двух недель я отполировал все машины, владельцев которых сумел склонить к этому. Больше никто, кого я знал, не нуждался в моих услугах. А так как обычно «саймонайзом» автомобили полируют не чаще, чем раз в шесть месяцев, нужно было срочно найти работу.

Но сделать это было нелегко. Безработных становилось все больше и больше. С утра и до позднего вечера я тщетно обходил гаражи. Однажды, проходя по Блюри-стрит, я увидел гараж в подвале большого дома и зашел туда просто на всякий случай. И вдруг мне повезло: здесь нужен был мойщик автомобилей и меня приняли, но платили вдвое меньше, чем в других гаражах, — десять долларов в неделю. Этих денег не хватало даже

на то, чтобы заплатить моему хозяину Джо за комнату и стол, однако у меня не было выбора.

Это был маленький гараж под огромной вывеской из неоновых трубок. Его держали два брата, недоучившиеся из-за кризиса студенты, «социалисты».

Незадолго до поступления на работу к «социалистам» в комнате, освободившейся после выезда одного из жильцов Джо, я обнаружил брошюру Карла Маркса «Заработная плата, цена и прибыль» и с жадностью набросился на нее, по многу раз перечитывая трудные места.

Однажды «социалисты» увидели у меня брошюру Маркса, удивились, что их рабочий пыгается мыслить, читать политическую литературу. Я для них стал каким-то странным, особенным рабочим.

Как-то после этого случая я мимоходом на несколько минут зашел в гараж днем в нерабочем костюме. В гараже был один из клиентов, однокашник моих хозяев по колледжу. Ему срочно нужно было помыть автомобиль. Босс сказал, что это можно сделать только ночью. Тогда клиент, желая блеснуть своим остроумием, спросил: «А где же ваш раб?.. Что же он, гулять изволит?..»

Мои хозяева — «социалисты» покраснели, растерянно переглядываясь и моргая ему.

— Как ни странно, но и рабы иногда отдыхают... Впрочем, спасибо за разъяснение, джентльмены, — сказал я и вышел из гаража.

...Несмотря на нищенскую оплату, у меня все же была постоянная работа. Но вскоре хозяева обанкротились и гараж был закрыт. Снова, в который раз, я остался без куска хлеба. Джо не стал кормить в долг.

Роберт Кент, электросварщик, с которым мы познакомились на прериях, когда были батраками на ферме, тоже ходил без работы, и мы теперь искали ее вместе.

Однажды он предложил пойти работать шоферами в такси. Мы знали, что там не платят постоянной зарплаты, а лишь жалкие проценты, но иного выхода у нас не было. Мы остановили свой выбор на одной из двух самых больших в городе таксомоторных компаний — «Стэн-дарт-кэб-такси» — и отправились в ее гараж, находившийся в западной части Сент-Кэтрин-стрит.

Именно из-за отсутствия твердого заработка поступить сюда на работу оказалось легче, чем я предполагал. Люди приходили и уходили. Здесь постоянно работали лишь несколько десятков старых шоферов, часть которых пересела когда-то за руль с конных экипажей. Это была работа для безработных шоферов и адвокатов, электросварщиков и музыкантов, которых выгнала на улицу «консервированная» музыка звукового кино и всевозможных музыкальных автоматов. Среди нас оказался, как я узнал впоследствии, даже один профессор математики.

Нам сказали, что возьмут нас, как только будет вакансия, и велели прийти завтра. Проходясь с неделю, мы были допущены к испытаниям. Один из «старичков» предупредил, что прежде всего проверят наше умение водить машину, особенно тормозить двигателем. Мы с Бобом раздобыли несколько галлонов газаolina, потренировались на его машине и теперь были спокойны.

Нас проверял механик. Он усадил группу вновь поступающих в таксомоторный гараж и привел машину на одну из монреальских улиц с крутым спуском. Здесь он по очереди заставлял нас водить машину в различных условиях, а сам сидел рядом на откидном полужестком сиденье, которое обычно удерживается пружиной в вертикальном положении, освобождая место рядом с шофером для багажа. Дошла очередь и до меня. Езда по ровным улицам, развороты, подача назад, выезд с маленькой улицы на большую магистраль, с надписью «стоп» на углу для остановки и ориентировки водителя — все это было пустяком для меня. Но вот мы поднялись на гору, развернулись и поехали вниз.

— Как остановить машину в гололедицу, чтобы ее не занесло? — спросил механик.

— Двигателем, естественно.

— Ну вот, «естественно», давай, разгони ее как следует и, когда скажу, остановишь.

Я дал газу, и машина покатила под горку, развивая с каждой секундой скорость. Спидометр показывал уже более тридцати миль в час, но механик молчал. Я начал беспокоиться: «а вдруг не срывает?» Вот на спидометре уже тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят... До перекрестка оставалось яров двести.

— Стоп! — крикнул механик.

Я сбросил газ, выжал педаль сцепления, передвинул рычаг перемены передач в нейтральное положение, нажал на акселератор так, что мотор взревел, выжал педаль сцепления, плавно и четко, без скрежета шестерен перевел рычаг перемены передач во вторую скорость и вновь отпустил педаль сцепления. Скорость движения резко снизилась. Я немедленно повторил всю операцию, перевел рычаг в первую скорость и снова отпустил педаль сцепления. Затормозив еще резче, машина стала двигаться со скоростью престарелого пешехода. Я подрулил к тротуару и остановил машину.

— О'кей! Следующий!..

Когда мы вернулись в гараж, троим из нас, прошедшим испытание, дали подписать договор — большой лист бумаги с типографским текстом. В нем было пятьдесят пунктов. Сорок девять из них гласили: что бы ни случилось с автомобилем — виноват шофер, и он должен возместить фирме все убытки. Кроме того, половину стоимости газаolina также оплачивал водитель. Это была страшная бумага, подписавший ее попадал в настоя-

щую кабалу. Но что было делать? Все ее подписывали, подписали и мы.

Нас с Бобом зачислили во вторую смену. Нам выписали табельные карточки, которые нужно было отмечать в контрольных часах в пять вечера, затем меня подвели к кладовой.

— У вас форменной фуражки нет?

— Нет.

— Получите.

Я взял ее. Это была серая шоферская фуражка.

— У меня нет денег, чтобы заплатить за нее.

— Ничего. Удержат из первой полочки...

— Сколько?

— Два доллара пятьдесят центов, — ответил кладовщик.

— Что?! Ей же красная цена полтора доллара в магазине.

— Пойдите купите!

— Но у меня денег нет!

— Как вам будет угодно. Только без фуражки на машину вас не допустят...

Фуражку пришлось взять.

Потребовалось удостоверение личности. Меня направили с письмом в какой-то отдел муниципального совета, там меня сфотографировали, с моих слов заполнили бланк удостоверения личности и дали расписаться на нем. Пока клерк заполнял бланк, фотография была готова. Ее приклеили в верхнем левом углу бланка и бланк вместе с моей фотографией снова сфотографировали. Через полчаса я получил удостоверение на руки. Это была четкая фотография бланка, вместе с приклеенной на нем моей карточкой размером в половину открытки. Надписи, печати, подписи — все было воспроизведено фотографическим путем. Кроме того в муниципальном совете мне выдали удостоверение шофера такси. Там был картонный вкладыш с перечнем утвержденных в городе тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

Первую ночь — это было в субботу — я ездил в качестве стажера со старым шофером. Он получил направление на стоянку в восточной части Монреаля.

— У нас стоянки по всему городу, — поучал меня по дороге «старик», — приезжаю на стоянку — к телефону: собственная сеть!.. Снимаю трубку, а на другом конце — коммутатор у диспетчера. Докладываю: «Номер девяносто первый прибыл. Стал восьмым на очереди». По телефону поступает заказ. Диспетчер смотрит на план города. «Сент-Кэтрин, Запад, № 3501... Ближе всего стоянка № 3». Включает ее телефон. Звонок. Первый на очереди шофер снимает трубку, называет свой номер, получает адрес. Не пройдет и трех минут — машина у пассажира. Понял? Это система!.. Я в «Стэндрд-кэб» уже пять лет... Вот это — путевой лист. Отвез пассажира — запиши. Дверку пассажиру нужно открывать не со своего места, а снаружи. Обойди машину сзади,

чтобы не мешать пассажирам, открой дверь, помоги сесть, уложи багаж... Дешевые притоны и всякие там «спик изи» и «блайнд пигс» — на Рю-Дебульон, шикарные — на Маунти-стрит...

— При чем тут притоны? — перебил я наставника.

Старик ядовито рассмеялся.

— Зеленый ты! Шофер такси должен знать весь город. Если джентльмены хотят развлечься, особенно янки, туристы — их много приезжает сюда за этим, — они обращаются к шоферу... А то пассажиров терять будешь, их мало, а такси много. Пассажира другой раз за всю смену не высидишь. Начинаешь по улицам «крейсеровать». Газолин жжешь, да и на штраф нарваться не трудно — полиция гоняет... И часто напрасно. Стоит человек, палец поднял или свистит. Ты проехал. Смотришь в зеркало — сзади такси остановилось, подобрало пассажира. А они так разбаловались, что крикнуть или руку поднять лень. Свистят, как собаке. Ну ладно, всего не расскажешь. Ты приглядывайся, учись. Придет время — сам все узнаешь.

Мы въехали на посыпанный желтым песком пустырь и стали в «хвост» машин. «Старик» подошел к телефону, висевшему на столбе, снял трубку и доложил о прибытии на стоянку. Его машина была в очереди седьмой.

С полчаса мы простояли без движения. Потом появился пассажир, и первая машина ушла. Почти одновременно зазвонил телефон. Второй шофер сообщил об уходе машины, назвал свой номер и, получив заказ, уехал. Все машины передвинулись на два места вперед, к телефону. Прошло еще минут пятнадцать, и снова зазвонил телефон. Диспетчер проверил номера последних двух машин и приказал нам ехать к вокзалу Бонавентур, к поезду. Мы проехали чуть ли не через весь город и стали в «хвост» такси у вокзала. Здесь стояли машины только нашей фирмы.

— Почему тут нет «Даймонд-такси»? — спросил я у своего наставника.

— Это наша концессия! — ответил он не без гордости.

— Какая концессия?

— Самая простая. Наша компания платит деньги администрации вокзала, по контракту, а та больше никого сюда не пускает. Вот и все. Да и наши водители чужаку такого жару зададут...

Пришел поезд. В нашу машину села целая семья.

— Куда? — спросил «старик».

— Уиндзор-отель! — важно бросил глава семьи.

До Уиндзора было два квартала, рукой подать. Но мой учитель повел машину закоулками, вывел ее на Сент-Кэтрин, поехал до Сент-Денис, поднялся до Шербрука и помчался по Шербруку на запад. Я вовремя сдержался, чтобы не выразить вслух своего удивления и не прогово-

риться. Через полчаса бешеной езды мы подкатили к отелю с противоположной стороны. Когда пассажиры ушли, «старик», видя вероятно недоумение на моей физиономии, объяснил:

— Это называется «показать город»... У шофера такси, понимаешь, парень, должен быть такой наметанный глаз, что посмотрел и видишь — знает пассажир город или он здесь чужой и ему можно «показать виды»... Понимаешь?!

Ночью нам попалась компания пьяных американцев. «Старик» выключил счетчик. И мы возили их часа три. Сначала им захотелось танцевать, а знакомых женщин в Монреале у них не было. Они потребовали отвезти их в «такси-дансинг». Такое заведение под названием «Лидо» находилось в центре города, на Сент-Кэтрин-стрит, и «старик» через десять минут остановил машину у ярко освещенного подъезда с вывеской из неоновых трубок. Пассажиры велели ждать их и поднялись в дансинг, на второй этаж.

Ночь была холодная, мой учитель потянул меня наверх погреться.

— Что такое «такси-дансинг»? — спросил я.

— Это — дансинг с платными партнершами. Нанимаешь на танец, на два, на сколько хочешь, как такси... Вот смотри, сам увидишь, — объяснял «старик», входя в зал.

Зал был перегорожен барьером. Возле него кассирша продавала билеты, отрывая их от ленты, намотанной на катушку. Каждый билет — пятьдесят центов — на один танец. Кто хотел больше, брал несколько. Здесь же, около стойки буфета, стояло несколько столиков. За ними сидели мужчины с девушками, одетыми в одинаковые коричневые платья. По ту сторону барьера играл на подмостках джаз-оркестр. По залу под звуки «блюза» сновали десятки пар, а вдоль стены выстроились в ожидании партнеров около двадцати девушек в таких же платьях.

Посетители обходили всех девушек, стоявших у стены, и бесцеремонно рассматривали их. Выбрав партнершу, гость вручал ей билеты, и они принимались танцевать.

Я видел, как некоторые посетители дансинга, вручив билеты, с ходу грубо хватая партнерш и начинали топтаться под завывание саксофона. Все девушки были красивыми или, во всяком случае, ярко накрашенные, — такими казались. Они любезно улыбались своим партнерам, но веселья здесь не было. На лицах лежала печать уныния.

Наши пассажиры танцевали. Двигаясь в танце около барьера, один из них узнал «старика» и, кивнув ему, велел ждать.

— Пойдем отсюда, — сказал я. Мне хотелось уйти от этого покутного и скучного веселья.

Мы спустились вниз, залезли в машину и закурили.

— Каждый зарабатывает кусок хлеба, как может, — глубоко затаившись, сказал наставник, будто подслушав мои мысли. — Это еще что. А вот есть мужчины — «джигало», которые промышляют такими же делами.

— Какие джигало?

— Наемные кавалеры. Есть даже специальные бюро обслуживания. Захочет какая-нибудь богатая старуха танцевать — звонит в бюро: «Пришлите мне на завтрашний вечер джентльмена лет тридцати». — «Вам какого?» — «Брюнета, ростом футов шесть и с черными глазами и чтобы он был в смокинге». «О'кей! Заказ принят! Это будет стоить десять долларов». В назначенное время является к ней джигало. Она ему платит десять долларов и сверх того дает на расходы, чтобы он расплачивался в ресторане, за такси. Отправляются куда-нибудь в кабаре, и джигало обязан любезничать со старухой весь вечер, ухаживать за нею, танцевать... Тьфу! — «Старик» сердито сплюнул.

— Лучше посуду мыть в ресторане.

— Ты прав, лучше!..

Пробыв около часа в «Лидо», наши пассажиры вышли. Но теперь они были не одни.

— Подцепили своих партнерш! — шепнул мне «Старик», а вслух произнес: — Куда?

— Где можно хорошо выпить! В ресторан!

— Сегодня суббота. Скоро — двенадцать. А в воскресенье в ресторанах вина не подают.

— Это почему же? — раздался пьяный возглас.

— «Отцы города» считают, что по воскресеньям полагается молиться, а не пить виски.

— Ну вези куда хочешь, только чтобы можно было выпить. Например, в это «слепое животное», как его, ну... в «слепую свинью». Побыстрой!

«Старик» действительно знал город. Не прошло и пятнадцати минут, как он, погасив фары, остановил машину на тихой улице, не доезжая темного особняка, обитатели которого, казалось, мирно спят. Попросив пассажиров тихонько подождать, мой наставник отправился в дом. Едва успел он постучать условным стуком — три удара, пауза, удар, — как открылась дверь в неосвещенную прихожую, и «Старик» исчез в темноте. Через три минуты он проводил пассажиров в «блайнд пиг» — «слепую свинью».

Здесь мы прождали около двух часов и затем отвезли наших пассажиров вместе с их партнершами в гостиницу «Маунт-Ройал».

При расплате «Старик» назвал сумму на глазок, счетчик он выключил еще в начале. Заметив мое смущение, когда пассажиры ушли, он сказал:

— Смотри, парень, и молчи. Честным будешь — сожрут тебя боссы с потроха-

ми... А у меня семья. Честность штука хорошая, только нужно уметь с нею хорошо обращаться. Она нужна, когда имеешь дело с честными людьми. А боссы... — и он махнул рукой, недоговорив фразу...

Наконец я самостоятельно выехал на работу. Приехал на стоянку, стал в очередь, доложил диспетчеру по телефону. Передо мною — четыре машины. Через два часа добираюсь на первое место. Звонок. Снимаю трубку, называю свой номер. Диспетчер переспрашивает, записывает и диктует мне адрес вызова. Спрашиваю у шоферов, где Грбвнор-авеню. Трое не знают.

— Давай я поеду, все равно не найдешь, — говорит четвертый.

— А ты объясни!

— Не умею...

Поехал. За углом остановился, достал путеводитель по Монреалю с планом города, разобрался, куда нужно ехать, и помчался. Названия улиц и номера домов в Канаде не освещаются. На машине — маленький прожектор с шарнирным креплением и рукояткой в кабине, у левой руки водителя. Включаю прожектор, кручу рукоятку, щупаю названия улиц на углах, номера домов. Вдруг перегорела лампочка. Приходится выходить из машины, искать и рассматривать номера домов или, вернее, дверей. Наконец нашел. Но у подъезда уже стоит машина, опоясанная белыми ромбиками — «Даймонд-такси». Шофер выносит из парадного чемоданы. Я решил было, что здесь какое-то недоразумение — прошло не более десяти минут, как я принял заказ. Выходит пассажир. Спрашиваю:

— Вы вызывали «Стэндард-кэб-такси?»

— Вызывал?.. Жаловаться буду! Ждать заставляет!.. Лишних пять минут потерял! К поезду опаздываю! На черта вы нужны, если не можете приехать вовремя?! Без-о-бразие! — Рассерженный пассажир захлопнул за собою дверку.

Пришлось вернуться на стоянку. Снова передо мною пять машин. До одиннадцати часов ночи — ни одного вызова. В одиннадцать диспетчер приказывает оставить две первых машины на стоянке, остальным ехать к «Фóруму».

«Фóрум» — закрытый стадион в западной части Сент-Кэтрин-стрит. Там и зимой и летом на искусственном льду чуть ли не ежедневно проходят хоккейные матчи.

Подъезжаем. Очередь такси всех компаний растянулась на шесть кварталов. Подбегает агент «Стэндард-кэб-такси», собирает всех наших шоферов.

— Слушайте, ребята! Как только публика начнет выходить — выезжайте вперед. Седьмой от подъезда стоит наша машина. Она заблокирует всю очередь. А вы объезжайте ее. Иначе не нагрузитесь.

Машины «Стэндард-кэб» были не только самыми старыми, но, пожалуй, и

самыми прочными во всем Монреале. Их делали, очевидно, по особому заказу. Крылья на наших «каретах» были изготовлены из толстого железа. Все шоферы это знали и всегда держались на почтительном расстоянии от наших «броненосцев».

Прошло несколько минут. Публика начала выходить. Полтора ста машин завели моторы. Чужие машины в нашей очереди подвинулись вперед. Образовался разрыв. Мы выехали из очереди и начали ее объезжать. Шоферы чужих машин гудели, ругались, грозили кулаками. Поднялся невообразимый шум. Чужие шоферы разгадали наш план и тоже стали выезжать вперед. Операция срывалась. Водитель на нашей первой машине, оценив обстановку, дал полный газ. Его приемистый мотор взревел, и машина рванулась. Чужак, пытавшийся выехать из очереди на новеньком семиместном «бюике», не успел посторониться. Раздался скрежет, скрип и треск. Наша «карета» проехала. Крыло и подножка «бюика» повисли, оборванные, изогнутые, искромсанные. Шофер «бюика», полный пожилой человек, выскочил из машины, неистово проклиная «Стэндард-кэб».

Поток наших машин пронесся мимо.

У подъезда орудовал агент компании «Стэндард-кэб». Он открыл дверку моей машины и усадил пассажиров.

Бой за пассажира в этой войне-конкуренции между компаниями и бесчисленными карликовыми артелями такси был выигран фирмой «Стэндард-кэб».

За ночь удалось сделать еще две ездки, а затем пришлось дремать на стоянке. Только часа в четыре утра раздался телефонный звонок, и диспетчер отправил нескольких шоферов, в том числе и меня, в порт, — в шесть утра приходил океанский лайнер из Европы.

Когда мы приехали, у причалов «Канэдиан Пасифик» вытянулась уже огромная очередь такси. Здесь поблизости не было ни автобусов, ни трамваев, такси были единственным способом сообщения для пассажиров с багажом. Поэтому все мы, алчущие пассажиров, съехались сюда за два часа до прихода лайнера.

Было темно и холодно. Чтобы согреться, шоферы собирались по несколько человек в одну машину. Я залез в соседнее такси. Водители журили, болтали, рассказывали анекдоты. Кто-то, сверкая в темноте красным огоньком раскуренной сигареты, восхищался мощью Св. Лаврентия, по которому на тысячу миль от океана к Монреалю поднимаются огромные океанские корабли. Здесь я узнал, что поездка с пароходными пассажирами считается самой выгодной. Океанские путешественники, как правило, везут с собою сундук или большой чемодан, который не помещается в машине. Его привязывают на переднем буфере. Счетчик не отражает наличие сундука, а мы имеем право брать за него отдельно пятьдесят

центов. Вот эти деньги и являются чистым дополнительным заработком шофера. Поэтому шоферы всегда с радостью отправляются в порт встречать пароходы.

Прошло около часа. Мы вышли из машины и стали топтаться, разминая ноги. Кто-то предложил сходить в таверну «Нептун», выпить по чашке кофе, и мы всей гурьбой отправились туда. Я вспомнил, как мне пришлось заплатить здесь три доллара пять центов за стакан воды, и рассказал об этом шоферам. Все громко рассмеялись.

— Здесь ловят фраеров,— сказал один из таксистов.

— Я бы душил этих мерзавок собственными руками,— заявил второй водитель, бывший профессор математики.— Подлость!.. Терпеть не могу подлости...

— Ты легче на поворотах! — воскликнул третий.— Если Мери или Нелли не станут этого делать,— их выгонят. Босс наймет Хэллен или Долли на их место. Бездомных и безработных девчонок тысячи.

Мы вошли в таверну и заняли столик. К нам подошла официантка. Все заказали по чашке кофе и по порции «тооста» — хлеба, поджаренного на огне, смазанного маслом и присоленного.

— Понимаете,— продолжал шофер, заступивший за девушек,— дело не в Мери. Вся беда в системе. И чем скорей мы это поймем, тем лучше...

Вскоре пришел и отшвартовался океанский теплоход. Это была «Дючес ов Йорк» — «Герцогиня Йоркская» — одна из серии «герцогинь», принадлежащих Канадской Тихоокеанской паровой компании, филиалу одноименного железнодорожного концерна. Наш профессор рассказал, что этот концерн является фактическим хозяином Канады. Ему принадлежат земли вдоль всей трансканадской дороги, угольные шахты, золотые рудники, электростанции, судостроительные и газовые заводы, крупнейшие гостиницы и элеваторы. А двенадцать из его двадцати двух директоров являются одновременно директорами основных банков...

Всем нам хватило пассажиров. Мне попался один с сундуком, я по всем правилам заработал на нем полтинник и, довольный, вернулся в гараж.

В следующий вечер нас снова послали к «Фóруму». На этот раз там не было матча, а все рода канадских войск демонстрировали свое искусство в честь какого-то праздника. Мое внимание привлек выходивший со стадиона отряд молодых выхоленных парней в какой-то особенной форме. На головах у них вместо фуражек были круглые твердые шапочки, державшиеся с помощью ремней, точно такие, какие носят лифтеры и «беллбойс» — рассыльные. Я спросил у шоферов, что это за войско.

— Это не войско,— ответил один из водителей,— это кадеты частного Кингс-

тонского военного училища. Маменькины да папенькины сынки.

— Как? Военное училище — частное?

— Да, это частное училище. Платное. Чтобы туда не лез всякий Дик и Гарри.

— Частное?.. Военное?..

— Да что ты удивляешься? С луны свалился?!

— Не с луны, я из Советского Союза.

Меня стали засыпать самыми различными вопросами. Наша беседа затянулась бы надолго, но начала выходить публика, и все водители разбежались по машинам.

Сделав езду с пассажирами из «Фóрума», я направился на ближайшую стоянку. На улице меня остановил человек и попросил отвезти его на железнодорожную станцию «Уэстмаунт», в западную часть города.

— Как душно! — воскликнул он и опустил стекло в дверке.

Я отвез его. Он расплатился, вышел из машины и хлопнул дверью.

Больше пассажиров в эту ночь у меня не было.

Вернувшись в гараж, я сдал машину. Дежурный механик, заметив опущенное стекло, поднял его. Оно оказалось разбитым.

— В этих «гробах» прокладки в окнах ни к черту! — сказал механик.— Никогда не закрывай дверь с опущенным стеклом, браток.

...Прошла неделя. Были смены, когда за всю ночь мне не приходилось делать ни одной ездки.

Наступила суббота — день полочки. Кассир выдал мне аккуратенький конвертик, в котором вместо денег лежал листок бумаги с расчетами. По ним вышло, что я еще должен 1 доллар 94 цента. Не веря своим глазам, трижды перечитал его.

Возмущенный, я побежал в кабинет менеджера.

— Мне же жить нужно!.. Я же не виноват, что в ваших машинах плохие прокладки и бьются стекла. Сам механик говорит...

— Не нравится? — улыбаясь одними глазами, тихо произнес менеджер.— Мы вас не задерживаем...

— Я же с голода подохну! Хоть что-нибудь есть мне надо?

— Ах так, ты меня агитировать! Большевик! Убирайся туда, откуда приехал! — сказал менеджер, зло стукнув ладошкой по столу.

Я не уходил.

— Ты здесь больше не работаешь!.. Внеси два доллара.

— Отдайте мои деньги!

— Пошел во-о-он!!! — истерически завопил менеджер.

Я хлопнул дверью и вышел. Жаловаться было некому.

ГЕРМАНСКО-КАНАДСКИЙ КЛУБ

Передо мною снова вырос призрак голода. Поиски работы ничего не давали. Я находился в состоянии «даун энд аут», как говорят безработные в Америке, когда доходят «до ручки». Это выражение, заимствованное, очевидно, из терминологии бокса и означающее «сбитый с ног и выбитый из игры», как нельзя лучше характеризует положение человека, выбитого из колеи жизни.

Выручила меня артель маляров. Недели три я проработал на ремонте частных квартир. Но не успел освоиться со своим новым положением, как вновь остался без дела: очень многие безработные организовали подобные артели, и у нас появилось слишком много конкурентов, а работы почти не было.

Однако на этот раз мне повезло. Один из членов артели познакомил меня со своим приятелем, владельцем и шофером автомобиля-такси. Это был канадский француз, мсье Моруа, толстый старик, свирепый на вид, но в действительности добродушный. Моруа вместе с несколькими владельцами машин организовал артель шоферов такси. Они назвали ее «Монреаль-такси» и избрали своей эмблемой национальную эмблему Канады — пятиугольный кленовый осенний багряно-золотой лист. Электрические фонарики в виде такой эмблемы украшали машины. Члены артели сами работали на своих машинах, работали и днем, и ночью. Точнее говоря, сутками торчали на стоянке на углу Шербрук-стрит и Джин-Мэнс. Домой члены артели заезжали только пообедать, умыться и переодеться. В погоне за редким пассажиром вся их жизнь протекала в машине.

Старику Моруа вести такой образ жизни стало тяжело, и он решил взять себе сменщика на ночное время. Так я попал в «Монреаль-такси».

Условия работы были такими же, как и в «Стэндард-кэб», за исключением того, что здесь не удерживали с шофера 50 процентов стоимости газаolina. Да и фуражка у меня уже была. Но «Монреаль-такси» не располагал такой клиентурой, рекламой и штатом, как «Стэндард-кэб», и имел лишь одну стоянку. Поэтому у нас было больше холостых пробегов, бесплодных ожиданий пассажиров. В основном, каждый шофер должен был сам заботиться о пассажирах, надеяться на диспетчера не приходилось — у нас его не было. У нас не было даже собственного помещения. Наш телефон помещался на окне маленькой парикмахерской. Когда никого из нас не оставалось, аппарат через форточку переносился на внутренний подоконник и на телефонные звонки отвечал парикмахер, который тоже не был перегружен работой и рад был получить

за это хоть какие-нибудь гроши от артели.

Шоферам не разрешалось лишний раз заходить в парикмахерскую, «чтобы не отпугивать клиентов», как говорил ее хозяин. Но парикмахер оставлял мсье Бату ключи на ночь, и мы иногда могли зайти в парикмахерскую, чтобы напиться воды или даже чуточку согреться, с условием не зажигать свет. Мсье Бату — один из членов артели, шофер и владелец нового «гудзона», — пользовался привилегией и мог бывать в парикмахерской когда угодно, так как в этом же доме и жил и, чтобы прокормить семью, работал по совместительству «джэпитором». Буквально это означает «привратником». Однако Бату приходилось мыть полы коридоров и других мест общего пользования этого трехэтажного дома, а также подметать двор. Поэтому трудно подобрать название для определения его второй должности.

Нельзя, однако, сказать, что у нас совсем не было клиентуры. В больнице королевы Виктории, на горе Маунт-Ройал, на артель работал швейцар. Когда ему приказывали вызвать такси, он всегда звонил нам. За это любой из нас, подехав к больнице, должен был вручить ему «дайм» (гривенник). А вся поездка иногда приносила только двадцать пять — тридцать пять центов. Кроме того, у артели были две «концессии» — исключительное право стоянки у подъездов двух ночных клубов. Один, считавшийся американским — «Вашингтон-клуб», находился в самом центре города, около гостиницы «Маунт-Ройал». Другой — «Германско-канадский клуб» помещался на Шербрук-стрит, поблизости от нашей стоянки.

Не знаю, почему эти ночные заведения назывались клубами. От кабары они отличались лишь тем, что вход был доступен только членам клуба и лицам, следовавшим с ними. Да еще как заведения, недоступные широкой публике, клубы имели право торговать спиртными напитками после двенадцати ночи в субботу, то есть по воскресеньям, когда в Канаде полагается молиться, а не пьянствовать. Во всем остальном это были обычные коммерческие предприятия.

Однажды в полночь меня послали к «Германско-канадскому клубу». Я приехал туда третьим и долго стоял без дела. В два часа ночи в мою машину села танцовщица, выступающая в клубе, и я повез ее домой. Шоферам нравилась эта миловидная скромная девушка. Она уезжала в одной из наших машин домой всегда одна, несмотря на работу в «веселом» заведении. Мы знали, что она содержит старую больную мать, и это невольно вызывало к ней теплое отношение, — у каждого из нас была мать. «Выходит, дело в человеке, — говорили шоферы, — а не в месте, где он работает. Другая будет служить учительницей в монастырской женской школе, а сама...» Только старику Моруа не соглашался с

нами, вызывая всеобщее негодование своим цинизмом.

— Придет и на нее свой черед,— говорил он.— Тогда вспомните старика!.. Работать здесь и не испортиться — невозможно. Здесь и ангел станет чертом...

Моя пассажирка жила далеко на рабочей окраине, в районе заводов и железнодорожных товарных станций. Я отвез ее домой и через полчаса возвращался на стоянку.

— Такси!.. Стой!..— размахивая рукой, закричала высокая худая старуха, выбежавшая из темноты в полосу света фар.

«Везет сегодня!» — подумал я, тормозя.

Старуха ввалилась в машину. Я включил счетчик.

— Подождите, там моя собака,— закричала она и икнула. У машины действительно появился огромный мохнатый пес. Это был сенбернар.

— Собака! Иди сюда! — звала ее старуха.

Пес виляя хвостом, повизгивал, но в машину не входил. Это продолжалось минут пять. Я хотел трогаться с места.

— Я не могу ехать без собаки,— прогнусила старуха, икая и обдавая меня винным перегаром.

Она вышла из машины, чтобы втащить пса. Собака отбежала в сторону и уселась, визжа и еще сильнее виляя хвостом. Женщина, покачиваясь, направилась к ней. Собака ждала, пока женщина совсем приблизится к ней,— и сделала несколько прыжков в сторону. Несколько раз пьяная старуха падала, но, подымаясь, снова просила:

— Собака, собачка, поди сюда!..

Мне надоела эта канитель, и я бы уехал, если бы не был включен счетчик. На нем было уже пятьдесят пять центов. Поэтому я вынужден был ждать и угаривать пассажирку. Однако она ни в какую не соглашалась уезжать без собаки. «Если она не поедет теперь и счетчик будет продолжать щелкать, то вряд ли старуха сумеет расплатиться»,— решил я.

— Садитесь, не то уеду!.. Пес, вероятно, побежит за нами...

Старуха разразилась потоком грязной брани и уселась в машину.

Несколько раз она заставляла останавливаться, чтобы подождать пса, но его и след простыл.

Я затормозил у домика, указанного старухой, на темной узкой улочке в районе порта.

— Подождите здесь. У меня с собой нет денег... Сын сейчас заплатит...

Старуха поднялась на крыльцо. Боясь потерять деньги, я последовал за нею. Старуха открыла английский замок, вошла и попыталась захлопнуть дверь перед самым моим носом. Но я вовремя вставил ногу, навалился на дверь и вошел. Меня мучила только одна мысль — не дать пьяной старухе убежать от уплаты полутора долларов, которые я должен

был внести старику Моруа при сдаче машины. Пассажирка пробежала по темному коридору и скрылась за одной из дверей. Оттуда раздалась брань.

— Гаддэм сан-ов-э-битчи! Чего пристал ко мне? Пошел вон отсюда!

Вслед за этим я услышал скрип двери и тяжелые мужские шаги в коридоре. Ко мне подошел человек. К этому времени мои глаза привыкли к мраку, и я разглядел плотного, коренастого мужчину лет сорока.

— Тебе что нужно?

— Я привез старую леда, а она откачивается...

— Никого ты не привозил!.. Нет здесь никакой леда!.. Пошел вон и чтоб я тебя больше не видел!..

В это время старуха снова выругалась за стенкой.

— Да вон... вон она ругается! — возразил я, обрадовавшись тому, что она подала голос.

— Негодяй!.. Ворвался ночью в чужой дом и еще скандалит! Вот я тебе покажу! — зарол он, замахиваясь на меня дубинкой. Я перехватил ее в воздухе. Мужчина тут же левой рукой ударил меня по лицу. Я толкнул его коленом в живот и вырвал дубинку.

— Эй, Дик! Чарли! Сюда! — закричал противник, схватив меня за горло.

В коридоре послышался топот. Я бросил дубинку, обеими руками поддел напавшего под подбородок и со всей силой оттолкнул его. Он ударился головой о стену и упал. Все это произошло в какие-то доли секунды. Я выбежал из дома, вскочил в машину, дверка которой оставалась открытой, и поехал. Только теперь я оглянулся на своих преследователей. Их было трое. Они бежали, ругаясь и размахивая руками. Что-то блеснуло в руке у одного из них и тотчас с грохотом ударило по крыше машины, осыпавшись с нее стеклянным дождем. Очевидно, это была бутылка.

«Счастье мое, что не глушил мотор»,— подумал я, отъехав квартал, и облегченно вздохнул.

На стоянке я рассказал шоферам о приключении.

— Зеленый! Сразу видно. Кто же так делает? — сказал Бату.— Не платит пассажир — в полицию его! А ты уши развешил, поверил, поперся в дом. Да тебя там могли так покалечить, что родная мать не узнала бы. Легко отделаюсь...

— Ну, я сейчас поеду в полицию.

— Теперь поздно. Туда нужно с пассажиром. Станет полиция врываться в дом по твоему желанию! — проговорил Бату, снисходительно поучая меня.— Это не так просто. «Мой дом — моя крепость!» — говорят англичане. Понимаешь? Нужен специальный ордер за подписью прокурора. Да ты и не можешь доказать, что тебе не давали. Попробуй докажи!.. — Бату любил пофилософствовать и

¹ Богом проклятый сукин сын.

теперь завел разговор до конца смены.

Прошло несколько дней. Я снова стоял первым у подъезда «Германско-канадского клуба» в два часа утра, когда оттуда вышла «наша» девушка-танцовщица. Она, как всегда, была одна. Но, к моему удивлению, растерянно взглянув на машины, пошла пешком, застучав каблучками по пустынному асфальту тротуара. «Наверное нет денег,— подумал я.— И одна в такой час!..»

Не раздумывая о потере очереди и необходимости заплатить за езду хозяину из собственного кармана, я завел мотор и догнал девушку.

— Отчего сегодня пешком, мисс? — спросил я, двигаясь рядом с нею.

— Нет денег! — просто ответила она.

— Садитесь!

— Я же сказала — нет денег.

— Довежу и так. Разве можно одной в такой час, в такую даль.

— Как же так, без денег? — проговорила она, усаживаясь на заднее сиденье.

— Когда-нибудь отдадите.

— Ну... я даже не знаю, как вас благодарить...

— И не надо.

— Спасибо!

Прошла неделя. Снова стоял я первым в два утра у «Германско-канадского клуба», когда должна была ехать домой «наша» танцовщица. Прошло минут двадцать, а девушка не показывалась.

— Вон она идет, сестренка! — сказал вдруг один из наших водителей, Жан Вобье, заметив ее на освещенной лестнице клуба.

Девушка вышла на тротуар, и водитель открыл дверку. Но она была не одна. Какой-то тип лет пятидесяти грубо держал ее под руку. Девушка, не посмотрев даже в нашу сторону, вместе со своим кавалером прошла по тротуару и стала подниматься в меблированные комнаты, помещавшиеся рядом.

— И она! — зло хлопнув дверкой, выругался Жан. — Прав был Моруа, старый черт!.. Тьфу!..

Второй водитель, седой и угрюмый Джером Уотерс, молча отвернувшись, достал сигарету, поспешно размял ее, зажег спичку. Его рука вздрагивала...

— Такси? — воскликнул Жан при виде компании, выходящей из подъезда клуба. — Он открыл дверку, в машину сели две дамы в дорогих мехах и солидный мужчина.

— Куда? — спросил я, включая мотор и счетчик.

Одна из дам назвала адрес в районе порта, и мы помчались. Пассажиры — дамы навеселе, пьяный мужчина — непринужденно болтали о проведенном вечере.

— Ревю было чудесным, просто изумительным, не правда ли, Генри, милый? — прошептала приятным голосом одна из дам. — Очень симпатичный клуб. Я в восторге от него. И как это я могла до сих пор не бывать в нем?

— О, да! — отвечал Генри, — только.. Ха! ха! ха!.. я остался без денег. Боюсь, что не наскребу расплатиться с шофером.

— Что-о?.. — завопила та же дама неузнаваемо изменившимся голосом. — Как-ов он? А? Немецкая свинья! Нет, ты только подумай, Джесси, знает, что без денег, а туда же лезет! Собрался ехать ко мне. Подлец! Нет! — восклицала она, хотя ей никто не возражал, — подумать только, какой мерзавец! И молча увез нас оттуда, когда там было еще полно джентльменов... с деньгами. Нет, порядочная канадская женщина этого не позволит! Можешь ехать к жене, домой...

Когда мы приехали и женщины вышли, мужчина стал их просить взять его с собой. Но дамы не вняли его мольбам.

— Куда теперь? — спросил я, захлопнув дверку за дамами.

— Шербрук-стрит, — нерешительно промямлил пассажир.

Я доставил его на Шербрук, восточнее Сент-Лоуренс, и остановил машину.

— Знаете... у меня нет денег. Приходите завтра в клуб, я вам заплачу.

«Ну нет, — решил я про себя, — больше меня не обманут!» И сказал:

— Платите деньги или поедem в полицию.

— Не поеду в полицию! — произнес он с упрямством пьяного и решительно стал выкарабкиваться из машины.

«Второй случай, — подумал я. — Нет, от меня не уйдешь!»

Толкнув его на сиденье, я включил скорость и поехал в ближайший полицейский участок или, как их называют в Канаде, на полицейскую станцию.

Сонный дежурный, выслушав меня, посмотрел на пассажира и засмеялся, отказавшись что-нибудь предпринять.

— Сам упрямись!.. Здоровый черт, а полицию беспокоит.

Негодую на себя, на полицию и на пассажира, я напряженно старался что-нибудь придумать. Спросив у немца домашний адрес, я повез его домой. Счетчик показывал уже около трех долларов. Ехать пришлось далеко, в дальний конец Ван-Хорн-авеню.

Когда мы подъезжали к его дому, очевидно несколько протрезвившись, он сам пришел мне на помощь.

— У меня жена, дети... Пожалуйста, не будите их. Возьмите мои золотые часы в залог, а завтра я их выкуплю.

Я так и сделал, оставив ему расписку с указанием номера машины.

Не успев я вернуться на стоянку, как меня окружили шоферы.

— Ты что же наделал?!

— Нам из клуба покоя не дают. Уже три раза звонили. — Мсье Бату, выполнявший обязанности старшего, подошел к моему «бьюику».

— Давай сюда часы! Это лучший клиент клуба. Пятьдесят долларов оставил за вечер!.. Целый скандал! Из-за тебя грозят концессию отобрать. Подожди, узнает старик Моруа, выгонит тебя...

— А я откуда знал? — сказал я, вручая часы. — Четыре доллара восемьдесят пять центов, не забудь!.. Когда старуха не заплатила, сами же орал: «В полицию нужно!».. Черт вас разберет!..

Я скорчился на заднем сиденье, в надежде подремать немного до прихода старика Моруа. Но сон не приходил. Из головы не выходил сегодняшний случай, случай со старухой, а потом нахлынули мысли о доме, о Харькове, о товарищах. Вспомнилось полученное сегодня от Женьки Коржикова письмо. Он кончил техникум и работал на строительстве в Армении, путешествовал по Кавказу. В письме были фотокарточки с видами Кавказа и строек, на которых Женька работал. Включив свет, я достал из кармана письмо, снова перечитал его и пересмотрел снимки. Вот он, возмужалый, на фоне завода, а вдаль Арарат. Вот, в горах Армении, купальня для рабочих комбината, которую он строил. Чудесный бассейн для плавания, утопающий в зелени лесов. Вот горное ущелье. Читаю на обороте: «Чегемское ущелье. Вдали виден Безенгиевский ледник (самый красивый в Европе)...» Дорога, высеченная в горах. А вот любимое мое Черное море. Окрестности Батума. Цихис-Дзир. Бухта, пляж. Море, спокойное как зеркало. И на последнем снимке — «девятый вал», — как написал Женька на обороте, — морской прибой. Зорька, Радик, Мишка, Женька — все они учатся, строят, путешествуют по нашей необъятной Родине, отдыхают в горах Кавказа и на берегу Черного моря... А я?..

«Так что же мне делать?» — мучительно думал я.

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Пока я неделю сидел в тюрьме — не столько за стоянку у кино «Палас», где нам нельзя было находиться, сколько за отстаивание в суде права шоферов такси искать пассажиров, права на работу и хлеб, — мое место в «Монреаль-такси» оказалось занятым, и я снова вынужден был искать работу.

Меня снова потянуло на Шербрук-стрит, на стоянку «Монреаль-такси», узнать, не нужен ли еще шофер кому-нибудь из владельцев машин, членов артели.

К моей радости, шофер от старика Моруа ушел, — говорили, он уехал к родственникам на ферму, — и старик подыскивал себе работника на ночную смену. Мы тут же договорились, и уже вечером я должен был сесть за руль. У меня снова была работа! Какое счастье!

Работал я по ночам, а часто и днем, когда старый Моруа болел. Но не всегда удавалось заработать даже на обед. Спать домой я уходил в свободное время, днем, а если не было возможности, спал в машине на заднем сиденье обычно после трех часов утра.

Осень стояла холодная, рано установилась зимняя погода, старик Моруа все чаще болел, и мне нередко приходилось сутками находиться на работе. Систематически недосыпая и замерзая в старом «бюике» на улице, я изголодался по сну и готов был свалиться и заснуть где, когда и как угодно, даже сидя или стоя. И однажды задремал даже на ходу, возвращаясь домой.

Вскоре наступил канун рождества. Магазины на шикарной Сент-Кэтрин-стрит разукрасились вечноезеленым падулом, с ярко-красными ягодами на фоне темных, будто лакированных узорчатых листьев, и елочными игрушками. На улицах чувствовалось оживление, но очень немногие покупали подарки и вкусные вещи к празднику.

На каждом углу Сент-Кэтрин, от Гай до Сент-Деннис-стрит, у фанерных макетов кирпичных труб, с чугунными котлами над ними, стояли белобородые «санта-клаусы» — английские деды-морозы. Это были наряженные представители Армии Спасения. Неистово звеня звонками, они угovarивали прохожих жертвовать на бедных. Всюду появились нищие. Это, конечно, были нищие в respectableм англосаксонском духе, патентованные нищие, с патентом на право «мелкой уличной торговли», за который они платили налог, позволявший им сидеть на тротуарах, положив перед собой шляпу с несколькими замызганными карандашами. или коробками спичек.

Но ни в коты санта-клаусов, ни в шляпы нищих «торговцев» не попадало денег, за исключением редких медяков. Те, которые могли бы дать, не ходили пешком и не видели нуждающихся в милостыне из своих комфортабельных «паккардов», «линкольнов» и «кадиллаков». А те, которые ходили пешком, сами были бедны.

У англосаксов рождество — самый большой праздник в году. Для шоферов такси ночь под рождество означала непрерывную гонку и заработок долларов в восемь — десять. Это — совсем незначительный заработок, но для нас в годы кризиса он был рождественской сказкой. Во всяком случае в ту ночь водители не торчали на стоянках в нудном ожидании пассажиров. На миллион монреальского населения находилось несколько тысяч человек, которые могли позволить себе в эту ночь взять такси.

С наступлением холодов у меня заболел зуб. Я долго откладывал визит к врачу — не было денег. Наконец я совершенно измучился за неделю почти непрерывной зубной боли, а тут еще, как назло, в канун рождества Моруа снова заболел, и мне пришлось работать за него весь день. Больше терпеть не было сил. В надежде на рождественский заработок я взял у шоферов два доллара в долг и, сделав очередной рейс, попутно заехал к зубному врачу. Осмотрев зуб, врач нашел его очень хорошим и предложил за-

пломбировать. Это стоило шесть долларов, но у меня их не было.

— А сколько стоит вырвать этот проклятый зуб? — спросил я, сидя в кресле.

— Два доллара! — ответил дантист.

— Рвите!

— Но ведь это совершенно здоровый зуб. Рвать такие зубы — преступление...

— Рвите!..

— Этак вы все зубы растеряете, молодой человек! Я решительно утверждаю — вы хотите заставить меня вырвать прекрасный зуб, молодой человек! Я вам его вылечу за неделю!..

— У меня нет больше денег, — тихо произнес я, втайне надеясь, что этот симпатичный человек предложит вылечить мой зуб в кредит.

— Что же вы сразу не сказали? — перебивая меня, произнес врач таким сочувственным тоном, что я обрадовался. И быстро удалил зуб.

Вернувшись на стоянку, я почувствовал себя совершенно разбитым. Хотелось хотя бы немного поспать, особенно перед этой напряженной ночью, чтобы не заснуть за рулем.

Стоянка такси находилась у самой парикмахерской. Вход в нее, вместо вывески, обозначали два столба, обвитые красно-бело-синими полосами, как исстари ведется у англосаксов. Но, в отличие от старинных вкопанных в землю резных деревянных столбов, здесь были стеклянные, освещенные изнутри символические столбики на кронштейнах. Они вращались, витые полосы змейками ползли вверх, беззвучно зазывая прохожих, словно повторяя тремя своими цветами: «Побрить? Постричь? Заходи! Побрить? Постричь? Заходи!..»

Я давно не стригся, зарос, как монах, заодно нужно было побриться. Моя машина была в хвосте. Попросив шоферов присмотреть за нею, я спустился в подвал. Мастер был невысок ростом, поэтому, быстро почистив затылок электрической машинкой, нажал на рычаг, наклонил кресло в полугоризонтальное положение и начал обрабатывать меня, вращая кресло нажатием ноги на педаль. В парикмахерской было жарко. Я разомлел и тут же уснул, точно провалился куда-то...

Казалось, не успел я и глаза закрыть, как мастер меня разбудил:

— Готово!

Так не хотелось мне пробуждаться, подниматься с удобного кресла, уходить из уютного помещения на холод.

«Эх, были бы у меня деньги, — размышлял я, нехотя одеваясь, — я бы заплатил ему за день работы, лишь бы выспаться в кресле...»

В это время в парикмахерскую вскочил Бату.

— Эй, ты, не зевай!.. Пассажиры! Твоя очередь. Сегодня — успевай только поворачиваться, — прокричал мне Бату и вышел.

Я выбежал на улицу. Пассажиры уже сидели в машине, и я сразу уехал с ними.

Вечером зажглись, замигали, завертелись разноцветные вывески, рекламы, лампочки на витринах, на елках. В безветренном воздухе, после оттепели, медленно опускались хлопья снега, тая на асфальте, припудривая выступы зданий.

После нескольких коротких поездок, часов в десять вечера, мне попала компания из пяти католических попов. Все они были в черных пальто и сутанах, в черных шляпах с огромными твердыми полями, с большими черными зонтами. Все, за исключением одного, были толстыми и весьма почтенного возраста. «Святые отцы», уже отдавшие дань Бахусу, весело болтали между собою по-французски. Они были довольны, узнав, что я не владею этим языком. На пустынной, словно вымершей Рю-Дебульон пассажиры приказали остановиться у темного маленького дома с закрытыми ставнями и дожидаться, а сами ушли.

Я прождал больше двух часов и замерз.

На улице было холодно и сыро, пошел дождь, переходящий в снежную крупу. Сначала я радовался, что счетчик каждые три минуты отсчитывает по десять центов. Но потом начало закрадываться подозрение. Когда сумма перевалила за пять долларов, я заерзал на сиденье, как на иголках, и направился в дом.

На мой стук дверь открыла женщина в белом халате.

— Они скоро выйдут, — сказала она с сильным французским акцентом, сдерживая смех. — Таким здесь долго делать нечего. Получат удовольствие и уйдут... Может, согреться хочешь? Пройди вот сюда, посиди. Только чтобы они тебя не видели...

Я прошел вслед за нею в теплую ярко освещенную комнату. Хозяйка была полной женщиной лет пятидесяти. Лицо ее, густо намазанное белилами и румянами, хранило следы былой красоты. Усадив меня в кресло, она вышла. Я осмотрелся. Это была гостиная, уставленная мягкой мебелью и увешанная литографиями с изображением обнаженных женщин. В кресле и на диване, развываясь, сидели, перелистывая американские киножурналы, три молодые женщины. Одна из них была в купальном костюме, прикрытом легкой кашемировой шалью с длинной черной бахромой, другие — в распахнутых пестрых разноцветных кимоно, наброшенных на нижнее белье.

Женщины осмотрели меня и безразлично отвернулись, углубившись в журналы.

Мне было как-то неловко в этой непривычной для меня обстановке, все же я немного отогрелся и, выкурив сигарету, вышел на улицу.

Вскоре мои пассажиры выкатились из подъезда, как черные шары, и, усевшись по местам, стали наперебой рассказывать что-то друг другу.

— Куда теперь? — спросил я.

Мне назвали адрес в нагорной части

аристократического района — Уэстмаунта. На Шербрук-стрит пассажиры подсказали, где повернуть направо, в гору.

После дождя начало подмораживать. На мостовой образовался гололед. Мы никогда не выезжали со стоянки в гололед, не надев на колеса цепи противоскольжения. Но сегодня, в теплынь, я не мог предусмотреть гололед, а теперь, хоть цепи и лежали под сиденьем, автомобиль останавливать было нельзя: никто не станет ждать, пока шофер возится с машиной.

Мы поднялись на три четверти горы, и машина забуксовала. Я прибавил газу, мотор взревел, колеса завертелись быстрее, но старый лимузин вперед не двигался. Переключил скорость на низшую. Не помогло. Прошла минута, и машина начала сползать назад. Тормоз на льду был бесполезен. С каждой секундой скорость скольжения машины нарастала.

Пассажиры, испугавшись, начали вопить истошными голосами. Они требовали немедленно остановить машину, угрожая всевозможными земными и небесными карами и, наконец, мордобоем.

Меня самого охватил ужас, спина покрылась холодным потом. Я представил себе, что произойдет, если мы спустимся на Шербрук с его напряженным движением, на красный свет светофора. Нас неминуемо шибут автомобили, автобусы или трамваи, которые лавиной мчатся на открытый им зеленый свет, волною перекатывающийся от одного перекрестка к другому. Я растерялся, не зная, что предпринять. А машина скользила вниз все быстрее. «Что делать? Что делать?» — Сверлило мозг.

И вдруг меня осенило. С риском сорвать зубья шестерен, я включил задний

ход и дал газ. Автомобиль еще быстрее покатился вниз. Мои пассажиры совсем обезумели и со всей силой застучали в стекло перегородки. Но теперь колеса именно катились, а не скользили, и поэтому постепенно ведущие колеса вновь обрели сцепление с дорогой. Машина снова стала послушной рулю. Я подвел ее вплотную к тротуару. Скрежетнув шинами колес о его бордюр, машина остановилась, не доехав шагов сорок до перекрестка.

Пассажиры, браня меня, вышли из машины. Я пытался объяснить им, что произошло, но они, не отвечая, стали уходить.

— Господа! Вы забыли заплатить! — крикнул я. — Семь долларов восемьдесят центов!..

— За что? За то, что чуть не убил нас, перепугал и не довез?

Я не мог позволить им уйти. Это означало потерю почти восьми долларов. Где мне взять такую сумму, когда за неделю я не зарабатываю столько.

— Ведь осталось всего три квартала! Я же не прошу за них!.. Только то, что на счетчике... — умолял я, судорожно вцепившись в пальто самого высокого.

— Сын мой! Как ты смеешь?! Убери сейчас же руки! — визгливо завопил он.

— Заплатите мне деньги!! — каким-то чужим голосом твердил я. — Заплатите...

На темной улице не было ни души. «Святые отцы» схватили меня за руки, за горло, потными руками уперлись мне в лицо. Двое из них ручками зонтов, как крюками, в разные стороны потянули меня за ноги. Обессиленный неравной борьбой, я упал. Переступив через меня, они ушли, не заплатив ни цента.

Ночь под рождество, такая долгожданная ночь, прошла...

Москва

Для нашей семьи

Июль

ЧТО НОВОГО НА НАШЕЙ КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Альберт Рис Вильямс. О ЛЕНИНЕ И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Госполитиздат. Москва. 1960. 287 стр. Цена 5 руб. 50 коп.

Автор книги — американский журналист, который в середине 1917 года приехал в Россию и стал очевидцем свершения Октябрьской революции и становления советской власти. В своей книге он рассказывает о В. И. Ленине, с которым встречался в повседневной жизни и работе.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. Краткий биографический очерк. Госполитиздат. Москва. 1960. 159 стр. Цена 2 руб.

В этой книге коротко рассказывается об основных этапах жизни и деятельности В. И. Ленина.

ГОРОДА, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО НА КАРТЕ. «Советская Россия». Москва. 1960. 372 стр. Цена 5 руб. 15 коп.

Сборник очерков писателей и журналистов, показывающих рождение и рост городов, которые возникли после войны.

Л. И. Лиходеев. ВОЛГА ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ. Веселый разговор о серьезных вещах. Госполитиздат. Москва. 1960. 126 стр. Цена 1 руб. 50 коп.

Из этой книги читатель узнает, как изменилась великая русская река, какие «моря», новые города, индустриальные центры возникли на ее берегах.

Ф. И. Панферов. О МОРАЛЬНОМ ОБЛИКЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 64 стр. Цена 90 коп.

В брошюре рассказывается как о чертах нового, появляющихся в нашем быту, так и о пережитках старого, с которыми еще приходится сталкиваться и бороться.

ТУДА, ГДЕ ТРУДНЕЕ. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 160 стр. Цена 1 руб. 85 коп.

В книге собраны очерки писателей и журналистов о Герое Социалистического Труда Валентине Гагановой и ее последователях.

В. Чичков. ЗАРЯ НАД КУБОЙ. Издательство Института междуна-

родных отношений. Москва. 1960. 126 стр. Цена 2 руб. 70 коп.

В брошюре повествуется о по-

ездке автора на Кубу в тот момент, когда на острове развернулись революционные события.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

И. А. Бартенева, И. М. Козлов, В. Е. Муштаков. СМОЛЬНЫЙ. Лениздат. Ленинград. 1960. 79 стр. Цена 65 коп.

Этот очерк знакомит читателя с историей Смольного — памятника революции и памятника русского народа.

Сергей Голубов. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 367 стр. Цена 7 руб. 65 коп.

Книга о жизни одного из участников восстания декабристов — писателя Бестужева-Марлинского.

В. В. Готлиб. ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Перевод с английского. Соцэкгиз. Москва. 1960. 603 стр. Цена 14 руб. 35 коп.

Из этой книги, составленной на основе документов, материалов секретной переписки, дневников и мемуаров дипломатов, читатели узнают о борьбе империалистических держав за вовлечение Турции и Италии в войну.

В. В. Данилевский. НАРТОВ. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 173 стр. Цена 4 руб. 25 коп.

Книга о жизни и деятельности русского ученого, инженера-изобретателя, создателя первой русской школы механиков — А. К. Нартова.

Н. Кондратьев. НАЧДИВ ЖЕЛЕЗНОЙ АЗИН. Воениздат. Москва. 1960. 210 стр. Цена 4 руб. 20 коп.

Книга о жизни героя гражданской войны, начальника прославленной в боях Железной стрелковой дивизии В. Азина.

И. Лаврецкий. БОЛИВАР. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 286 стр. Цена 6 руб. 10 коп.

Книга посвящена жизни и деятельности одного из вождей в войне за независимость народов Испанской Америки — Симона Боливара, прозванного «освободителем».

А. Магид. ГВАРДЕЙСКИЙ ТАМАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК. «ДОСААФ». Москва. 1960. 288 стр. Цена 7 руб.

Автор рассказывает о боевом пути единственного в Великой Отечественной войне женского авиационного полка.

А. И. Полторака. ОТ МЮНХЕНА ДО НЮРНБЕРГА. Издательство Института международных отношений. Москва. 1960. 232 стр. Цена 7 руб. 20 коп.

Автор, принимавший участие в работе советской делегации на Нюрнбергском процессе, в своей книге показывает, как и кем была подготовлена и развязана вторая мировая война.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Любовь Артемова. ТРЕВОЖНОЕ СЕРДЦЕ. Роман. Воениздат. Москва. 1960. 384 стр. Цена 7 руб. 75 коп.

Роман о женщинах-солдатках, самоотверженно трудившихся в тылу

во время Великой Отечественной войны.

Андриаш-Беркаши. ОПАСНЫЙ ВОДОВОРОТ. Роман. Перевод с венгерского. Воениздат. Москва. 1960. 412 стр. Цена 12 руб. 40 коп.

В романе описываются события октября-ноября 1956 года, когда венгерское революционное подполье подняло контрреволюционный мятеж в Венгрии.

Юрий Бондарев. ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ. Повесть. Воениздат. Москва. 1960. 308 стр. Цена 6 руб. 70 коп.

Повесть посвящена послевоенной армии, в ней рассказывается об артиллерийском военном училище, о воспитании будущих офицеров, о судьбе курсантов-фронтовиков.

Александр Борцаговский. ТРЕВОЖНЫЕ ОБЛАКА. — ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ. Повести. Воениздат. Москва. 1960. 523 стр. Цена 6 руб. 35 коп.

Эти повести, разные по материалу, связаны общей темой — темой коллективного подвига. События «Тревожных облаков» основываются на реальном факте — трагическом матче между киевскими футболистами и командой гитлеровских фашистов в оккупированном Киеве. В повести «Пропали без вести» автор рассказывает о 82-дневном дрейфе катера в Тихом океане.

Г. Вейзенборн. ПОСТРОЕНО НА ПЕСКЕ. Роман. Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. 1960. 296 стр. Цена 8 руб. 10 коп.

Место действия — Бонн. Автор описывает атмосферу захолустного городка, внезапно ставшего столицей многомиллионного государства.

Хильмар Вульф. СОЛНЕЧНЫЙ БРОДЯГА. Повесть. Перевод с датского. Издательство иностранной литературы. Москва. 1960. 132 стр. Цена 3 руб. 20 коп.

В книге повествуется о простых людях Дании, несмотря на тяжелую жизнь полных бодрости, юмора и своеобразной «ословной» гордости.

Г. Гёрлих. ЧЕРНЫЙ ПЕТЕР. Повесть. Перевод с немецкого. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 271 стр. Цена 4 руб.

В повести, написанной от лица главного героя — берлинского подростка Петера, рассказывается о судьбах беспризорных детей в Германии в первые послевоенные годы.

Г. Гор. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. Роман. «Советский

писатель». Ленинград. 1960. 340 стр. Цена 6 руб.

Роман о наших современниках — людях науки. Историю своих героев писатель начинает с конца двадцатых годов и доводит до наших дней.

И. Горелик. ОБЕЩАНИЕ. Роман. «Советский писатель». Москва. 1960. 352 стр. Цена 6 руб. 10 коп.

Роман о советской молодежи. В центре повествования — проблема славы, подлинной и мнимой, процессе формирования советского молодого человека.

Леонид Гроссман. ПУШКИН. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 527 стр. Цена 10 руб. 05 коп.

В этой книге жизнеописание великого русского поэта дано в плане биографической хроники.

М. И. Зорин. ТРОПЫ РАЗВЕДЧИКА. Повесть. «ДОСААФ». Москва. 1960. 112 стр. Цена 1 руб. 70 коп.

В повести рассказывается об отважном разведчике, совершившем ряд смелых подвигов в дни Великой Отечественной войны.

Барвара Карбовская. МРАМОРНЫЙ БЮСТ. Рассказы. «Советский писатель». Москва. 1960. 317 стр. Цена 5 руб. 40 коп.

Юмористические рассказы из жизни советских людей, о борьбе с пережитками прошлого.

Э. Л. Кастро. ВСПАХАННОЕ ПОЛЕ. Роман. Перевод с испанского. Издательство иностранной литературы. Москва. 1960. 255 стр. Цена 8 руб.

Роман об аргентинских крестьянах. Автор рассказывает об упорном, терпеливом труде своих героев на скупой каменной земле, об их тяжелой борьбе за существование.

Н. Касумов, Г. Сейдбели. НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ. Повесть. Воениздат. Москва. 1960. 378 стр. Цена 5 руб.

Повесть о боевой деятельности партизанского разведчика, Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, действовавшего в составе итало-югославских партизанских соединений.

П. Крюи. БОРЬБА С БЕЗУМИЕМ. Перевод с английского. Издательство иностранной литера-

туры. Москва. 1960. 230 стр. Цена 5 руб. 75 коп.

Научно-художественная повесть об американском психиатре, посвятившем свою жизнь лечению душевнобольных.

И. Лемберик. КАПИТАН СТАРЧАК. Документальная повесть. Москва. Воениздат. 1960. 134 стр. Цена 3 руб. 20 коп.

Документальная повесть о советском парашютисте-разведчике, командире парашютного отряда, действовавшего на Западном фронте.

Ян Отченашек. РОМЕО, ДЖУЛЬЕТТА И ТЬМА. Повесть. Перевод с чешского. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 128 стр. Цена 1 руб. 80 коп.

В книге рассказывается о любви, побеждающей смерть, о юноше чехе, который в дни фашистского террора прячет от гестапо незнакомую девушку.

Е. Н. Пермитин. РУЧЬИ ВЕСЕННИЕ. Роман. «Молодая гвардия». 1960. 367 стр. Цена 7 руб.

Роман о трудовых подвигах советской молодежи на землях Алтая в 1953—1954 годах.

О. Писаржевский. ФЕРСМАН. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 399 стр. Цена 7 руб. 90 коп.

Биографическая повесть о советском ученом, минералогe и геохимике, неутомимом путешественнике и исследователе академике А. Е. Ферсмане.

РАССКАЗЫ АЛБАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. Перевод с албанского. Издательство иностранной литературы. Москва. 1960. 295 стр. Цена 8 руб. 50 коп.

В книге представлены рассказы известных современных албанских писателей, отражающие приметы новой жизни в Албании.

Я. Рыкачев. ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО. Повести. «Советский писатель». Москва. 1960. 346 стр. Цена 4 руб. 50 коп.

В книгу включены три исторические повести: «Великое посольство», «Прерванное путешествие» и «Надежда Дурова». В этих повестях, тесно связанных друг с другом, ав-

тор рассказывает о величии духа русского человека.

К. Ф. Седых. ОТЧИЙ ДОМ. Роман. Воениздат. Москва. 1960. 576 стр. Цена 10 руб. 90 коп.

Роман «Отчий дом» является продолжением романа «Даурия». В нем изображены события последних лет гражданской войны, изгнание интервентов и белогвардейцев из Забайкалья и Дальнего Востока, воссоединение Дальневосточной республики с РСФСР.

В. Сейтаков. БРАТЬЯ. Роман. Перевод с туркменского. «Советский писатель». Москва. 1960. 320 стр. Цена 5 руб. 60 коп.

События, описанные в этом романе, происходят в 1917—1918 годах в феодальном Хивинском ханстве — наиболее отсталом районе Средней Азии. Автор рассказывает о пробуждении классового сознания у дайхан, об их борьбе против угнетателей.

Р. Селис. УСАДЬБА СИЛАЙНЕ. Роман. Перевод с латышского. «Советский писатель». 333 стр. Цена 5 руб. 85 коп.

В романе изображена жизнь латышских крестьян конца прошлого столетия, находящихся в зависимости от немецких прибалтийских баронов и борющихся за свое существование.

Юрий Смолич. РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЯМИ И ПИСАТЕЛЯМИ. «Советский писатель». Москва. 1960. 360 стр. Цена 8 руб. 70 коп.

В книге собраны статьи о роли искусства в жизни общества, о взаимодействии писателя и читателя, о способах овладения жизненным материалом и о законах художественного творчества.

Б. Харчук. ВОЛЫНЬ. Роман. Перевод с украинского. «Советский писатель». Москва. 1960. 357 стр. Цена 6 руб. 25 коп.

Роман о судьбах западноукраинского крестьянства, в прошлом насильно оторгнутого от родины и затем воссоединенного вместе со всем своим народом с народами Советского Союза.

ИСКУССТВО

Н. Владыкина-Бачинская. СОБИНОВ. «Молодая гвардия», Москва. 1960. 285 стр. Цена 5 руб. 50 коп.

Книга о жизни и творчестве Леонида Витальевича Собинова.

ДОНАТЕЛЛО. Изогиз. Москва. 1960. 15 стр. Цена 4 руб. 55 коп.

Книга-альбом посвящена итальянскому скульптору эпохи Возрождения — Донателло.

Б. В. Иогансон. О ЖИВОПИСИ. «Искусство». Москва. 1960. 31 стр. Цена 70 коп.

В этой брошюре советский живописец Б. В. Иогансон делится с начинающими художниками своим профессиональным опытом.

В. Красовская. ВАХТАНГ ЧАБУКИАНИ. «Искусство». Ленинград. 1960. 347 стр. Цена 14 руб.

Книга о творческой деятельности советского танцовщика и балетмейстера лауреата Ленинской премии Вахтанга Чабукяни.

М. Лингер. МОЯ ЖИЗНЬ И МОЯ РАБОТА. Перевод с немецкого. «Искусство». Москва. 1960. 93 стр. Цена 15 руб.

Книга представляет собой записки современного немецкого художника-графика.

С. Палентреер. ВОРОНОВО. Госстройиздат. Москва. 1960. 82 стр. Цена 2 руб. 25 коп.

Брошюра является описанием одной из лучших усадеб Подмоховья, являющейся не только интересным архитектурным ансамблем, но и памятником русской культуры.

В. В. Стасов. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ О РУССКОЙ ЖИВОПИСИ. Детгиз. Москва. 1960. 239 стр. Цена 6 руб. 90 коп.

В книге собраны статьи о творчестве русских художников — А. Иванова, В. Перова, И. Репина, В. Верещагина, а также заметки о передвижных художественных выставках 1871—1879 гг.

ВОСПОМИНАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О МАКАРЕНКО. Лениздат. Ленинград. 1960. 347 стр. Цена 6 руб. 60 коп.

Сборник воспоминаний, составленный воспитанниками, друзьями и сотрудниками А. Макаренко, близко его знавшими.

ГОДЫ БОЕВЫЕ. «ДОСААФ». Москва. 1960. 190 стр. Цена 4 руб.

Сборник воспоминаний участников гражданской войны о борьбе частей Красной Армии и партизанских отрядов против иностранных интервентов и белогвардейцев в первые годы советской власти.

В. Гнедин. СКВОЗЬ ПЛАМЯ. Лениздат. Ленинград. 1960. 224 стр. Цена 5 руб. 75 коп.

Воспоминания командира тан-

кового батальона об обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Я. А. Мелькумов. ТУРКЕСТАНЦЫ. Воениздат. Москва. 1960. 271 стр. Цена 6 руб. 65 коп.

Воспоминания командира кавалерийской бригады — активного участника борьбы с басмачами в Средней Азии.

Р. Петерсхаген. МЯТЕЖНАЯ СОВЕСТЬ. Перевод с немецкого. Воениздат. Москва. 1960. 278 стр. Цена 8 руб. 15 коп.

Воспоминания бывшего командира полка немецко-фашистской армии, ставшего антифашистом и другом Советского Союза.

ВОСПИТАНИЕ

И. М. Михайлова. РОДИТЕЛЯМ О ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ. Что читать детям младшего возраста. Детгиз. Москва. 1960. 40 стр. Цена 90 коп.

Брошюра знакомит родителей с творчеством ведущих детских писателей, рекомендует лучшие произведения советской детской литературы.

Л. В. Писарева. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. Учпедгиз. Москва. 1960. 52 стр. Цена 70 коп.

В брошюре даются советы родителям по воспитанию у детей правильного, здорового отношения к половой жизни.

Г. С. Прозоров. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ВОСПИТАНИЕ. Учпедгиз. Москва. 1960. 43 стр. Цена 60 коп.

Автор знакомит читателей с од-

ним из важнейших вопросов педагогики — ролью наследственности в воспитании и развитии подростков.

М. М. Штейнбергас. БЕСЕДЫ ВРАЧА О ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ. Москва. 1960. 91 стр. Цена 1 руб. 20 коп.

Книга, написанная в виде диалога между врачом и матерью, знакомит родителей с применением учения о высшей нервной деятельности к задачам воспитания детей.

В. Г. Яковлев. РОДИТЕЛЯМ О ПИОНЕРСКИХ СТУПЕНЬКАХ. «Знание». Москва. 1960. 39 стр. Цена 60 коп.

Из этой книги родители узнают о пионерских ступеньках, состоящих из наиболее важных, конкретных и посильных требований для каждой возрастной группы пионеров.

МЕДИЦИНА

И. П. Баженов. ВМЕСТЕ С ДЫМОМ ПАПИРОСЫ УХОДИТ ЗДОРОВЬЕ. Медгиз. Москва. 1960. 28 стр. Цена 40 коп.

Автор, на примерах из врачебной практики, показывает, как пагубно влияет на здоровье табак, дает советы, как преодолеть вредную привычку курить.

Я. А. Дульцин. О ВРЕДЕ АБОРТА. Медгиз. Москва. 1960. 55 стр. Цена 80 коп.

В брошюре подробно рассказывается об аборте и о последствиях, которые он вызывает.

О. Д. Китайгородская. ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗУЙТЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА. Медгиз. Москва. 1960. 48 стр. Цена 70 коп.

Автор рассказывает о значении отдельных пищевых веществ для организма ребенка, о нормах и режиме питания школьника.

С. И. Ковалев. КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ. Медгиз. Москва. 1960. 20 стр. Цена 30 коп.

В брошюре дается описание ран-

них признаков туберкулеза легких, рассказывается об источниках заражения и путях распространения заболевания, а также о мерах предупреждения туберкулеза.

Ф. М. Коломийцев. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СТАРОСТИ. Медгиз. 1960. 78 стр. Цена 1 руб. 20 коп.

Из брошюры читатель узнает о гигиеническом образе жизни, который рекомендуется вести, чтобы предотвратить одряхление организма и наступление преждевременной старости.

В. Е. Рожнов. ПЬЯНСТВО — ВРАГ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. Медгиз. Москва. 1960. 44 стр. Цена 65 коп.

Автор рассказывает об огромном вреде пьянства, о том, как оно приводит к тяжелым заболеваниям, к разрушению семьи и пр.

Д. Е. Танфильев. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ О ЗУБАХ. Медгиз. Ленинград. 1960. 48 стр. Цена 70 коп.

Из брошюры читатель узнает о том, почему так широко распространены заболевания зубов; что необходимо делать, чтобы не было больших зубов; каковы современные способы лечения зубов.

Я. Е. Шапиро. ПЕРЕНЕСШЕМУ ИНФАРКТ МИОКАРДА. Медгиз. Москва. 1960. 32 стр. Цена 40 коп.

Автор знакомит читателей с ги-

гиеническим режимом и рационом питания при инфаркте миокарда, а также в период выздоровления и перехода к трудовой деятельности.

Ю. А. Якунин. ПОЛИОМИЕЛИТ. Медгиз. Москва. 1960. 12 стр. Цена 15 коп.

В брошюре даются советы родителям, как предохранить ребенка от заболевания полиомиелитом.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В. К. Москаленко. ПУТЕШЕСТВИЕ НА АНАБАРУ. Географгиз. Москва. 1960. 128 стр. Цена 2 руб.

В своих записках автор, участник многих экспедиций ихтиологов в районы Крайнего Севера, рассказывает о встречах с местными жителями, об их жизни, обычаях, о суровой природе Крайнего Севера.

Т. Рефли. ЧУДЕСА БОЛЬШОГО БАРЬЕРНОГО РИФА. Перевод с английского. Географгиз. Москва. 1960. 239 стр. Цена 3 руб. 80 коп.

Автор книги — известный австралийский зоолог. Он рассказывает о разнообразии животного мира Австралии, о повадках и образе жизни рыб, зверей и птиц.

Дюшуа Слокам. ОДИН ПОД ПАРУСАМИ ВОКРУГ СВЕТА. Пере-

вод с английского. Географгиз. Москва. 1960. 192 стр. Цена 3 руб. 35 коп.

Рассказ о кругосветном путешествии, совершенном в полном одиночестве на небольшой парусной шлюпке «Спей».

Герман Соколов. ВСТРЕЧАЮЩИЕ СОЛНЦЕ. Географгиз. Москва. 1960. 167 стр. Цена 2 руб. 60 коп.

Книга представляет собой очерки о многолетних путешествиях по птичьим островам нашей страны.

Е. А. Радкевич. С ГЕОЛОГАМИ ПО КИТАЮ. Географгиз. Москва. 1960. 118 стр. Цена 2 руб.

В книге описывается путешествие по горнорудным районам девяти провинций Китайской Народной Республики.

НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

А. А. Безуглов. ПРИШЕДШИЕ ИЗ МРАКА. Госюриздат. Москва. 1960. 45 стр. Цена 55 коп.

В брошюре рассказывается о сектантах-неговистах, скрывающих под ханжеской маской религиозности жестокость, корыстолюбие и ненависть к советской власти.

О. Клор. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ. Перевод с

немецкого. Госполитиздат. Москва. 1960. 133 стр. Цена 1 руб. 60 коп.

Автор разоблачает методы, какими церковники пытаются подчинить науку религии.

М. И. Крутик. О ТОМ, ЧЕМУ ЕЩЕ ВЕРЯТ. Госполитиздат. Москва. 1960. 56 стр. Цена 55 коп.

Брошюра посвящена разоблачению цепких и живучих предрассуд-

ков, еще бытующих среди некоторой части советских людей.

Е. В. Маят, Н. Н. Узков. «БРАТЯ» И «СЕСТРЫ» ВО ХРИСТЕ. «Советская Россия». Москва. 1960. 72 стр. Цена 1 руб. 80 коп.

В брошюре рассказывается о различных религиозных сектах.

А. А. Осипов. ПУТЬ К ДУХОВНОЙ СВОБОДЕ (Рассказ бывшего богослова). Госполитиздат. Москва. 1960. 80 стр. Цена 85 коп.

Автор книги, бывший профессор богословия, рассказывает о том, как он порвал с религией.

СПОРТ И ТУРИЗМ

В. Я. Викторов. РАСКОЛДОВАННЫЙ КРУГ. «Молодая гвардия». Москва. 1960. 198 стр. Цена 2 руб. 85 коп.

Книга знакомит читателя с выдающимися бегунами — советскими и зарубежными. Автор рассказывает о рождении мирового рекорда, установленного Владимиром Куцем.

Р. П. Мороз. РАЗВИВАЙТЕ СИЛУ. «Физкультура и спорт». Москва. 1960. 78 стр. Цена 1 руб. 15 коп.

В книге даются советы, как стать сильным, выносливым, здоровым. Автор рекомендует упражнения с тяжестями, которые развивают мускулатуру, укрепляют нервную систему, повышают жизнедеятельность организма.

В. Пашинин. ОЛИМПИЙСКИЕ БОГАТЫРИ. «Советская Россия». Москва. 1960. 304 стр. Цена 5 руб. 65 коп.

В брошюре рассказывается о схватках сильнейших борцов мира на олимпийском ковре, о их победах

и поражениях, о пути к званию олимпийских чемпионов.

П. Романовский. МИТТЕЛЬШПИЛЬ. «Физкультура и спорт». Москва. 1960. 263 стр. Цена 5 руб. 65 коп.

В книге освещаются вопросы теории середины игры — важнейшей стадии шахматной партии.

В. Теннов. МОЛНИЯ ТЕХАСА. «Физкультура и спорт». Москва. 1960. 304 стр. Цена 5 руб. 65 коп.

В книге собраны очерки о выдающихся зарубежных легкоатлетах.

И. Шульц. ПОД ПАРУСАМИ. Перевод с немецкого. «Физкультура и спорт». Москва. 1960. 406 стр. Цена 7 руб. 75 коп.

Книга известного немецкого яхтсмана знакомит читателей с искусством управления яхтой.

Н. Федорова. ОЗЕРО СЕЛИГЕР. Профиздат. Москва. 1960. 84 стр. Цена 1 руб. 20 коп.

Путеводитель для туристов по одному из живописнейших уголков нашей страны — озеру Селигер.



Д. Обозненко, Я. Серов. Ленинград

В перерыве съезда

(Н. С. Хрущев среди делегатов XXI съезда КПСС)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ
ХУДОЖНИКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВЫСТАВКЕ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»



Г. Богданов. Иркутск

Ангарские ласточки

Г. Песис, Н. Ломакин. Ленинград

На мирной земле





А. Бурзянцев. Уфа

Осенью

А. Пантелеев. Уфа

Зимние дороги. Из серии «Край башкирский»





Л. Кабачек. Ленинград

Победители скачек



А. Шаталов. Ангарск

Братская ГЭС строится

И. Симонов. Свердловск

Литейщики





Ю. Боско. Сталинград

Над Волгой

6 p.